



<http://rcin.org.pl>

<http://rcin.org.pl>

<http://rcin.org.pl>

Сборникъ „Нивы” за 1903 г.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Н. С. Лѣскова.

Издание третье

съ критико-биографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложениемъ портрета Н. С. Лѣскова, гравиров. на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ТРИНАДЦАТЫЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Издание А. Ф. МАРКСА.

1903.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
„ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ БИБЛИОТЕКУ НИВЫ“ на 1903-й ГОДЬ,
въ составъ которой войдетъ 2-е стереотипное роскошно-иллюстрирован. издание:

„Исторія Русской Словесности“

СЪ ДРЕВНІЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ ДО НАШИХЪ ДНЕЙ,

полная, подробная, въ общедоступномъ изложении, составленная
П. Н. ПОЛЕВЫМЪ.

„Исторія Русской Словесности“ выйдетъ въ свѣтъ въ течениe 1903 г. въ видѣ 12-ти ежемѣсячныхъ выпусксовъ, которые составлять **три большихъ тома** In quarto, заключающихъ въ себѣ болѣе **2000 страницъ**, около **1000 гравюръ** на деревѣ и автотипії (рисунки, снимки, портреты, автографы и проч.), **19 хромолитографій**, отпечатанныхъ многими красками и золотомъ, и **38 отдельныхъ приложений**, воспроизведенныхъ разными техническими способами.

Цѣль настоящаго издания нашего—дать русской публикѣ такую „Исторію Русской Словесности“, которая, при всемъ своемъ обширномъ объемѣ, при всей подробности изложения отдельныхъ эпохъ и разсмотрѣніи отдельныхъ произведений,—была бы всѣмъ одинаково доступна, вразумительна и понятна, была бы для всѣхъ одинаково открытою книгою, при посредствѣ которой каждый русский человекъ могъ бы свободно заглянуть въ историческое прошлое русской мысли и чувства. Подробно изображая исторію русской словесности, въ ея постепенномъ и послѣдовательномъ развитіи, авторъ старательно отмѣчаетъ, на всѣмъ ея длиномъ пути, тѣсную связь, существующую между исторіей русской словесности и исторіей просвѣщенія въ Россіи, а равно и тѣ историческія условія, которыя способствовали или препятствовали успѣхамъ русского просвѣщенія и литературы въ ту или другую эпоху. Также въ видахъ всестороннаго выясненія и возможно болѣе наѣзданаго представленія предмета, мы въ нашемъ изданіи „Исторіи Русской Словесности“ украсили ея богатое содержаніе многочисленными художественными иллюстраціями и при-

ложеніями, живо характеризующими тѣтъ или другой историческій періодъ русской словесности, ея болѣе или менѣе выдающихся дѣятелей и представителей, тѣ или другіе замѣчательные произведения литературы; такъ, въ иллюстраціяхъ этихъ воспроизведены: портреты русскихъ писателей, поэтовъ и журналистовъ, ихъ письма, автографы, собственно-ручные рисунки и наброски, снимки съ памятниковъ древней письменности, заставокъ и виньетокъ первопечатныхъ книгъ; фронтиспісы, титульныя листы и заглавія различныхъ книгъ и журналовъ, составляющихъ нынѣ библіографическую рѣдкость, и т. д.

Благодаря богатому содержанію, ясности и простотѣ изложения, обилию и разнообразію иллюстрацій и роскошной виѣшности въ отношеніи бумаги и шрифта, при весьма умѣренной цѣнѣ и очень льготныхъ условіяхъ разсрочкѣ, — „Исторія Русской Словесности“ въ нашемъ изданіи должна занять видное мѣсто въ числѣ любимыхъ настольныхъ книгъ русской семьи, въ которую она можетъ внести такъ много важныхъ и поучительныхъ свѣдѣній, необходимыхъ для каждого образованнаго человѣка.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на все изданіе, выходящее въ 12-ти выпускахъ, по одному выпускку въ мѣсяцъ: **Безъ доставки:** 1) въ С.-Петербургѣ—12 р.; 2) въ Москвѣ, въ конторѣ Н. Печковской (Петровская линія) и въ Одессѣ, въ книжн. магазинѣ «Образованіе» (Ришельевская, № 12)—13 р. **Съ доставкой въ С.-Петербургѣ и съ пересылкою во всѣ города и мѣстности Россіи—14 р.** Съ пересылкой за границу—16 руб.

Разсрочка платежа въ 2, 3, 4 и 6 сроковъ.

Для ознакомленія съ изданиемъ, **ПЕРВЫЙ ВЫПУСКЪ „Исторіи Русской Словесности“ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО** въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ, а изъ конторы изданий А. Ф. Маркса, СПБ., улица Гоголя (быв. Мал. Морская), № 22, высылается иногороднымъ за **ОДИНЪ РУБЛЬ** (можно **ПОЧТОВЫМИ МАРНАМИ** въ указанномъ письмѣ). Остальные же выпуски отдельно не продаются, и изданіе, по подписанію, съ наложеннымъ платежомъ и въ переплетѣ не высылается.

Лица, выписавшія первый выпускъ „Исторіи Русской Словесности“, могутъ подпісаться на все изданіе со второго выпуска, уплачивая, понятно, въ этомъ случаѣ однимъ рублемъ менѣе.

Иллюстрированное объявление о подпискѣ, украшенное многими образцами иллюстрацій съ подробными условіями подписки и разсрочки, высылается бесплатно.

Требованія и деньги адресовать: въ контору изданий А. Ф. МАРКСА, С.-Петербургъ, улица Гоголя (быв. Малая Морская), № 22.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложениемъ портрета Лѣскова, гравированного на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ТРИНАДЦАТЫЙ.

INSTYTUT
DANIA LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Tel. 26-68-63
Приложение къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРВУРГЪ.
Издание А. Ф. МАРКСА.
1903.



Артистическое заведение А. Ф. МАРКСА, Намайл. пр., № 29.

24.124/13

ВОИТЕЛЬНИЦА.

ОЧЕРКЪ.

Вся жизнь моя была досель
Нравоучительною школой,
И смерть есть новый въ ней урокъ.

Ап. Майковъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

— Э, ге-ге-ге! Нѣть, ужь ты, батюшка мой, со мною, сдѣлай милость, не спорь!

— Да отчего это, Домна Платоновна, не спорить-то? Что вы это, въ самомъ дѣлѣ, за привычку себѣ взяли, что никто противъ васъ ужь и слова не смѣй пикнуть?

— Нѣть, это не я, а вы-то всѣ чтõ себѣ за привычки позволяете, что обо всемъ сейчасъ готовы спорить! Погоди еще, братъ, поживи съ мое, да тогда и споры; а пока человѣкъ жить мало, или всѣхъ петербургскихъ обстоятельствъ какъ слѣдуетъ не понимаетъ, такъ ему—мой совѣтъ — сидѣть да слушать, чтõ говорить другіе, которые постарше и эти обстоятельства знаютъ.

Этакъ каждый разъ останавливалася меня моя добрая пріятельница, кружевница Домна Платоновна, когда я въ чѣмъ-нибудь не соглашался съ ея мнѣніями о свѣтѣ и людяхъ. Этакъ же она останавливалася и всякаго другого изъ своихъ знакомыхъ, если кто изъ нихъ какъ-нибудь дерзаль выражать какія-нибудь свои замѣченія, несогласныя съ убѣждѣніями Домны Платоновны. А знакомство у Домны Платоновны было самое обширное, по собственному ея выраженію, даже «необъятное», и притомъ самое разнокалиберное.

Приказчики, графы, князья, камеръ-лакеи, кухмистеры, актеры и купцы именитые,—словомъ, всякаго званія и всякой породы были у Домны Платоновны знакомые, а что про женскій поль, такъ о немъ и говорить нечего. Домна Платоновна женскимъ поломъ даже никогда не хвалилась.

— Женскій поль,—говорила она, когда такъ уже къ слову выпадеть:—минѣ, вотъ какъ онъ минѣ весь известенъ!

При этомъ Домна Платоновна сожметь, бывало, горстъ и показываетъ.

— Вотъ онъ, говоритъ,—женскій-то поль гдѣ у меня, весь въ одномъ суставѣ сидить.

Столь обширное и разнообразное знакомство Домны Платоновны, составленное ею въ такомъ городѣ, какъ Петербургъ, было для многихъ предметомъ крайняго удивленія, и эти многіе даже съ нѣкоторымъ благоговѣйнымъ страхомъ спрашивали:

— Домна Платоновна! какъ это вы, матушка?..

— Что такое?

— Да что вы со всѣми знакомы?

— Да, мой другъ, со всѣми; почти рѣшительно со всѣми.

— Какими же это случаями и по какой причинѣ?..

— А все своей простотой, рѣшительно одной простотой,—отвѣтываетъ Домна Платоновна.

— Будто одной простотой?

— Да, другъ мой, всѣ меня любятъ, потому что я проста необыкновенно, и черезъ эту свою простоту, да черезъ добрость много я на свѣтѣ видѣла всякаго горя, много я обидѣ прияла, много клеветы всяческой оттерпѣла и не разъ даже, сказать тебѣ, была бита, чтобы такъ не очень бита, но въ концѣ всего люди любятъ.

— Ну, ужъ зато же и свѣтъ вы хорошо знаете.

— А ужъ что, мой другъ, свѣтъ этотъ подлый я знаю, такъ точно знаю. На ладонкѣ вотъ теперь, кажется, каждую шельму вижу. Только опять тебѣ скажу—нѣть...—добавить, смущаясь и задумываясь, Домна Платоновна.

— Чѣмъ еще такое?

— А то, другъ мой,—отвѣтываетъ она, вадохнувши:—что нынче все новое выдумываютъ, и еще больше всякой человѣкъ ухитряется.

— Какъ же и чѣмъ онъ ухитряется, Домна Платоновна?

— А такъ и ухитряется, что ты его нынче, человѣка-то,

сь головы поймаешь, а онъ, гляди, къ тебѣ съ ногъ подходитъ. Удивительно это даже, ей-Богу, какъ это сколько пошло обмановъ да выдумокъ: одинъ такъ выдумываетъ, а другой еще лучше того превзойти хочетъ.

— Будто ужъ-таки вездѣ одинъ обманъ на свѣтѣ, Домна Платоновна?

— Да ужъ нечего тебѣ со мною спорить: на чёмъ же, по-твоему, нынѣшний свѣтъ-то стойть? — на обманѣ да на лукавствѣ.

— Ну, есть же, все-таки, и добрые люди на свѣтѣ.

— На кладбищахъ, между родителей, можетъ-быть, есть и добрые; ну, только проку-то по нихъ мало; а что ужъ изъ живой-то изъ всей нынѣшней сволочи — все одно качество: отвратъ да и только.

— Что жъ это такъ, Домна Платоновна, по-вашему, выходитъ, что все ужъ теперь плуть на плутѣ и никому ужъ и вѣрить нельзя?

— А вѣдь это, батюшка, никому не запрещено вѣрить; вѣрь, сдѣлай одолженіе, если тебя охота беретъ. Я вонъ генеральшѣ Шемельфеникъ вѣрила; двадцать семь аршинъ кружевовъ ей повѣрила, да пришла анамедни, говорю: «старый должокъ, ваше превосходительство, позвольте получить», а она говорить: «я тебѣ отдала». — «Никакъ нѣть, говорю, никогда я отъ васъ этихъ денегъ не получала», а она еще какъ крикнетъ: «какъ ты, говорить, смѣешь, мерзавка, мнѣ такъ отвѣтить? Вонъ ее!» говорить. Лакей меня сейчасъ, ту жъ минуту, подъ ручки, да и на солнышко, да еще штучку кружевцовъ тамъ позабыла (спасибо, дешевенькая). Вотъ ты имъ и вѣрь.

— Ну, что жъ, говорю, — вѣдь это одна жъ такая!

— Одна! нѣть, батюшка, не одна, а легіонъ имъ имѧ-то называется. Это вѣдь въ первыя времена-то, какъ крестьянѣ у дворянъ были, ну, точно, въ тогдашнее время воровство будто до низкаго сословія все больше принадлежало; а какъ понче, когда крестьянѣ не стало, господа и сами тоже этимъ ничуть не гнушаются. Всѣмъ, вѣдь, известно, какое лицо на балѣ брильянтовое кольцо сфернриль... Да, милый, да, нынче никто не спускается. Вонъ тоже Караулова, Авдотья Петровна, поглядѣть на нее, чѣмъ не барыня, а воротничокъ на дачѣ у меня въ глазахъ украла.

— Какъ, говорю, — украла? Что вы это, матушка, Домна

Платоновна, вспомните, что вы говорите-то? Какъ это дамъ красть?

— А такъ себѣ просто, какъ крадутъ, такъ и украла. Еще ты то скажи, что я это ту жъ самую минуту замѣтила и вѣжливо, политично ей говорю: «извините, говорю, сударыня, не обронила ли я здѣсь воротничка, потому что воротничка, говорю, одного нѣть». Такъ она сейчасъ на эти слова хватъ меня по наружности и отпечатала. «Вывестъ ее!» говорить лакею; очень просто—и вывели. Говорю лакею: «милостивый государь! самъ ты, говорю, служащий человѣкъ, самъ, сказываю, посуди, голубчикъ, вѣдь свое добро, вѣдь жалко мнѣ!» А онъ мнѣ въ отвѣтъ: «что, говорить, жалко, когда у нея привычка такая!» Вотъ тебѣ только всего и сказу. Она теперь въ своемъ званіи всякия привычки себѣ позволяетъ, а ты, бѣдный человѣкъ, молчи.

— И что жъ вы изо всего этого, Домна Платоновна, выводите?

— А что, батюшка, мнѣ выводить! Не мое дѣло никого выводить, когда меня самой выводятъ; а что народъ плутъ и весь плутомъ взялся, противъ этого ты со мной, пожалуйста, лучше не спорь, потому я ужъ, слава Тебѣ, Господи, я ионче только взгляну на человѣка, такъ вижу, чтѣ онъ въ себѣ замыкается.

И попробовали бы вы послѣ этого Домнѣ Платоновнѣ возражать! Нѣть, ужъ какой вы тамъ ни будьте діалектика, а ужъ Домна Платоновна васъ все-таки переспорить; ничѣмъ ее не убѣдите. Одно развѣ: приказали бы ее вывести; ну, тогда другое дѣло, а то непремѣнно переспорить.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Я непремѣнно долженъ отрекомендовать моимъ читателямъ Домну Платоновну какъ можно подробнѣе.

Домна Платоновна росту невысокаго, и даже очень низкаго, а скорѣе совсѣмъ низенькая, но всѣмъ она показывается человѣкомъ крупнымъ. Этотъ оптический обманъ происходитъ оттого, что Домна Платоновна, какъ говорятъ, впоперекъ себя шире, и чѣмъ вверхъ не доросла, тѣмъ ширь беретъ. Здоровьемъ она не хвалится, хотя никто ее больно не помнить и на видъ она гора-горою ходить; одна грудь такъ такое изъ себя представляеть, что даже ужасно, а сама она, Домна Платоновна, все жалуется.

— Дама я, говорить,— изъ себя хотя, точно, полная, но настоящей крѣости во мнѣ, какъ въ другихъ-прочихъ, никакой нѣть, и сонъ у меня — самый страшный сонъ,— аридовъ. Чуть я лягу, сейчасъ онъ меня оморить, и хоть ты послѣ этого возьми меня да воробьямъ на пугало выставь, пока вволю не выслюсь—ничего не почувствую.

Могучій сонъ свой Домна Платоновна также считала однимъ изъ недуговъ своего полнаго тѣла и, какъ ниже увидимъ, не мало отъ него перенесла горестей и несчастій.

Домна Платоновна очень любила прибѣгать къ медицинскимъ совѣтамъ и въ подробности описывать свои немощи, но лѣкарствъ не принимала и вѣрила въ одинъ только гардемскія капли, которая называла «гаремскими каплями» и пузыречекъ съ которыми постоянно носила въ правомъ карманѣ своего шелковаго капота. Лѣтъ Домны Платоновны, по ея собственному показанію, все вергѣлось около сорока пяти, но, по свѣжему ея и бодруму виду, ей никакъ нельзя было дать болѣе сорока. Волосы у Домны Платоновны въпору первого моего съ нею знакомства были темнокоричневые—съдого тогда еще ни одного не было замѣтно. Лицо у нея бѣлое, щеки покрыты здоровымъ румянцемъ, которымъ, впрочемъ, Домна Платоновна не довольствуется и еще покупаетъ въ Пассажѣ, по верхней галлереѣ, такія французскія карточки, которыми усиливается свой природный румянецъ, не поддавшися до сихъ поръ никакимъ горестямъ, ни финскимъ вѣтрамъ и туманамъ. Брови у Домны Платоновны словно какъ будто изъ чернаго атласа наложены: черны несказанно и блестять ненатуральнымъ блескомъ, потому что Домна Платоновна сильно наводитъ ихъ чернымъ фиксатуаромъ и вытягиваетъ между пальчиками въ шнурочекъ. Глаза у нея какъ есть двѣ черныя сливы, окрошенныя возбудительною утреннею росою. Одинъ нашъ общий знакомый, плѣненный турокъ Испулатъ, привезенный сюда во время Крымской войны, никакъ не могъ спокойно созерцать глаза Домны Платоновны. Такъ, бывало, и заколотится какъ бѣсноватый, такъ и закричитъ:

— Ай, гречкай глаза, совсѣмъ гречкай!

Другая на мѣстѣ Домны Платоновны, разумѣется, за честь бы себѣ такой отзывъ поставила; но Домна Платоновна никогда на эту турецкую лесть не поддавалась и всегда горячо отстаивала свое непогрѣшимо-русское происхожденіе.

— Врешь ты, рожа твоя некрещеная! врешь, лягушка ты пузатая! — отвечает она, бывало, весело турку: — я своего собственного поколения изъестнаго; да и у насъ въ своемъ мѣстѣ даже и грековъ-то этихъ въ заводѣ совсѣмъ нѣть, и никогда ихъ тамъ не было.

Нось у Домны Платоновны была не нось, а носикъ, такой небольшой, стройненький и прыменький, какіе только ошибкой иногда зарождаются на Окѣ и на Зушѣ. Ротъ у нея былъ-таки великунекъ: видно было, что круглою ложкою въ дѣствѣ кушала; но ротъ былъ пріятный, такой свѣженъкъ, очертаніе правильное, губки алые, зубы какъ изъ молодой рѣдкви вырѣзаны, — однимъ словомъ, даже и не на островѣ необитаемомъ, а еще даже и среди града многолюднаго съ Домной Платоновной поцѣловаться охотнику до поцѣлуевъ было весьма не злоключительно. Но высшую прелесть лица Домны Платоновны, безспорно, составляли ея персиковыі подбородокъ и общее выраженіе, до того мягкое и дѣтское, что если бы васъ когда-нибудь взяла охота поразмыслить: какъ-таки, при этой безднѣ простодушия, разлитой по всему лицу Домны Платоновны, съ языка ея постоянно не сходить рѣчъ о людскомъ ехидствѣ и злобѣ? — такъ вы бы непремѣнно сказали себѣ: «будь ты, однако, Домна Платоновна, совсѣмъ отъ меня проклята, потому что, чортъ тебя знаетъ, какія мнѣ по твоей милости задачи приходить!»

Нрава Домна Платоновна была самаго общительнаго, веселаго, доброго, необидчиваго и простодушно-суевѣрнаго. Характеръ у нея былъ мягкий и говорчівый; натура въ основаніи своемъ честная и довольно прямая, хотя, разумѣется, была у нея, какъ у русскаго человѣка, и маленькая лукавинка. Трудъ и хлопоты были сферою, въ которой Домна Платоновна жила безвыходно. Она вѣчно сутилась, вѣчно куда-то бѣжала, о чѣмъ-то думала, что-то такое соображала или приводила въ исполненіе.

— На свѣтѣ я живу однимъ-одна, одною своей душенькой, ну, а все-таки жизнь, для своего пропитанія, веду самую прекратительную, — говорила Домна Платоновна: — мычусь я какъ угорѣлая кошка по базару, и если не одинъ, то другой меня за хвостъ безпрестанно такъ и ловятъ.

— Всѣхъ дѣль вѣдь сразу не передѣлаете, — скажешь ей, бывало.

— Ну, всѣхъ, хоть не всѣхъ, отвѣчаеть: — а все же вѣдь ужасно это какъ, я тебѣ скажу, отяготительно, а пока чтѣ прощай — до свиданья: люди ждутъ, въ семи мѣстахъ ждутъ,— и сама, дѣйствительно, такъ и побѣжитъ скороходью.

Домна Платоновна нерѣдко и сама сознавала, что она не всегда трудится для своего единаго пропитанія, и что отяготительные труды ея и ея прекратительная жизнь могли бы быть значительно облѣгчены безъ всякаго ущерба ея прямымъ интересамъ; но никакъ она не могла воздержать свою хлопотливость.

— Завистна ужъ и очень на дѣло; сердце мое даже взыграетъ, какъ вижу дѣло какое есть.

Завистна Домна Платоновна именно была только на хлопоты, а не на плату. Къ заработку своему, напротивъ, она иногда относилась съ какимъ-то удивительнымъ равнодушіемъ.

«Обмануль, варварь!» или «обманула, варварка!» бывало, только отъ нея и слышишь, а глядишь, ужъ и опять она бѣгаєтъ и распинается для того же варвара и для той же варварки, впередъ предсказывая самой себѣ, что они и опять непремѣнно надуютъ.

Хлопоты у Домны Платоновны были самыя разнообразныя. Официально она, точно, была только кружевница, то есть мѣщанки, бѣдныхъ купчихъ и поповны насылали ей «изъ своего мѣста» разные воротнички, кружева и манжеты: она продавала эти произведенія въ разносъ по Петербургу, а лѣтомъ по дачамъ, и вырученныя деньги, за удержаніемъ своихъ процентовъ и линковъ, высылала «въ свое мѣсто». Но, кромѣ кружевной торговли, у Домны Платоновны были еще другія приватныя дѣла, при орудованіи которыхъ кружева и воротнички играли только роль пропускного вида.

Домна Платоновна сватала, пріискивала жениховъ не вѣстамъ, невѣсть женихамъ; находила покупщиковъ на мебель, на надѣванныя дамскія платья; отыскивала деньги подъ заклады и безъ закладовъ; ставила людей на мѣста вкупе отъ губернскихъ до дворническихъ и лакейскихъ; заносила записочки въ самые извѣстные салоны и будуары, куда городская почта и подумать не смѣеть проникнуть, и приносила отвѣты отъ такихъ дамъ, отъ которыхъ несетъ только крещенскимъ холодомъ и благочестіемъ.

Но, несмотря на все свое досужество и связи, Домна Платоновна, однако, не озолотилась и не осеребрилась. Жила она въ достаткѣ, одѣвалась, по собственному ея выражению, «поважно», и въ кускѣ себѣ не отказывала, но денегъ все-таки не имѣла, потому что, во-первыхъ, очень она зарывалась своей зависистью къ хлопотамъ и часто ее добрые люди обманывали, а потомъ и съ самыми деньгами у нея выходили какія-то мудреныя оказіи.

Главное дѣло, что Домна Платоновна была художница—увлекалась своими произведеніями. Хотя она рассказывала, что все это она трудится изъ-за хлѣба насущнаго, но все-таки это было несправедливо. Домна Платоновна любила свое дѣло какъ артистка: скомпоновать, собрать, состряпать и полюбоваться дѣлами рукъ своихъ,—вотъ что было главное, и за этимъ просматривались и деньги, и всякия другія выгоды, которыхъ особы болѣе реалистическая ни за что бы не просмотрѣла.

Впала въ свою колею Домна Платоновна ненарокомъ. Сначала она смиренно таскала свои кружева и вовсе не помышляла о сопряженіи съ этимъ промысломъ какихъ бы то ни было другихъ занятій: но столица волшебная преобразила нелѣпую мценскую бабу въ того тонкаго фактотума, какимъ я зазналъ драгоценную Домну Платоновну.

Стала Домна Платоновна смекать на всѣ стороны и проникать всюду. Пошло это у нея такъ, что не проникнуть куда бы то ни было Домнѣ Платоновнѣ было даже невозможно: всегда у нея на рученкѣ вышитый саквойжъ съ кружевами, сама она въ новенькомъ шелковомъ калотѣ; на шеѣ кружевной воротничокъ съ большими городками, на плечахъ голубая французская шаль съ блѣдою каймою; въ свободной рукѣ блѣлый, какъ кипень, голландскій платочекъ, а на головѣ либо фиолетовая, либо серизовая гроденаплевая повязочка, иу, однимъ словомъ, прелестъ дама. А лицо! — само смиренство и благочестіе. Лицомъ своимъ Домна Платоновна умѣла владѣть какъ ей угодно.

— Безъ этого,—говорила она:—никакъ въ нашемъ дѣлѣ и невозможно: надо виду не показать, что ты Ананья, или каналья.

Къ тому же и обращеніе у Домны Платоновны было тонкое. Ни за что, бывало, она въ гостиной не скажетъ, какъ другіе, что «была, дескать, я во всенародной банѣ»,

а выразится, что «имѣла я, сударь, счастіе вчера быть въ безтѣлесномъ маскарадѣ»; о беременной женщинѣ ни за что не брякнетъ, какъ другіе, что она, дескать, беременна, а скажетъ: «она въ своемъ марьяжномъ интересѣ», и тому подобное.

Вообще была дама съ обращеніемъ и, гдѣ слѣдовало, умѣла задать тону своей образованностью. Но, при всемъ этомъ, надо правду сказать, Домна Платоновна никогда не заносилась и была, что называется, своему отечеству патріотка. По узости политического горизонта Домны Платоновны, и самый патріотизмъ ея былъ самый узкій, то-есть она считала себя обязанною хвалить всѣмъ орловскую губернію и всячески привѣтствовать и обласкивать каждого человѣка «изъ своего мѣста».

— Скажи ты мнѣ,—говорила она:—что это такое значить: знаю вѣдь я, что наши орловцы первые на всемъ свѣтѣ воры и мошенники; ну, а все какой ты ни будь шельма изъ своего мѣста, будь ты хуже турки Испулатки лупоглазаго, а я его не брошу и ни на какого самаго честнаго изъ другой губерніи промѣнять несогласна?

Я ей на это отвѣтить не умѣль. Только, бывало, оба удивляемся:

— Отчего это въ самомъ дѣлѣ?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Мое знакомство съ Домной Платоновной началось по пустому поводу. Жиль я какъ-то на квартирѣ у одной полковницы, которая говорила на шести европейскихъ языкахъ, не считая польского, на который она сбивалась со всякаго. Домна Платоновна знала ужасно много такихъ полковницъ въ Петербургѣ и почти для всѣхъ ихъ обдѣльывала самыя разнообразныя дѣлишки: сердечные, карманные и совокупно карманно-сердечные и сердечно-карманные. Моя полковница была, впрочемъ, дѣйствительно дама образованная, знала свѣтъ, держала себя какъ нельзя приличнѣе, умѣла представить, что уважаетъ въ людяхъ ихъ прямая человѣческія достоинства, много читала, приходила въ неподдѣльный восторгъ отъ поэтовъ и любила декламировать изъ «Маріи» Мальчевскаго:

«Bo na tym swiecie, smier{e} wszysko zmiecie.
Robak sie legnie i w biciu m kwiecie» *).

*) Потому что на этомъ свѣтѣ смерть все уничтожить,
И въ пышномъ цвѣтѣ гибѣдится червякъ.

Я видѣлъ Домну Платоновну первый разъ у своей полковницы. Дѣло было вечеромъ; я сидѣлъ и пилъ чай, а полковница декламировала мнѣ:

«Bo na tym swiecie, smierć wszystko zmiecie.
Robak się legnie i w bujnym kwiecie.»

Домна Платоновна вошла, помолилась Богу, у самыхъ дверей поклонилась на всѣ стороны (хотя, кромѣ насъ двухъ, въ комнатѣ никого и не было), положила на столъ свой саквояжъ и сказала:

— Ну, вотъ, миръ вамъ, и я къ вамъ!

Въ этотъ разъ на Домнѣ Платоновнѣ былъ шелковый копичневый капотъ, воротничокъ съ язычками, голубая французская шаль и серизовая гроденаплевая повязочка, словомъ весь ея мундиръ, въ которомъ читатели и имѣютъ представлять ее теперь своему художественному воображению.

Полковница моя очень ей обрадовалась и въ то же время при появлѣніи ея будто немножко покраснѣла, но привѣтствовала Домну Платоновну дружески, хотя и съ немалымъ тактомъ.

— Что это васъ давно не видно было, Домна Платоновна? — спрашивала ее полковница.

— Все, матушка, дѣла, — отвѣчала, усаживаясь и осматривая меня, Домна Платоновна.

— Какія у васъ дѣла?

— Да вѣдь вотъ тебѣ, да другой такой-то, да третьей, всѣмъ вамъ кортить, всѣмъ и угодить надо; вотъ тебѣ и дѣла.

— Ну, а то дѣло, о которомъ ты меня просила-то, помнишь... — начала Домна Платоновна, хлебнувъ чайку. — Была я намедни... и говорила...

Я всталъ проститься и ушелъ.

Только всего и встрѣчи моей было съ Домной Платоновной. Кажется, знакомству бы съ этого завязаться весьма трудно, а оно, однако, завязалось.

Сижу я разъ послѣ этого случая дома, а кто-то стукъ-стукъ-стукъ въ двери.

— Войдите, — отвѣчая, не оборачиваясь.

Слыши, что-то широкое вползло и ворочается. Оглянулся — Домна Платоновна.

— Гдѣ жъ, говорить, — милостивый государь, у тебя здѣсь образъ виситъ?

— Вонъ, говорю,—въ углѣ, надъ шторой.

— Польскій образъ, или нашъ, христіанскій?—опять спрашивается, приподнимая потихоньку руку.

— Образъ, отвѣчаю,—кажется, русскій.

Домна Платоновна покрыла глаза горсточкой, долго всматривалась въ образъ и, наконецъ, махнула рукою,—дескать: «все равно!»—и помолилась.

— А узелочекъ мой, говорить,—гдѣ можно положить?—и оглядывается.

— Положите, говорю,—гдѣ вамъ понравится.

— Вотъ, тутъ-то, отвѣчаетъ,—на диванъ его пока положу.

Положила саквояжъ на диванъ и сама сѣла.

«Милый гость, думаю себѣ, безцеремонливый».

— Этаکіе нынче образки маленькие,—начала Домна Платоновна:—въ моду пошли, что ничего и не разсмотримъ. Во всѣхъ это аристократовъ все маленькие образки. Какъ это не хорошо.

— Чѣмъ же это вамъ такъ не нравится?

— Да, какъ же: вѣдь это, значитъ, они Бога прячуть, чтобы совсѣмъ и не найти Его.

Я промолчалъ.

— Да, право,—продолжала Домна Платоновна:—образъ долженъ быть въ свою мѣру.

— Какая же, говорю,—мѣра, Домна Платоновна, на образъ установлена?—и самъ, знаете, вдругъ сталъ чувствовать себя съ ней, какъ со старой знакомой.

— А какъ же!—взговорила Домна Платоновна:—посмотри-ка ты, милый другъ, у купцовъ: у нихъ всегда образъ въ своемъ видѣ, ланпадъ и сіяніе... все это какъ должно. А это, значитъ, господа сами отъ Бога бѣжать и Богъ отъ нихъ далече. Вотъ нынче на Святой была я у одной генеральши... и при мнѣ камердинеръ ся входить и докладываетъ, что священники, говорить, пришли.

— Отказать,—говорить.

— Зачѣмъ, говорю ей,—не отказывайте—грѣхъ.

— Не люблю, говорить,—я поповъ.

— Ну, что жъ, ея, разумѣется, воля; пожалуй себѣ, отказывай, только вѣдь ты не любишь посланнаго, а тебя и пославшій любить не будетъ.

— Воинъ, говорю,—какая вы, Домна Платоновна, разсудительная!

— А нельзя, отвѣчаетъ, — мой другъ, нынче безъ разсужденія. Чѣмъ ты, сколько за эту комнату платишь?

— Двадцать пять рублей.

— Дорого.

— Да и мнѣ кажется дорого.

— Да что жъ, говорить,—не перейдешь?

— Такъ, говорю,—возиться не хочется.

— Хозяйка хороша?

— Нѣть, полноте, говорю,—что вы тамъ съ хозяйкой.

— Цѣ-ты! Говори-ка, братъ, кому-нибудь другому, да не мнѣ: я знаю, какіе всѣ вы шельмы.

«Ничего, думаю, — отлично ты, гостья дорогая, выражашься.»

— Онѣ, вирочемъ, полячки-то эти ловкія тоже,—продолжала, зѣвнувъ и крестя ротъ, Домна Платоновна,—онѣ это съ разсужденіемъ дѣлаютъ.

— Напрасно, говорю, — вы, Домна Платоновна: такъ о моей хозяйкѣ думаете: она женщина честная.

— Да тутъ, другъ милый, и безчестія ей никакого нѣть: она человѣкъ молодой.

— Рѣчи ваши, говорю, — Домна Платоновна, умныя и справедливыя, но только я-то тутъ ни при чемъ.

— Ну, быль ни при чемъ, стала городничомъ; знаю ужъ я эти петербургскія обстоятельства, и мнѣ толковать про нихъ нечего.

«И выправду, думаю,—тебя, матушка, не разувѣришь.»

— А ты ей помогай, — плати, моль, за квартиру-то, — говорила Домна Платоновна, пригинаясь ко мнѣ и ударяя меня слегка по плечу.

— Да какъ же, говорю,—не платить?

— А такъ — знаешь, вашъ братъ, какъ осѣтить нашу сестру, такъ и норовить сейчасъ все на ея счетъ...

— Полноте, что это вы!—останавливаю Домну Платоновну.

— Да, дружокъ, наша-то сестра, особенно русская, въ любви-то куда вѣдь она глупа: «нѣ, мой соколь, тебѣ», готова и мясо съ костей срѣзать да отдать; а вашъ братъ, шаматонъ, этимъ и пользуется.

— Да полноте вы, Домна Платоновна, какой я ей любовникъ?

— Нѣтъ, а ты ее жалѣй. Вѣдь если такъ-то посудить, вѣдь жалка, ей-Богу же, другъ мой, жалка наша сестра! Нашу сестру ужъ какъ бы надо было бить да драть, чтобъ она отъ васъ, поганцевъ, подальше береглась. И что это такое, скажи ты, за мудрено сотворено, что міръ весь этими соглядатаями, мужчинами, преисполненъ!.. На чѣдѣ они? А опять посмотришь, и безъ нихъ все будто какъ скучно; какъ будто подъ иную пору словно тебѣ и недостаетъ чѣго. Чорта въ стулѣ, вотъ чѣго недостаетъ!—разсердила Домна Платоновна, плонула и продолжала:—я вонъ такъ-то разъ прихожу къ полковницѣ Домуховской... не знаваль ты ее?

— Нѣтъ, говорю,—не знаваль.

— Красавица.

— Не знаю.

— Изъ полячекъ.

— Такъ что жъ, говорю, — развѣ я всѣхъ полячекъ по Петербургу знаю?

— Да она не изъ самыхъ настоящихъ полячекъ, а крещеная,—нашей вѣры!

— Ну, вотъ и знай ее, какая такая есть госпожа Домуховская не изъ самыхъ полячекъ, а нашей вѣры. Не знаю, говорю,—Домна Платоновна; рѣшительно не знаю.

— Мужъ у нея докторъ.

— А она полковница?

— А тебѣ это въ диковину, что-ль?

— Ну-съ, ничего, говорю,—что же дальше?

— Такъ она съ мужемъ-то съ _ своимъ, понимаешь, попыткалась.

— Какъ это попыткалась?

— Ну, будто не знаешь, какъ значить въ чемъ-нибудь не уговорились, да сейчасъ пшикъ-пшикъ, да и въ разныя стороны. Такъ и сдѣлала эта Леканидка.

«— Очень, говорить, — Домна Платоновна, онъ у меня нравенъ».

Я слушаю, да головой качаю.

«— Капризовъ, говорить,—я его сносить не могу; нервы мои, говорить,—не выносять».

Я опять головою качаю.

«Что это, думаю, у нихъ нервы за стервы, и отчего у насъ этихъ нервовъ нѣтъ?»

— Прошло этакъ съ мѣсяцъ, смотрю, смотрю — мои барыни квартиру сняла: «жильцовъ, говорить, буду пущать».

«Ну, что жъ, думаю, — надоѣло играть косточкой, покатай желвачокъ; не умѣла жить за мужней головой, такъ поживи за своей: пригонить нужа и къ поганой лужѣ, да еще будешь пить да похваливать.»

— Прихожу къ ней опять черезъ мѣсяцъ, гляжу — жилецъ у нея есть, такой изъ себя мужчина видный, ну, только худой и этакъ немножко осповатъ.

«— Ахъ, говорить,—Домна Платоновна, какого мнѣ Богъ жильца послалъ — деликатный, образованный и добрый такой, всѣми моими дѣлами занимается».

— Ну, деликатиться-то, моль, они нынче всѣ ужъ, мачтушка, выучились, а когда во всѣ твои дѣла ужъ онъ взошелъ, такъ и на что жъ того и законнѣй?

Я это смѣюсь, а она, смотрю, пыхъ-пыхъ, да и сплакнѣла.

Ну, мой судь такой, что всякъ себѣ какъ знаетъ, а что если только добрый человѣкъ, такъ и умные люди не осудятъ, и Богъ простить.

Заходила я потомъ еще раза два, все застаю: сидитъ она у себя въ каморкѣ да плачетъ.

— Что такъ, говорю, — мать, что рано соленої водой умываться стала?

— Ахъ, говорить,—Домна Платоновна, горе мое такое, — да и замолчала.

— Что, моль, говорю, — такое за горе? Иль живую рыбку сѣла?

— Нѣть, говорить,—ничего такого, слава Богу, нѣть.

— Ну, а нѣть, говорю, — такъ все другое пустяки.

— Денегъ у меня ни грошика нѣть.

Ну, это, думаю, ужъ, дѣйствительно, дрянь дѣло; но знаю я, что человѣка въ такое время не надо печалить.

— Денегъ, говорю, — нѣть — передъ деньгами. А жильцы жъ твои? — спрашиваю.

— Одинъ, говорить, — заплатилъ, а то пустыя двѣ комнаты.

— Вотъ ужъ эта мерзость запустѣнія, говорю, — въ ваншѣмъ дѣлѣ всего хуже. Ну, а дружокъ-то твой? — Такъ ужъ, знаешь, безъ церемоніи это ее спрашиваю.

Молчать, плачетъ.

Жаль мнъ ее стало: слабая, вижу, перазумная женщина.

— Что жъ, говорю,—если онъ наглецъ какой, такъ и вонь его.

Плачетъ на эти слова, ажно платокъ мокрый за кончики зубами щипеть.

— Плакать, говорю,—тебъ нечего и убиваться изъ-за нихъ, изъ-за поганцевъ, тоже не стоитъ, а что отказалася ему, да только всего и разговора, и найдемъ себѣ такого, что и любовь будетъ, и помошь; не будешь такъ-то зубами щелкать, да убиваться. А она руками замахала: «не надо! не надо! не надо!» да сама кинулась въ постель головой, въ подушки, и надрывается, ажно какъ спинка въ платье не лопнетъ. У меня на то время былъ одинъ тоже знакомый купецъ (отецъ у него по суворовской линіи свой магазинъ имѣеть), и просилъ онъ меня очень: «познакомь, говорить, ты меня, Домна Платоновна, съ какой-нибудь барышней, или хоть и съ дамой, но только, чтобы очень образованная была. Терпѣть, говорить, не могу необразованныхъ. И повѣрить можно, потому и отецъ у нихъ, и всѣ мужчины въ семье все какъ есть на дурахъ женаты и у этого-то тоже жена дурища,—все, когда ни приди, сидѣть, да печатаные пряники есть.

«На что, думаю,—было бы лучше желать и требовать, какъ эту Леканиду съютить съ нимъ.—Но, вижу, еще глупа,—я и оставила ее: пусть дойдетъ на солицъ!»

Мѣсяца два я у нея не была. Хоть и жаль было мнѣ се, но что, думала себѣ, когда своего разума нѣть, и самъ человѣкъ ничѣмъ кругомъ себя ограничить не понимаетъ, такъ ужъ ему не поможешь.

Но о спажинкахъ была я въ ихъ домѣ; кружевцовъ немного продала, и вдругъ мнѣ что-то кофию захотѣлось, и страсть какъ захотѣлось. Дай, думаю, зайду къ Домуховской, къ Леканидѣ Петровнѣ, напьюсь у нея кофию. Иду это по черной лѣстницѣ, отворяю дверь на кухню—никого нѣть. «Ишь, говорю, какъ живутъ откровенно—бери что хочешь», потому и самоваръ, и кастрюли, все, вижу, на полкахъ стоитъ.

Да только—что этакъ-то подумала, иду по коридору и слышу, что-то хлопъ-хлопъ, хлопъ-хлопъ. Ахъ ты, Боже мой! что это, думаю. Скажите, пожалуйста, что это такое? Отворяю дверь въ ея комнту, а онъ, этотъ пріятель-то ея

добрый,—изъ актеровъ онъ былъ, и даже не маловажный актеръ—артистъ назывался; ну-сь, держить онъ, сударь, ее одною рукою за руку, а въ другой пагайка.

— Варваръ! варваръ!—закричала я на него:—что ты это, варваръ, надъ женщиной дѣлаешь! да сама-то, знаешь, промежъ нихъ, саквояжемъ-то своимъ накрываюсь, да промежъ нихъ-то.—Вотъ вѣдь, что вы, злодѣи, надъ нашей сестрой дѣлаете!

Я молчалъ.

— Ну, тутъ-то я ихъ разнѣла, не сталъ онъ ее при мнѣ больше наказывать, а она еще было и отговаривается: «Это, говорить, вы не думайте, Домна Платоновна; это онъ шутиль».

— Ладно, говорю,—матушка; бочка-то, гляди, въ платьѣ отъ его шутилки не потрескались ли. Однако, жили опять; все онъ у нея стоялъ на квартире, только ничего ей, мошенникъ, ни грошика не платиль.

— Тѣмъ и кончилось?

— Ну, пѣть; черезъ нѣсколько времеіи пошѣлъ у нихъ опять карамболя, пошелъ онъ ее опять что день трепать, а тутъ она какую-то жиличку еще къ себѣ, пріѣзжую барынку изъ купчихъ принялъ. Чай вѣдь самъ знаешь, наши купчихи, какъ изъ дома вырвутся, на это дѣло препрѣстыя... Ну, онъ ко всему же къ прежнему, да еще почаль съ этой жиличкой амуриться—пошло у нихъ такое, что я даже иходить перестала.

— Богъ съ вами совсѣмъ! живите, думаю, какъ хотите.

Только тринадцатаго сентября, подъ самое Воздвиженіе Честнаго и Животворящаго Креста, пошла я къ Знаменю, ко всенощной. Отстояла всенощную, выхожу и въ самомъ притворѣ на паперти, гляжу—эта самая Леканида Петровна. Жалкая такая, бурнушико старенький, стоять на колѣночкахъ въ уголочкѣ и плачетъ. Опять мечя взяла на нее жалость.

— Здравствуй, говорю,—Леканида Петровна!

— Ахъ, душечка, говорить,—моя, Домна Платоновна, такая-сякая немазаная! Самъ Богъ, говорить, миѣ вѣсъ послалъ,-- а сама такъ вотъ ручьями слезъ горькихъ и заливается.

— Ну, я говорю,—Богъ, матушка, меня не посыпалъ, потому что Богъ ангеловъ безплотныхъ посыпаетъ, а я

человѣкъ въ свою мѣру грѣшный; но ты все-таки не плачь, а пойдемъ куда-нибудь подъ насѣсть сидѣмъ, разскажи мнѣ свое горе; можетъ, чѣмъ-нибудь надумаемся и поможемъ.

Пошли.

— Что, варваръ твой, что ли, опять надъ тобой чтѣ сдѣлалъ?—спрашивала ее.

— Никого, говоритъ,—никакого варвара у меня нѣть.

— Да куда же это ты идешь? говорю,—потому квартира ея была въ Шестилавочной, а она, смотрю, на Грязную заворачиваетъ.

Слово по слову и раскрылось тутъ все дѣло, что квартиры ужъ у нея нѣть: мебелишку, какая была у нея, хозяинъ за долгъ забралъ; дружокъ ея прошаль—да и хорошо сдѣлалъ,—а живеть она въ каморочки, у Авдоты Ивановны Дисленъ. Такая эта подлая Авдотья Ивановна, да ромъ что майорская она дочь и дворянствомъ своимъ величается, ну, а преподлала-подлая. Чуть я за нее, за негодяйку, одинъ разъ въ кварталь не попала по своей простотѣ по дурацкой. Ну, только, говорю я Леканидѣ Петровнѣ,—я эту Дисленышу, мой другъ, очень знаю—это первая мошенница.

— Чтѣ жъ, говоритъ,—дѣлать! Голубочка Домна Платоновна, что же дѣлать?

Ручонки-то, гляжу, свои ломить, ломить, инда даже смотрѣть жалко, какъ она ихъ коверкаетъ.

— Зайдите, говоритъ,—ко мнѣ.

— Нѣть, говорю,—душечка, мнѣ тебя хоша и очень жаль, но я къ тебѣ въ Дисленышину квартиру не пойду—я за нее, за бездѣльницу, и такъ одинъ разъ чуть въ кварталь не попала, а лучше, если есть твое желаніе со мной поговорить, ты сама ко мнѣ зайди.

Пришла она ко мнѣ: я ее напоила чайкомъ, обогрѣла, почавкали съ нею, что Богъ послалъ на ужинъ, и спать ее съ собой уложила. Довольно съ тебя этого?

Я кивнуль утвердительно головою.

Ночью-то что я еще черезъ нее страху имѣла! Лежитъ лежитъ она, да вдругъ вскочеть, сядеть на постели, бѣть себя въ грудь: «Голубочка, говоритъ, моя, Домна Платоновна! Что мнѣ съ собой дѣлать?»

Какой часъ ужъ вижу поздній.—Полно, говорю, тебѣ убиваться; спи. Завтра подумаемъ.

— Ахъ, говорить,—не спится мнѣ, не спится мнѣ, Домна Платоновна.

Ну, а мнѣ спать смерть какъ хочется, потому у менясонъ необыкновенно какой крѣпкій.

Проспала я этакъ до своего часу и проклинулась. Я проклинулась, а она, гляжу, въ одной рубашоночкѣ сидѣть на стулѣ, ножонки подъ себя подобрала и папироску курить. Такая бѣленъкая, хорошенъкая, да иѣжненъкая—точно вотъ пухъ въ атласѣ.

— Умѣешь, спрашиваю,—самоварчикъ поставить?

— Пойду, говорить,—попробую.

Надѣла на себя юбчинку бумазейную и пошла въ кухоньку. А мнѣ-таки тутъ что-то смерть не хотѣлось вставать. Приносить она самоваришко, сѣли мы чай пить, она и говорить: «что, говорить, я, Домна Платоновна, надумалась?»

— Не знаю, говорю,—душечка—чужую думку своей не раздумаешь.

— Поѣду я, говорить,—къ мужу.

— На что, моль, лучше этого, какъ честной женой быть—когда бѣ, спрашиваю, только онъ тебя принялъ?

— Онъ, говорить,—у меня добрый; я теперь вижу, что онъ всѣхъ добрый.

— Добрый-то, отвѣчаю ей,—это хорошо, что онъ добрый; а скажи-ка ты мнѣ, давно ты его покинула-то?

— А ужъ скоро, говорить,—Домна Платоновна, какъ съ годь будетъ.

— Да; вотъ, моль,—видишь ты, съ годъ ужъ тому прошло. Это тоже, говорю, дамочка, время не малое.

— А что же, спрашиваетъ,—такое Домна Платоновна, вы въ этомъ полагаете?

— Да то, говорю,—полагаю, что не завелась ли тамъ на твоё мѣсто тоже какая-нибудь пирожная мастерница, горшечная пагубница.

— Я, отвѣчаетъ,—объ этомъ, Домна Платоновна, и не подумала.

— То-то, моль,—мать моя, и есть, что «не подумала». И всѣ-то вотъ вы такъ-то объ этомъ не думаете!.. А надо

думать. Когда бъ ты подумала-то да разсудила, такъ, можетъ-быть, и много-бъ чего съ тобой не было.

Она-таки тутъ какъ засмутилась! Заскребло, вижу, ее за сердчишко-то; губенки свои этакъ кусаетъ, да и произноситъ таково тихонечко: «онъ, говорить, мнѣ кажется, совсѣмъ не такой былъ».

— Ахъ вы, подумала я себѣ,—звѣри вы этакіе капустные! сами козами въ горохъ такъ и прыгаютъ, а мужъ хоть и имъ негожъ, такъ и другой не трожь. Не повѣришь ты, какъ мнѣ это всякий разъ на нихъ досадно бывасть.—Прости-ка ты меня, матушка, сказала я ей тутъ-то:—а только рѣчь твоя эта, на мой згадъ, ни къ чему даже не пристала. Что же, говорю, онъ, твой мужъ, за такой, за особенный, что ты говоришь: *не такой онъ?* Ни въ жизнь мою никогда этому не повѣрю. Все, я думаю, и онъ такой же самый, какъ и всѣ: костяной да жильный. А ты бы, говорю, лучше бы вотъ такъ объ этомъ сообразила, что ты, женщиной бывши, себя не очень-то строго соблюла, а ему, говорю, ничего это и въ судъ не поставится, потому что вѣдь и въ самомъ-то дѣлѣ, хоть и ты самъ, ангелъ мой, сообрази: мужчина что соколь: опѣххватилъ, встрепенулся, отряхнулся, да и опять лети куда око глянетъ; а нашей сестрѣ вся и дорога, что отъ печи до порога. Наша сестра вашему брату все равно, что дураку волынка: поиграль, да и кинулъ. Согласенъ ли ты съ этой справедливостью?

Ничего не возражаю.

А Домна Платоновна, спасибо ей, не дождавшись моего отвѣта, продолжаетъ:

— Ну-съ, вотъ и эта, милостивая моя государыня, наша Леканида Петровна, послѣ такихъ моихъ словъ и говорить: «я, говорить, Домна Платоновна, ничего отъ мужа не скрою, во всемъ сама повинуюсь и признаюсь: пусть онъ хоть голову мою сниметъ».

— Ну, это, отвѣчаю,—опять тоже по-моему не дѣло, потому что мало ли какой грѣхъ былъ, но на что про то мужу сказывать. Что было, то прошло, а слушать ему про это за большое удовольствіе не будетъ. А ты скрѣпись и виду не покажи.

— Ахъ, нѣть! говорить,—ахъ, нѣть, я лгать не хочу.

— Мало, говорю,—чего не хочешь! сказывается: грѣхъ воровать, да нельзя миновать.

— Нѣть, нѣть, нѣть, я не хочу, не хочу! Это грѣхъ обманывать.

Зарядила свое да и баста.

— Я, говорить,—прежде все опишу, и если онъ простить— получу отвѣтъ, тогда и поѣду.

— Ну, дѣлай, моль,—какъ знаешь; тебя, видно, милая, не научишь. Дивлюсь только, говорю, одному, что какой это изъ васъ такой новый заводъ пошелъ, что на грѣхъ идете, вы тогда съ мужьями не спрашиваетесь, а промолчать, прости Господи, о пакостяхъ о своихъ — грѣха боитесь. Гляди, говорю,—бабочка, не кусать бы тебѣ локтя! Такъ-таки оно все на мое вышло. Написала она письмо, въ которомъ, ужъ Богъ ее знаетъ—все объяснила должно-быть— отвѣта нѣть. Прійдетъ, плачетъ-плачетъ—отвѣта нѣть.

— Поѣду, говорить,—сама; слугою у него буду.

Опять я подумала — и это одобряю. Она, думаю, хорошенькая, пусть хоть по-первоначалу какое время и погибнется, а какъ она на глазахъ будетъ, авось опять духъ, во тьмѣ приходящій, спугнется; можетъ и забудется. Ночная кукушка, знаешь, дневную завсегда перекукуетъ.

— Ступай, говорю, — все жъ мужъ, не полюбовникъ, все скорѣй смируется.

— А гдѣ бѣ, говорить,—миѣ, Домна Платоновна, денегъ на дорогу достать?

— А своихъ-то, спрашиваю,—аль ужъ ничего нѣть?

— Ни грошика, говорить, — нѣть; я ужъ и Дисленыш должна.

— Ну, матушка, денегъ доставать здѣсь остро.

— Взгляните, говорить,—на мои слезы.

— Что-жъ, говорю, — дружокъ, слезы?—слезы слезами, и миѣ даже самой очень тебя жаль, да только Москва слезъ не вѣрить, говорить пословица. Подъ нихъ денегъ не дадутъ.

Она плачетъ, я это тоже съ нею сижу, да такъ промежъ себя и разговариваемъ, а въ комнату ко миѣ пасть вдругъ этотъ полковникъ... какъ его зовутъ-то?

— Да ну, Богъ тамъ съ нимъ, какъ его зовутъ!

— Уланскій, или какъ ихъ это называются-то они?—инженеръ?

— Да Богъ съ нимъ, Домна Платоновна.

— Ласточкинъ, онъ, кажется, будетъ по фамиліи, или какъ

не Ласточкинъ? — такъ какъ-то птичья фамилія и не то съ люди, не то съ како начинается...

— Ахъ, да оставьте вы его фамилію въ покой.

— Я этакъ-то вотъ много кого: по мѣстамъ сейчасъ тебѣ найду, а ужъ фамилію не припомню. Ну, только входитъ этотъ полковникъ; начинаеть, это, со мною шутить, да на ушко и спрашивается:

— Что, говорить, — это за барышня такая?

Она совсѣмъ барыня, ну, а онъ ее барышней назвалъ: очень она еще моложава была на видъ.

Я ему отвѣчаю, кто она такая.

— Изъ провинціи? — спрашивается.

— Это, говорю, — вы угадали — изъ провинціи.

А онъ это — не то какъ какой вѣтреникъ, или повѣса — позѣстно, человѣкъ ужъ въ такомъ чинѣ — любилъ, чтобъ женщина была хоть и на краткое время, но не забыши свой стыдъ, и съ правилами; ну, а наши пантерскія, знаешь, чай, самъ, сколько у нихъ стыда-то, а правиль и еще того больше: у стриженої дѣвки на головѣ волосъ больше, чѣмъ у нихъ правиль.

— Ну-съ, Домна Платоновна?

— Ну, сдѣлай, говорить, — милость, Домна Панталоновна — у нихъ это, у полковыхъ, у всѣхъ все такая привычка: не скажетъ: Платоновна, а *Панталоновна*. — Ну-съ, говорить, Домна Панталоновна, — ничего, говорить, для тебя не пожалѣю, только ограничь ты мнѣ это дѣло въ порядкѣ.

Я, знаешь, ничего ему рѣшительнаго не отвѣчаю, а только бровями этакъ, понимаешь, на нее повела, и даю ему мину, что, дескать, «трудно».

— Невозможно? — говоритъ.

— Этого, говорю, — я тебѣ, генераль мой хороший, не объясняю, потому это ея душа, ея и воля, а что хотя и не надѣюсь, но попробовать я для тебя попробую.

А онъ сейчасъ мнѣ: «ничего, говорить, тутъ, Панталониха, словами разговаривать; вотъ, говорить, тебѣ пятьдесятъ рублей и всѣ ихъ сейчасъ ей передай».

— И вы ихъ, спрашиваю, — передали?

— А ты вотъ лучше не забѣгай, а если хочешь слушать, такъ слушай. Разсуждаю я, взявши у него эти деньги, что хотя, точно, у насъ съ нею никогда разговора такого,

на это похожаго, не было, чтобъ претекстъ мнѣ ей такой сдѣлать, ну, только, зная эти петербургскія обстоятельства, думаю: «охъ, какъ разъ она еще, гляди, и сама рада, бѣдная, будетъ!» Выходу я къ ней въ свою въ маленькую комнатку, гдѣ мы сидѣли-то, и говорю: «ты, говорю, Леканида Петровна, въ рубашечкѣ, знать, родилась. Только о деньгахъ поговорили, а онъ, говорю, и вотъ онъ», да бумажку-то передъ ней кладу. Она: «кто это? какъ это? откуда?»— Богъ, я говорю, тебѣ послать — говорю ей громко, а па ушко-то шепчу: «вотъ этотъ баринъ, сказываю, за одно твоё вниманіе тебѣ посыаетъ... Прибирай, говорю, скорѣй эти деньги!».

А она, смотрю, слезы у нея по глазамъ и на столь капъ-капъ, какъ гороховины. Съ радости, или съ горя — никакъ не разберу, съ чего эти слезы.

— Прибери, говорю, — деньги-то, да выдь на минутку въ ту комнату, а я тутъ покопаюсь... Довольно тебѣ, кажется, какъ я все это для нея вдругъ прекрасно устроила?

Смотрю я на Домну Платоновну: ни бровка у нея ни моргнетъ, ни уста у нея не лукавятъ; вся рѣчъ ея проста, сердечна; все лицо ея выражаетъ одно доброе желаніе пособить бѣдной женщинѣ и страхъ, чтобъ это, внезапно подвернувшееся благодѣтельное событие какъ-нибудь не разстроилось — страхъ не за себя, а за эту же несчастную Леканиду.

— Довольно тебѣ этого? Кажется, все, что могла, все я для нея сдѣлала, — говоритъ, привскакивая и ударяя рукою по столу, Домна Платоновна, при чемъ лицо ея всыхиваетъ и принимаетъ выраженіе гнѣвное.— А она, мерзавка этакая! — восклицаетъ Домна Платоновна.— Она съ этимъ самымъ словомъ — махъ, безо всего, какъ сидѣла, прямо на лѣстницу и гу-гу-гу: во всю мочь реветь, значить. Осрамила! Я это въ свой уголокъ скорѣй; онъ тоже за шапку да драла. Гляжу вокругъ себя — вижу и платокъ она свой шейный, такъ мериносовый, старенький платчишко — забыла. «Ну, постой же, думаю, ты, дрянь этакая! Прійдешь ты, гадкая, я тебѣ этого такъ не подарю». Черезъ день, не то черезъ два, вернулась, это, я къ себѣ домой, смотрю — и она жалуетъ. Я, хоть сердце у меня на нее невелико, потому что я вспылчива только, а сердца долго никогда не держу, но видъ такой ей даю, что сердита ужасно.

— Здравствуйте, говорить,—Домна Платоновна.

— Здравствуй, говорю, — матушка! За платочкомъ, что ли, пришла?—вонъ твой платокъ.

— Я, говорить, — Домна Платоновна, извините меня, такъ тогда испугалась.

— Да, говорю ей,—покорно вѣстъ, матушка, благодарю. За мое же къ вамъ за расположеніе, вы такое мнѣ надѣли, что на чѣмъ лучше желать—требовать.

— Въ перепугъ, говорить,—я была, Домна Платоновна,—простите, пожалуйста.

— Мнѣ, отвѣчаю,—тебя прощать нечего, а что домъ мой не такой, чтобы у меня шкандалить, бѣгать отъ меня по лѣстницамъ; да визги эти свои всякие здѣсь поднимать. Тутъ, говорю, — и жильцы благородные живутъ, да и хозяинъ, говорю,—процентщикъ,—къ нему, что минута народъ пдетъ, такъ онъ тоже этихъ визговъ-то не захочетъ у себя слышать.

— Виновата я, Домна Платоновна. Сами вы посудите, такое предложеніе.

— Что жъ ты, говорю, — такая за особенная, что этакъ очень тебя предложеніе это оскорбило! Предложить, говорю,—всякому это вольно, такъ какъ ты женщина нуждающаяся; а вѣдь тебя насильно никто не бралъ, и зѣвать-то, стало-быть, тебѣ во все горло нечего было.

Простить просить.

Я ей и простила, и говорить съ ней стала, и чаю чашку налила:

— Я къ вамъ, говорить, Домна Платоновна, съ просьбой: какъ бы мнѣ денегъ заработать, чтобы къ мужуѣхать.

— Какъ же, моль, ты ихъ, сударыня, заработкаешь? Вѣтъ былъ случай, упустила, теперь сама думай; я ужъ ничего не придумаю. Что жъ ты такое можешь работать?

— Шить, говорить, — могу; шляпы могу дѣлать.

— Ну, душечка, отвѣчаю ей: — ты лучше обѣ этомъ меня спроси; я эти петербургскія обстоятельства-то лучше тебя знаю; съ этой работой-то, окромя ужъ того, что ея, этой работы, достать негдѣ, да и тѣ, которыхъ ею и давно-то занимаются и настоящія-то шитвицы, такъ и тѣ, говорю, давно голые бы ходили, если бѣ на одженку себѣ грѣхомъ не доставали.

— Такъ какъ же, говорить, — мнѣ быть? — и опять руки ломаеть.

— А такъ, говорю, — и быть, что было бы не коробатиться; давно бы, говорю, — ужъ другой бы день, къ супругу выѣхала.

И-и-ихъ, какъ она опять на эти на мои слова вся какъ вспыхнетъ!

— Что это, говорить, — вы, Домна Платоновна, говорите? Развѣ, говорить, — это можно, чтобъ я на такія скверныя дѣла пустилась?

— Пускалась же, говорю, — меня про то не спрашивалась.

Она еще больше запламенѣла.

— То, говорить, — грѣхъ мой такой былъ, *увлеченіе*, а чтобы я, говорить, — раскаявшись, да собираясь къ мужу, еще на этакія подлыя средства поѣхала — ни за что на свѣтѣ!

— Ну, ничего, говорю, — я, матушка, твоихъ словъ не понимаю. Никакихъ я тутъ подлостей не вижу. Мое, говорю, — разсужденіе такое, что когда если хочетъ себя женщина на настоящій путь повернуть, такъ должна она всѣмъ этимъ пренебрегать.

— Я, говорить, — этимъ предложеніемъ пренебрегаю.

— Очень, слышь, большая барыня! Такъ тамъ съ своимъ съ конопастымъ безо всякаго безъ пути сколько время валандалась, а тутъ для дѣла, для собственного покоя, чтобъ на честную жизнь себя повернуть — шагу одного не можетъ, видишь, ступить, минута ужъ ей одна и та тяжелая очень стала.

Смотрю опять на Домну Платоновну — ничего въ ней нѣть такого, что лежитъ печатью на специалисткахъ по части образованія жертвъ «общественного недуга», а сидитъ передо мною баба самая простодушная и говорить свои мерзости съ невозмутимою увѣренностью въ своей добротѣ и непроходимой глупости госпожи Леканидки.

— Здѣсь, говорю, — продолжаетъ Домна Платоновна: — столица; здѣсь даромъ, матушка, никто ничего не дастъ и шагу-то для тебя не ступить, а не то что деньги.

Этакъ поговорили — она и пошла. Пошла она, и не дѣли съ двѣ, я думаю, ея не было видно. На конецъ того дѣла является голубка вся опять въ слезахъ и опять съ своими охами да вздохами.

— Вздыхай, говорю, — ангель мой, не вздыхай, хоть грудь надсади, но какъ я хорошо петербургскія обстоятельства знаю, ничего тебѣ отъ твоихъ слезъ не поможетъ.

— Боже мой! сказываетъ, — у меня ужъ, кажется, какъ глаза отъ слезъ не вылезутъ, голова какъ не треснетъ, грудь болитъ. Я ужъ, говоритъ, и въ общества сердобольные обращалась: пороги всѣ обила — ничего не выходила.

— Что жъ, сама жъ, говорю, — виновата. Ты бы меня разспросила, чтѣ эти всѣ общества значать. Туда, говорю, для того именно и ходить, чтобы только послѣдніе башмаки дотаптывать.

— Взгляните, говоритъ, — сами, какая я? На что я стала похожа.

— Вижу, отвѣчаю ей, — вижу, мой другъ, и нимало не удивляюсь, потому горе только одного рака красить, по помочь тебѣ, говорю, —ничѣмъ не могу.

Съ часъ тутъ-то она у меня сидѣла и все плакала, и даже, правду сказать, ужъ и надоѣла.

— Нечего, говорю ей наконецъ того, — плакать-то: ничего отъ этого не поможетъ; а, умнѣе сказать, надо покориться.

Смотрю, слушаетъ съ плачомъ и —ужъ не сердится.

— Ничего, говорю, — другъ любезный, не подѣлаешь: не ты первая, не ты будешь и послѣдняя.

— Занять бы, говоритъ, — Домна Платоновна, хоть рублей пятьдесятъ.

— Пятидесяти копеекъ, говорю, — не займешь, а не то, что пятидесяти рублей — здѣсь не таковскій городъ, а столица. Были у тебя пятьдесятъ рублей въ рукахъ — точно, да не умѣла ты ихъ брать, такъ что жъ съ тобой дѣлать?

Поплакала она и ушла. Было это какъ разъ, помню, на Иоанна Рыльскаго, а тутъ какъ разъ черезъ два дня живеть праздникъ: иконы Казанскія Божіей Матери. Такъ что-то мнѣ въ этотъ день ужасно какъ нездоровилось — съ вечера я, это, къ одной купчихѣ на Охтуѣздила, да должно быть простудилась — на этомъ каторжномъ перевозѣ — ну, чувствую я себя, что нездорова; никуда я не пошла: даже и у обѣдни не была; намазала себѣ носъ саломъ и сижу на постели. Гляжу, а Леканида Петровна моя ко мнѣ жалуетъ, безъ бурнусика, однимъ платочкомъ покрывшись.

— Здравствуйте, говорить,—Домна Платоновна.

— Здравствуй, говорю,—душечка.

— Что ты, спрашиваю,—такая неубранная?

— Такъ, говорить,—на минуту, говорить, выскочила,—а сама вижу, вся въ лицѣ мѣняется. Не плачетъ, знаешь, а то всполыхнетъ, то сблѣднѣеть. Такъ меня тутъ же какъ молоныя мысль и прожгла: вѣро, говорю себѣ, чутъ ли ее Дисленыша не выгнала.

— Или, спрашиваю,—что у васъ съ Дисленышей выпшло?— а она это дѣргъ-дѣргъ себя за губенку-то, и хочетъ, вижу, что-то сказать, и заминается.

— Говори, говори, матушка, что такое?

— Я, говорить,—Домна Платоновна, къ вамъ.

А я молчу.

— Какъ, говорить,—вы, Домна Платоновна, поживаете?

— Ничего, говорю,—мой другъ. Моя жизнь все одинаковая.

— А я, говорить... Ахъ, я просто совсѣмъ съ ногъ сбилася.

— Тоже, говорю,—видно и твое все еще одинаково?

— Все то же самое, говорить.—Я ужъ, говорить, всюду кидалася. Я ужъ, кажется, всякий свой стыдъ позабыла: все ходила къ богатымъ лицамъ просить. Въ Кузнецномъ переулкѣ тутъ, говорили, одинъ богачъ помогаетъ бѣднымъ—у него была; на Знаменской тоже была.

— Ну, и много же, говорю,—отъ нихъ вынесли?

— По три цѣлковыхъ.

— Да и то, говорю,—еще много. У меня, говорю, купецъ знакомый у Пяти Угловъ живеть, такъ тотъ размѣняетъ рубль на копейки и по копеечкѣ въ воскресенье и раздастъ. «Все равно, говорить, сто добрыхъ дѣлъ выходитъ передъ Богомъ». Но чтобы пятьдесятъ рублей, какъ тебѣ нужно,—этого, говорю, я думаю, во всемъ Петербургѣ и человѣка такого нѣть изъ богачей, чтобы даромъ далъ.

— Нѣть, говорить,—говорять, есть.

— Кто жъ это, моль, тебѣ говорилъ? Кто такого здѣсь видѣлъ?

— Да одна дама мнѣ говорила... Тамъ у этого богача мы съ нею въ Кузнецномъ вмѣстѣ дожидали. Грекъ, говорить, одинъ есть на Невскомъ: тотъ много помогаетъ.

— Какъ же это, спрашиваю,—онъ за здоровово живешь, что ли, помогаетъ?

— Такъ, говорить,—такъ, просто такъ помогаетъ, Домна Платоновна.

— Ну, ужъ это, говорю,—ты мнѣ, пожалуйста, этого лучше и не ври. Это, говорю, сущій вздоръ.

— Да, что же вы, говорить, спорите, когда эта дама сама про себя даже рассказывала? Она шесть лѣтъ уже не живеть съ мужемъ и всякий разъ, какъ пойду, говорить, такъ пятьдесятъ рублей.

— Вреть, говорю,—тебѣ твоя знакомая дама.

— Нѣть, говорить,—не вреть.

— Вреть, вреть, говорю,—и вреть. Ни въ жизнъ этому не повѣрю, чтобы мужчина женщінъ пятьдесятъ рублей даромъ далъ.

— А я, говорить,—утверждаю васъ, что это правда.

— Да, ты что жь, сама, что ли, говорю, ходила?

А она красиѣсть, красиѣсть, глазъ куда дѣть не знаетъ.

— Да вы, говорить,—что, Домна Платоновна, думаете? Вы, пожалуйста, ничего такого не думайте? Ему восемьдесятъ лѣтъ. Къ нему много дамъ ходятъ, и онъ ничего отъ нихъ не требуетъ.

— Что-жь, говорю,—онъ красотою, что ли, только вашею освѣщається?

— Вашею? Почему же, это, говорить,—вы опять такъ утверждаете, что какъ будто и я тамъ была?—А сама такъ, какъ розанъ, и закрасиѣлась.

— Чего жь, говорю,—не утверждать? развѣ не видно, что была.

— Ну, такъ что жь такое, что была? Да, была.

— Что жь, очень, говорю,—твоему счастью рада, что побывала въ хорошемъ домѣ.

— Ничего, говорить,—тамъ нехорошаго нѣть. Я очень просто зашла, говорить, къ этой дамѣ, что съ нимъ знакома, и рассказала ей свои обстоятельства... Она, разумѣется, мнѣ сначала сейчасъ тѣ же предложения, что и всѣ дѣлаютъ... Я не захотѣла; ну, она и говорить: «ну, такъ вотъ, не хотите ли къ одному греку богатому сходить? Онъ ничего не требуетъ и очень много хорошенъкимъ женщинамъ помогаетъ. Я вамъ, говорить, адресъ дамъ. У него дочь на фортепіано учится, такъ вы будто какъ учительница придете, но къ нему самому ступайте, и ничего, говорить, васъ стѣснять не будетъ, а деньги получите. Онъ,

понимаете, Домна Платоновна, онъ уже очень старый-престарый.

— Ничего, говорю,—не понимаю.

Опа, вижу, на мою недогадливость сердится. Ну, а я ужъ гдѣ тамъ не догадываюсь: я все отлично это понимаю, къ чему оно клонить, а только хочу ее стыдомъ-то этимъ помучить, чтобы совѣсть-то ее взяла хоть немножко.

— Ну, какъ, говорить,—не понимаете?

— Да такъ, говорю,—очень просто не понимаю, да и понимать не хочу.

— Отчего это такъ?

— А оттого, говорю,—что это отвратъ и противность, тыпфу!

Стыжу ее; а она, смотрю, моргъ-моргъ и кидается ко мнѣ на плечи, и цѣлуеть, и плачуи говорить: а съ чѣмъ же я все-таки, пойду?

— Какъ съ чѣмъ, моль, пойдешь? А съ тѣми деньгами-то, чтѣ онъ тебѣ далъ.

— Да онъ мнѣ всего, говорить,—десять рублей далъ.

— Отчего такъ, говорю,—десять? Какъ это всѣмъ пять-десять, а тебѣ всего десять!

— Чортъ его знаетъ!—говорить съ сердцемъ.

И слезы даже у нея отъ большого сердца остановились.

— А то-то, моль, и есть!.. видно, ты чѣмъ-нибудь ему не потрафила. Ахъ вы, говорю,—дамки вы этакія, дамки! Не лучше ли, не честнѣе ли я тебѣ, простая женщина, совѣтыала, чѣмъ твоя благородная посовѣтыала?

— Я сама, говорить,—это вижу.

— Раньше, говорю,—надо было видѣть.

— Что жъ я, говорить,—Домна Платоновна... я же вѣдь теперь ужъ и рѣшилась,—и глаза это въ землю тупить.

— На что жъ, говорю,—ты рѣшилась?

— Что жъ, говорить,—дѣлать, Домна Платоновна, такъ, какъ вы говорили... вижу я, что ничего я не могу пособить себѣ. Если бъ, говорить,—хоть хороший человѣкъ...

— Что жъ, говорю,—чтобы много ее словами не конфузить: я, говорю,—отягощусь, похлопочу, но только уже и ты жъ, смотри, сдѣлай милость, не капризничай.

— Нѣть, говорить,—ужъ куда!..

Вижу, сама давитса, а сама твердо отвѣчаетъ: «нѣть,

говорить,— отяготитесь, Домна Платоновна, я не буду ка-
призначать».

Узнаю тутъ отъ нея посидѣвши, что эта подлая Дис-
леныша ее выгоняетъ, и то-есть не то что выгоняетъ, а и
десять рублей-то, что она, несчастная, себѣ отъ грека
принесла, ужъ отобрала у нея и потомъ совсѣмъ ужъ ее
и выгнала, и бѣльишко—какая тамъ у нея была рубашка,
да перемывашка—и то все обобрала за долгъ, и за хвостъ
ее, какъ кошку, да на улицу.

— Да знаю, говорю я,—этую Дисленышу.

— Она, говоритъ,— Домна Платоновна, кажется, просто
торговать мною хотѣла.

— Отъ нея, отвѣчаю,— другого-то ничего и не до-
ждешься.

— Я, говоритъ,— когда при деньгахъ была, я ей не
разъ помогала, а она со мной такъ обошлась, какъ съ
послѣдней.

— Ну, душечка, говорю,— нынче ты благодарности въ
людахъ лучше и не ищи. Нынче, чѣмъ ты кому больше
добра дѣлай, тѣмъ онъ только готовъ тебѣ за это больше
нашакостить. Тонеть, такъ топоръ сулить, а вынырнетъ,
такъ и топорища жаль.

Разсуждаю этакъ съ ней и ни-и-и думаю того, что она
сама, шельма эта Леканида Петровна, какъ мнѣ за все
отблагодарить.

Домна Платоновна вздохнула.

— Вижу, что она все это мнется да трется,—продолжала
Домна Платоновна:— и говорю: что ты хочешь сказать-то?
Говори — лишнихъ бревенъ никакихъ нѣть: въ кварталь
надзирателю долносить некому.

— Когда же?—спрашивается.

— Ну, говорю,— мать моя, надо подождать: это тоже
шахъ-махъ не дѣлается.

— Мнѣ, говоритъ,—Домна Платоновна, дѣться некуда.

А у меня—вотъ ты какъ зайдешь когда-нибудь ко мнѣ,
я тебѣ тогда покажу—есть такая каморка, такъ маленькая
такая, веци тамъ и свои, какія есть, берегу, и если слу-
чится какая тоже дамка, чтѣ мѣста ищетъ иногда, или
случая какого дожидается, такъ въ то время отдаю. На
эту пору каморочка у меня была свободна: переходи, го-
ворю, и живи.

Переходъ ея весь въ томъ и быть, что въ чемъ пришла, въ томъ и осталась: все Дисленыша, мерзавка, за долги забрала.

Ну, видя ея бѣдность, я дала ей тутъ же платье — купецъ одинъ мнѣ дарилъ: чудное платье, крепрошевое, не то шикшишетеневое, такъ какъ-то матерія-то эта называлась — но только узко оно мнѣ въ лификѣ было. Шитвица-пакостница не потрафила, да я, признаюсь, и не люблю фасонныхъ платьевъ, потому сжимаютъ онѣ очень въ грудяхъ, я все вотъ въ этакихъ капотахъ хожу.

Ну, дала я ей это платье, даже кружевцовъ; перешила она это платьишко, отдала его кое-гдѣ кружевцами, и чудесное еще платьице вышло. Пошла я, сударь мой, въ штилбоковъ пассажъ, купила ей полсапожки, съ кисточками такими, съ бахромочкой, съ каблучками; дала ей воротничковъ, манишечку — ну, однимъ словомъ, нарядила молодца, яко старца; не стыдно ни самой посмотретьть, ни людямъ показать. Даже сама я не утерпѣла, пошутила ей: франтишка, говорю, ты какая! умѣешь все какъ къ лицу сдѣлать.

Живемъ мы послѣ этого вмѣстѣ недѣлю, живемъ другую, все у насъ съ нею отлично: я по своимъ дѣламъ, а она дома остается. Вдругъ тутъ-то дѣло мнѣ припало къ одной не то что къ дамкѣ, а къ настоящей барынѣ, и немолодая ужъ барыня, а такая-то, прости Господи!.. Звѣзда восточная. Студента все къ сыну въ гувернери искала. Ну, ужъ я знаю, какого ей надо студента.

— Чтобы быть, говорить,—опрятный; чтобы не изъ этихъ, какъ вотъ шляются — сицилисты, — они не знаютъ, небось, гдѣ и мыло продается.

— На что жъ, говорю, — изъ этихъ? Куда они годятся!

— И, говорить, — чтобы въ возрастѣ быть, а не дитѣю бы смотрѣть; а то дѣти его и слушаться не будутъ.

— Понимаю, моль, все.

Отыскала я студента: мальченко молоденький, но этакій штуковатый и чищеный, все сразу понимаетъ. Иду-сь я теперь съ этимъ дѣломъ къ этой дамѣ; передала ей адресъ; говорю: такъ и такъ, тогда и тогда будетъ и извольте его посмотретьть, а что такое если не годится — другого, говорю, найдемъ, и сама ухожу. Только иду это съ лѣстницы, а въ швейцарской генераль мнѣ навстрѣчу, и вотъ онъ. И

этот самый генераль, надо тебе сказать, хоть онъ и штатский, но очень образованный. Въ домѣ у него роскошь такой: зеркала, ларины, золото вездѣ, ковры, лакеи въ перчаткахъ, вездѣ это духами накурено. Одно слово, свой домъ и живутъ въ свое удовольствіе; два этажа сами занимаются: онъ, какъ взойдешь изъ швейцарской, сейчасъ нальво; комната восемь одинъ живетъ, а направо сейчасъ другая такая же половина, въ той сынъ старшій, тоже женатый ужъ года съ два. На богатой тоже женился, и все какъ есть въ домѣ очень ее хвалять, говорить — преблаженная барыня, только чахотка должно у нея — очень ужъ худая. Ну, а наверху, сейчасъ по этажъ лѣстница — широкая-препирокая лѣстница и вся цвѣтами установлена — тутъ сама старуха, какъ тетера на токовищѣ сидитъ съ меньшинскими дѣтьми, и гувернеры-то эти тамъ же. Ну, знаешь ужъ, какъ на большую ногу живутъ!

Встрѣтилъ меня генераль и говоритъ: «здравствуй, Домна Платоновна!» — Превѣжливый баринъ.

— Здравствуйте, говорю, — ваше превосходительство.

— У жены, что-ль, была? — спрашивается.

— Точно такъ, говорю, — ваше превосходительство, у супруги вашей, у генеральши была; кружевца, говорю, старинныхъ приносила.

— Нѣть ли, говорить, — у тебя чего, кроме кружевцовъ, хорошенъкаго?

— Какъ, говорю, — не быть, ваше превосходительство! Для хорошихъ, говорю, — людей всегда на свѣтѣ есть что-нибудь хорошее.

— Ну, пойдемъ-ка, говорить, — пройдемся; воздухъ, говорить, — нынче очень свѣжий.

— Погода, отвѣчаю, — отличная, рѣдко такой и дождешься. Онъ выходитъ на улицу, и я за нимъ, а карета сзади наѣзжаетъ по улицѣ. Такъ вмѣстѣ по Моховой и идемъ — ей-Богу правда. Препростодушный, говорю тебѣ, баринъ!

— Что жъ, спрашивается, — чѣмъ же ты это нынче, Домна Платоновна, мнѣ похвалившись?

— А ужъ тѣмъ, молъ, ваше превосходительство, похвалилось, что могу сказать, что рѣдкость.

— Ой-ли, правда? спрашивается, — не вѣрить, потому что онъ очень и опытный — постоянно все по циркамъ, да по

балетамъ и вездѣ страшно по этому предмету со вниманіемъ слѣдить.

— Ну, ужъ, хвалиться, говорю,—вамъ, сударь, не стану, потому что, кажется, изволите знать, что я попусту врать на вѣтеръ не охотница, а вы, когда вамъ угодно, извольте, говорю, пожаловать. Гляженое лучше хваленаго.

— Такъ не лжешь, говорить,—Домна Платоновна, стоявшая штучка?

— Одно слово, отвѣчаю ему я, — ваше превосходительство, больше и говорить не хочу. Не такой товаръ, чтобъ еще нахваливать.

— Ну, посмотримъ, говорить,—посмотримъ.

— Милости, говорю,—просимъ. Когда пожалуете?

— Да какъ-нибудь на этихъ дняхъ, говорить, — вѣроятно, заѣду.

— Нѣть, говорю, — ваше превосходительство, вы извольте назначить какъ навѣрное, такъ говорю, — и ждать будемъ; а то я, говорю,—тоже дома не сижу: волка, моль, ноги кормятъ.

— Ну, такъ я, говорить,—послѣ завтра, въ пятницу изъ присутствія заѣду.

— Очень хорошо, говорю, — я ей скажу, чтобъ дождалась.

— А у тебя, спрашиваетъ,—тутъ въ узелкѣ-то что-нибудь хорошенькое есть?

— Есть, говорю,—штучка шелковыхъ кружевъ черныхъ отличная. Половину—согала ему—половину, говорю, ваша супруга взяли, а половина, говорю, какъ разъ на двадцать рублей осталась.

— Ну, передай, говорить, — ей отъ меня эти кружева: скажи, что *добрый геній* ей посылаетъ—шутить это, а самъ мнѣ двадцать-пять рублей бумажку подаетъ, и сдачи, говорить, не надо: возьми себѣ на орѣхи.

Довольно тебѣ, что и въ глаза ее не видавши, этакой презентъ.

Сѣль онъ въ карету тутъ у Семіоновскаго моста и поѣхалъ, а я Фонталкой по набережной, да и домой.

— Вотъ, говорю, — Леканида Петровна, и твоё счастье нашлось.

— Чѣмъ, говорить,—такое.

А я ей все по порядку рассказываю: хвалю его, знаешь,

ей, какъ ни быть лучше: хотя, говорю, и въ лѣтахъ, но мужчина видный, полный, бѣлье, говорю, тонкое носить, въ очкахъ, сказываю, въ золотыхъ; а она вся такъ и трясеется.

— Нечего, говорю, — мой другъ, тебѣ его бояться: можетъ-быть, для кого-нибудь другого онъ тамъ по чину своему, да по должности пускай и страшень, а твое, говорю, дѣло при немъ будетъ совсѣмъ особливо; еще ручки, ножки свои его цѣловать заставь. Имъ, говорю, одна дамка-польчака (я-таки ее съ нимъ еще и познакомила), какъ хотѣла, помыкала, и амантовъ, говорю, имѣла, а онъ имъ еще и отличныя какія мѣста подавалъ, все будто замѣсто своихъ братьевъ она ему ихъ выдавала. Положись на мое слово и ничуть его не опасайся, потому что я его отлично знаю. Эта польчака, бывало, даже руку на него поднимала: сдѣлаеть, бывало, истерику, да махъ его рукою по очкамъ; только стеклышики зазвенятъ, а твое воспитаніе ничуть не ниже? А вотъ, говорю, тебѣ отъ него, пока что и презентикъ—вынула кружева да передъ ней и положила.

Прихожу опять вечеромъ домой, смотрю — она сидить чулокъ себѣ штопаетъ, а глаза такие заплаканные; гляжу, и кружева мои на томъ же мѣстѣ, гдѣ я ихъ положила.

— Прибрать бы, говорю,—тебѣ ихъ надо; вонь хоть въ комоду, говорю, мою, что ли, бы положила; это вещь дорогая.

— На чѣ, говорить,—они мнѣ?

— А не нравятся, такъ я тебѣ за нихъ десять рублей деньги ворочу.

— Какъ хотите,—говорить.

— Взяла я эти кружева, смотрю, что всѣ цѣлы — свернула ихъ какъ должно, и такъ, не мѣрявши, въ свой саквояжъ и положила.

— Вотъ, говорю,—что ты мнѣ за платье должна — я съ тебя лишниго не хочу — положимъ за него хоть семь рублей, да за полсапожки три цѣлковыхъ, вотъ, говорю, и будемъ квиту, а остальное тамъ, какъ сочтемся.

— Хорошо, говорить,—а сама опять плакать.

— Плакать-то теперь бы, говорю,—не слѣдовало.

А она мнѣ отвѣчаетъ:

— Дайте, говорить,—мнѣ, пожалуйста, мои послѣднія слезы выплакать. Что вы, говорить,—безпокоитесь? — не бойтесь, понравлюсь!

— Что жъ, говорю,—ты, матушка, за мое же добро, да на меня же фыркаешь? Тоже, говорю, новости: у Фили пили, да Филю-жъ и били!

Взяла да и говорить съ ней перестала.

Прошелъ четвергъ, я съ ней не говорила. Въ пятницу напилась чаю, выхожу и говорю: изволь же, говорю, сударыня, быть готова: онъ нынче пріѣдетъ.

Она какъ вскочите: «какъ нынче! какъ нынче!»

— А такъ, говорю,—чай, сказано тебѣ было, что онъ обѣщался въ пятницу, а вчера, я думаю, былъ четвергъ.

— Голубушка! говорить,—Домна Платоновна! — пальцы себѣ кусаеть, да бухъ мнѣ въ ноги.

— Что ты, говорю,—сумасшедшая? Что ты?

— Спасите!

— Отъ чего, говорю,—отъ чего тебя спасать-то?

— Защитите! Пожалѣйте!

— Да что ты, говорю,—блажишь? Не сама ли же, говорю,—ты просила?

А она опять береть себя руками за щеки, да вопить: «душечка, душечка, пусть завтра, пусть, говорить,—хоть послѣ завтра!»

Ну, вижу, нечего еe, дуру, слушать, хлопнула дверью и ушла. Пріѣдетъ, думаю, онъ сюда—сами поладятъ. Не одну ужъ такую-то я видѣла: всѣ онъ попервоначалу благи бывають. Что ты на меня такъ смотришь? Это, повѣрь, я правду говорю: всѣ такъ-то убиваются.

— Продолжайте, говорю,—Домна Платоновна.

— Что-жъ, ты думаешь, она, поганка, сдѣлала!

— А кто ее знаетъ, чтò ее чортъ угораздилъ сдѣлать!— сорвалось у меня со злости.

— Ужъ именно, правда твоя, что чортъ ее угораздилъ,— отвѣчала съ похвалою моей прозорливости Домна Платоновна.—Этакого человека, этакую вельможу она, шельмовка эта, и въ двери не пустила!.. Стучаль-стучаль, звониль-звониль—она тебѣ хоть бы ему голосъ какой подала. Вотъ, вѣдь, какая хитростная—на что отважилась! Сидить запершись, словно ей и духу тамъ нѣть. Захожу я вечеркомъ къ нему—сейчасъ меня впустили—и спрашиваю: ну, что, говорю, обманула я васъ, ваше превосходительство? а онъ туча-тучей. Разглаголствуетъ мнѣ все, какъ онъ былъ и какъ ни съ чѣмъ назадъ пошелъ.

— Этакъ, говорить,— Домна Платоновна, любезная моя, съ порядочными людьми не поступаютъ.

— Батюшка, говорю,— да какъ это можно! вѣрно, говорю,— она куда на минуту выходила, или что такое—не слыхала — ну, а сама себѣ думаю: ахъ ты, варварка! ахъ ты, злодѣйка этакая! страмовщица ты!

— Пожалуйте, прошу его,— ваше превосходительство, завтра—вѣрно вамъ ручаюсь, что все будетъ, какъ должно.

Да ушедши-то отъ него домой, да бѣгомъ, да бѣгомъ. Прибѣгаю, кричу:

— Варварка! варварка! что жъ ты это, варварка, со мной надѣла? Съ какимъ ты меня человѣкомъ, можетъ-быть, разстроила? Вѣдь, ты, говорю, сама со всей твоей родней-то да и съ цѣлой губерніей-то съ вашей и сапога его одного отоптаннаго не стоишь! Онъ, говорю,— въ прахъ и въ пепель всѣхъ васъ и все начальство-то ваше истереть одной ногой можетъ. Чего жъ ты, бездѣльница этакая, модничаешь? Даромъ я, что ли, тебя кормлю? Я бѣдная женщина; я на твоихъ же глазахъ день и ночь постоянно отягощаюсь; я на твоихъ же глазахъ веду самую прекрасительную жизнь да еще ты, говорю, щелчокъ ты этакой, нахлѣбница павязалась!

И какъ ужъ я ее тутъ-то ругала! Какъ страшно я ее съ сердцемъ ругала, что ты не повѣришь. Кажется-бѣ вить взяла я да глаза ей въ сердцахъ повыцарапала.

Домна Платоновна сморгнула набѣжавшую на одинъ глазъ слезу и проговорила между строкъ: даже теперь жалко, какъ вспомню, какъ я ее тогда обидѣла.

— Гольтепа ты дворянская! говорю ей:—вонъ отъ меня! вонъ, чтобъ и духъ твой здѣсь не пахъ! и даже за рукавъ ее къ двери бросила.—Вѣдь вить, ты скажи, что съ сердцемъ человѣкъ иной разъ дѣлается: сама назавтри къ ней такого грандеву пригласила, а сама ее нынче же вонъ выгоняю! Ну, а она — на эти мои слова, сейчасъ и готова—и къ двери.

У меня ужъ было и сердце все проходить стало, какъ она все это стояла-то, да молчала, а ужъ какъ она по моему, по послѣднему слову къ двери даже обернулась, я опять и вскипѣла.

— Куда, куда, говорю,—такая-сякая, ты летиши?

Ужъ и сама даже не помню, какими ее словами опять изругала.

— Оставайся, говорю,—не смѣй ходить!..

— Нѣть, я, говорить,—пойду.

— Какъ пойдешь? какъ ты смѣешь идти?

— Что жъ, говорить, вы, Домна Платоновна, на меня сердитесь, такъ лучше же мнѣ уйти.

— Сержусь! говорю. — Нѣть, я мало, что на тебя сержусь, а я тебя буду бить.

Она вскрикнула, да въ дверь, а я ее за ручку, да назадъ, да тутъ-то сгоряча оплеухъ съ шесть таки горячихъ ей и закатила.

— Воровка ты, говорю,—а не дама, кричу на нее;—а она стоять въ уголкѣ, какъ я ее оттрапала, и вся, какъ кленовъ листъ, трясется, но и тутъ, замѣть, свою анбію дво-
рянскую почувствовала.

— Что жъ, говорить,—такое я у васъ украла?

— Космы-то, говорю,—патлы-то свои подбери — потому я ей всю прическу разстроила. — То, говорю,—ты у меня украла, что я тебя, варварку, поила-кормила двѣ недѣли; обула-одѣла тебя; я, говорю,—на всякой часъ отягощаюсь, я веду прекратительную жизнь, да еще черезъ тебя должна куска хлѣба лишиться, какъ ты меня съ такимъ человѣкомъ поссорила!

Смотрю: она потихоньку косы свои опять въ пучокъ подвернула, взяла въ ковшикъ холодной воды — умылась; голову расчесала и сѣла. Смирно сидѣть у окошечка, только все жестяное зеркальце потихонечку къ щекамъ прикладывается. Я будто не смотрю на нее, раскладываю по столу кружева, а сама вижу, что щеки-то у нея такъ и горятъ.

— Ахъ, думаю,—напрасно вѣдь это я, злодѣйка, такъ ужъ очень ее обидѣла!

Все, что стою надъ столомъ, да думаю — то все мнѣ ей жалче; что стою думаю — то все жалче.

— Ахъ-ти мнѣ, горе съ моимъ добрымъ сердцемъ! Ни-
какъ я съ своимъ сердцемъ не совладаю. И досадно, и знаю,
что она виновата, и вполнѣ того заслужила, а жалко.

Выскочила я на минуточку на улицу — тутъ у насть, въ нашемъ же домѣ подъ низомъ кондитерская — взяла десять штучекъ песочного пирожного и прихожу; сама поставила самоваръ; сама чаю чашку ей налила и подаю съ пирожнымъ. Она взяла изъ моихъ рукъ чашку и пирожное взяла, откусила кусочекъ, да межъ зубовъ и держитъ. Кусочекъ

держить, а сама вдруг улыбается, улыбается и весело улыбается, а слезы капъ-капъ-капъ, такъ и брызжутъ; таки вотъ просто не текуть, а какъ сокъ изъ лимона, если подавишь, брызжутъ.

— Полно, говорю,—не обижайся.

— Нѣтъ, говоритъ,—я ничего, я ничего, я ничего... да какъ зарядила это: «я ничего, да я ничего» — твердить одно, да и полно.

Господи! думаю, ужъ не сдѣлалось ли ей помраченіе смысловъ? Водой на нее брызнула; она тишѣ, тишѣ и успокоилась; сѣла въ уголку на постелишкѣ и сидитъ. А меня все, знаешь, совѣсть мутить, что я ее обидѣла. Помолилась я Богу — прочитала, какъ еще въ Мценскѣ священникъ училъ отъ запаленія ума: «Благаго Царя, благая Мати, пречистая и чистая», — и сняла съ себя капотикъ, и подхожу къ ней въ одной юбкѣ и говорю: «Послушай ты меня, Леканида Петровна! Въ писаніи читается: «да не зайдеть солнце во гнѣвѣ вашемъ»; прости же ты меня за мою дерзость; давай, помиримся! — поклонилась ей до земли и взяла ея руку поцѣловала: вотъ тебѣ, ей-Богу, какъ завтрашній день хочу видѣть, такъ поцѣловала. И она, смотрю, наклоняется ко мнѣ и въ плечо меня чмокъ, гляжу — и тоже мою руку поцѣловала и сами мы между собою обѣ другъ другу дружку обняли и поцѣловались.

— Другъ мой, говорю, — вѣдь я не со злости какой, или не для своей корысти, а для твоего же добра! — толкую ей, и по головкѣ ее ласкаю, а она все этакъ, скорого-воркой:

— Хорошо, хорошо; благодарю васъ, Домна Платоновна, благодарю.

— Вотъ она, говорю, — завтра опять приѣдетъ.

— Ну, что жъ! говоритъ, — ну, что жъ! очень хорошо, пусть приѣзжаетъ.

Я ее опять по головкѣ гляжу, волоски ей за ушко заправляю, а она сидитъ, и глазкомъ съ ланпады не смигнетъ. Ланпадъ горить передъ образами таково тихо, сіяніе отъ иконъ на нее идетъ, и вижу, что она вдругъ губами все шевелить, все шевелить.

— Что ты, спрашиваю, — душечка, Богу это, что ли, молишься?

— Нѣтъ, говоритъ, — это я, Домна Платоновна, такъ.

— Что жь, говорю,—я думала, что ты это молишься, а такъ самому съ собой разговаривать, другъ мой, не годится. Это только одни помѣшанные сами съ собой разговариваютъ.

— Ахъ,—отвѣтываетъ она мнѣ:—я, говорить,—Домна Платоновна, ужь и сама думаю, что я, кажется, помѣшанная. На что я только иду! на что я это иду!—заговорила вдругъ, и въ грудь себя таково изо всей силы ударяетъ.

— Что жь, говорю, — дѣлать? Такъ тебѣ, вѣрно, путь такой тяжелый назначенъ.

— Какъ, говорить,—такой мнѣ путь назначенъ? Я была честная девушка! я была честная жена! Господи! Господи! да гдѣ же Ты? Гдѣ же, гдѣ Богъ?

— Бога, говорю,—читается, другъ мой, никто же видѣлъ, и нигдѣ же.

— А гдѣ же есть сожалительные, добрые христіане? Гдѣ они? гдѣ?

— Да здѣсь, говорю,—и христіане.

— Гдѣ!

— Да какъ гдѣ? Вся Россія — все христіане, и мы съ тобой христіанки.

— Да, да, говорить,—и мы христіанки... и сама, вижу, эти слова выговариваетъ, и въ лицѣ страшная становится. Словно она съ кѣмъ съ невидимымъ говорить.

— Фу, говорю,—да сумасшедшая ты, что ли, въ самомъ дѣлѣ? что ты меня пужаешь-то? что ты ропотъ-то на Создателя своего произносишь?

Смотрю: сейчасъ она опять смирилась, плачетъ опять тихо и разсуждаетъ:

— Изъ-за чего, говорить,—это я только все себѣ надѣлала? Какихъ я людей слушала? Разбили меня съ мужемъ; натолковали мнѣ, что онъ и тиранъ, и варваръ, когда это совсѣмъ неправда была, когда я, я *сама*, презрѣнная и низкая капризница, я жизнь его отравила, а не покола. Люди! подлые вы люди! сбили меня; насулили мнѣ здѣсь горы золотыя, а не сказали про рѣки огненныея. Мужъ меня теперь бросилъ, смотрѣть на меня не хочетъ, писемъ моихъ не читаетъ. А завтра я... брр...хъ!

Вся даже задрожала.

— Маменька!—стала звать,—маменька! если бъ ты меня теперь, душечка, видѣла? Если бъ ты, чистенький ангель

мой, на меня теперь посмотрѣла изъ своей могилки? Какъ она насть, Домна Платоновна, воспитывала! Какъ мы жили хорошо; ходили всегда чистеньки; все у насть въ домѣ было такое хорошенъкое; цвѣточки мама любила; бывало, говорить, возьметъ за руки и пойдемъ двое далеко... въ луга пойдемъ...

Тутъ-то знаешь ты, сонъ у меня удивительный — слушала я, какъ это хорошо все она вспоминаетъ, и заснула.

Ну, представь же ты теперь себѣ: сплю это; заснула у нея, на ея постеленкѣ, и какъ пришла къ ней, совсѣмъ даже въ юбкѣ заснула, и опять тебѣ говорю, что сплю я свое время крѣпко, и сновъ никогда никакихъ не вижу, кроме какъ развѣ къ какому у меня воровству; а тутъ, все это мнѣ видятся роцци такія, палисадники и она, эта Леканида Петровна. Будто такая она маленькая, такая хорошенъккая: головка у нея русая, вся въ кудряшкахъ, и носитъ она въ рукахъ вѣночекъ, а за нею собачка, такая бѣленъккая собачка, и все на меня гамъ-гамъ, гамъ-гамъ — будто сердится и укусить меня хочетъ. Я будто нагинаюсь, чтобы поднять палочку, чтобы эту собачку отъ себя отогнать, а изъ земли вдругъ мертвая ручища: хватъ меня вотъ за самое за это мѣсто, за кость. Вскинулась я, смотрю — свое время я ужъ пропала, и руку страсть какъ неловко перележала. Ну, одѣлась я, помолилась Богу и чайку напилась, а она все спить.

— Пора, говорю, — Леканида Петровна, вставать; чай, говорю, — на конфоркѣ стоять, а я, мой другъ, ухожу.

Поцѣловала ее на постели въ лобъ, истинно говорю тебѣ, какъ дочь родную жалѣючи, да изъ двери-то выходя, ключикъ это потихонъку вынула, да въ карманъ.

— Такъ-то, думаю, дѣло честнѣе будетъ.

Захожу къ генералу и говорю: ну, ваше превосходительство, теперь дѣло не мое. Я свое сдѣлала — пожалуйте поскорѣй, и ему отдала и ключъ.

— Ну-съ, говорю, — милая Домна Платоновна, не на этомъ же все кончилось?

Домна Платоновна засмѣялась и головой закачала съ такимъ выраженiemъ, что: смѣшины, моль, всѣ люди на бѣломъ свѣтѣ.

Прихожу я домой нарочно попозже, смотрю — огня нѣть.

- Леканида Петровна! зову,
Слышу она на моей постели ворочается.
- Спишь? спрашиваю:—а самое меня, знаешь, такъ смѣхъ и подмываеть.
- Нѣть, не сплю, отвѣчаетъ.
- Что же ты огня, моль, не засвѣтишь?
- На что жъ онъ мнѣ, говорить,—огонь?
- Зажгла я свѣчу, раздула самоваринку, зову ее чай пить.
- Не хочу, говорить,—я, а сама все къ стѣнкѣ заворачивается.
- Ну, по крайности, говорю,—встань же, хоть на свою постель перейди: мнѣ мою постель надо поправить.
- Вижу, поднимается какъ волкъ угрюмый. Взглянула исподлобья на свѣчу и глаза рукой заслоняетъ.
- Что ты, спрашиваю,—глаза закрываешь?
- Больно, отвѣчаетъ,—на свѣтъ смотрѣть.
- Пошла и слышу, какъ была опять совсѣмъ въ платьѣ одѣтая, такъ и повалилась.
- Раздѣлась и я, какъ слѣдуетъ, помолилась Богу, но все меня любопытство береть узнать, какъ тутъ у нихъ безъ меня были подробности? Къ генералу я побоялась идти: думаю, чтобъ опять афрона какого не было, а ее спросить даже слѣдуетъ, но она тоже какъ-то не допускаетъ. Дай, думаю, съ хитростью къ ней пойду. Вхожу къ ней въ каморку и спрашиваю:
- Что, никого, говорю,—тутъ, Леканида Петровна, безъ меня не было.
- Молчать.
- Что жъ, говорю,—ты, мать, и отвѣтить не хочешь?
- А она съ сердцемъ этакъ: нечего, говорить,—вамъ меня разспрашивать.
- Какъ же это, говорю, — нечего мнѣ тебя разспрашивать? Я хозяйка.
- Потому, говорить, — что вы безъ всякихъ вопросовъ очень хорошо все знаете; и это, ужъ я слышу, совсѣмъ другимъ тономъ говорить.
- Ну, тутъ, я все дѣло, разумѣется, поняла.
- Она только вздыхаетъ; и пока я улеглась и уснула — все вздыхаетъ.
- Это, говорю,—Домна Платоновна, ужъ и конецъ?

— Это первому дѣйствію, государь мой, конецъ.

— А во второмъ-то что же происходило?

— А во второмъ она вышла противъ меня, мерзавка—вотъ что во второмъ происходило.

— Какъ же, спрашиваю,—это, Домна Платоновна, очень интересно, какъ такъ это сдѣлалось?

— А такъ, сударь мой, и сдѣлалось, какъ дѣлается: силу человѣкъ въ себѣ почуялъ, ну, сейчасъ и свиньей стать.

— И вскорѣ, говорю,—это она такъ къ вамъ перемѣнилась?

— Тутъ же таки. На другой день ужъ всю это свою нозью прыть показала. На другой день я, по обнаженію, въ свое время встала, сама поставила самоваръ и сѣла къ чаю около ея постели въ каморочкѣ, да и говорю: иди же, говорю,—Леканида Петровна, умывайся, да Богу молись, чай пора пить. Она, ни слова не говоря, вскочила и, гляжу, у нея изъ кармана какая-то бумажка выпала. Нагинаюсь я къ этой бумажкѣ, чтобы поднять ее, а она вдругъ сама, какъ ястребъ, на нее бросается.

— Не троите! говорить,—и хапъ ее въ руку.

— Вижу, бумажка сторублевая.

— Что жъ ты, говорю,—такъ, матушка, рычишь?

— Такъ хочу, такъ и рычу.

— Успокойся, говорю,—милая; я, слава Богу, не Дисленыша, въ моемъ домѣ никто у тебя твоего добра отнимать не станетъ. Ни слова она мнѣ въ отвѣтъ не сказала: мой чай пить и на меня жъ глядѣть не хочетъ; возьмитъ ты это, хоть кому-нибудь доведися—станетъ больно. Ну, однако, я ей это спустила, думала, что она это еще въ разстройкѣ, и точно вижу, что какъ это воротъ-то у нея въ рубашкѣ широкий, такъ видно, знаешь, какъ грудь-то у ней такъ вотъ и вздрагиваетъ, и на что я тебѣ сказывала: была она собою тѣломъ и бѣла, и розовая, точно пухъ въ атласѣ, а тутъ, знаешь, будто вдругъ она какая-то темная мнѣ показалася тѣломъ, и все у нея по голымъ плечамъ-то сиротки вспрыгиваютъ, пупырышки эти такія, что вотъ съ холodu когда выступаютъ. Холеної нѣженкѣ первый снѣжокъ труденъ. Я ее даже молча и пожалѣла еще, и никакъ себѣ не воображала, какая она ехидная.

Вечеромъ прихожу; гляжу — она сидитъ передъ свѣчкой и рубашку себѣ новую шьетъ, а на столѣ передъ

ней еще такъ три, не то четыре рубашки лежать прикроенныя.

— Почемъ, спрашиваю,—брала полотно?

А она этакъ тихо-тихонько мнѣ вотъ что отвѣчаетъ:

— Я, говорить,—Домна Платоновна, желала вѣсъ просять: оставьте вы меня, пожалуйста, съ вашими разговорами.

Смотрю, видъ у нея такой покойный, будто совсѣмъ и не сердится. Ну, думаю, матушка, когда ты такая, такъ и я же къ тебѣ стану иная.

— Я, говорю ей,—Леканида Петровна, въ своеемъ домѣ хозяйка и все говорить могу; а тебѣ, если мои разговоры непріятны, такъ не угодно ли, говорю—отправляться куда угодно.

— И не беспокойтесь, говоритъ,—я и отправлюсь.

— Только прежде всего надо, я говорю,—разсчитаться: честные люди, не разсчитавшись, не сѣзжаютъ.

— Опять, говоритъ,—не беспокойтесь.

— Я, отвѣчу,—не беспокоюсь, ну, только считаю ей, за полтора мѣсяца, за квартиру десять рублей и что пила-ѣла, пятнадцать рублей, да за чай, говорю,—положимъ, хоть три цѣлковыхъ; прачкѣ опять тоже три цѣлковыхъ, тридцать-одинъ цѣлковый, говорю. За свѣчки тутъ-то не посчитала, и что въ баню съ собой два раза ее брала, и то тоже забыла.

— Очень хорошо-съ, отвѣчаетъ,—все будетъ вамъ за плачено.

На другой день вечеромъ ворочаюсь опять домой, застаю ее, что она опять сидитъ, себѣ рубашку шить, а на стѣнѣ, такъ насупротивъ ея, на гвоздикѣ висить этакой бурнусь, черный атласный, хороший бурнусь, на гроденаплевой подкладкѣ и на пуху. Закипѣло у меня, знаешь, что все это она черезъ меня, черезъ мое радѣтельство получила, да еще безъ меня же, словно будто потоймъ отъ меня спрѣвляетъ.

— Бурнусы-то, говорю,—можно бѣ, мнѣ кажется, погодить спрѣвлять, а прежде бѣ съ долгами расчеститься.

Она на эти мои слова сейчасъ опущаетъ бѣлу-рученьку въ кармань; вытаскиваетъ оттуда бумажку и подаетъ. Смотрю, въ этой бумажкѣ аккуратъ тридцать и одинъ цѣлковый.

Взяла я деньги и говорю:—Благодарствуйте, говорю,—Леканида Петровна. Ужь «вы» ей, знаешь, нарочно говорю.

— Не за что-сь, отвѣчаетъ, а сама и глазъ на меня даже съ работы не вскинетъ; все шеть, все шеть; такъ игла-то у нея и летаетъ.

Постой же, думаю,—змѣйка ты зеленая; не очень еще ты чванься, что ты со мною расплатилась. Это, говорю,—Леканида Петровна, вы мнѣ мои расходы вернули, а что жъ вы мнѣ за мои за хлопоты пожалуете?

— За какіе, спрашиваетъ,—за хлопоты?

— Какъ же, говорю,—я вамъ стану объяснять? сами, чай, понимаете.

А она это шеть, наперстокомъ-то по рубцу водить, да и говорить, не глядя: пусть, говоритъ, вамъ за эти ваши милыя хлопоты платить тотъ, кому онѣ были нужны.

— Да вѣдь вамъ, говорю,—онѣ больше всѣхъ нужны-то были.

— Нѣть, мнѣ, говорить,—онѣ не были нужны. А впрочемъ, сдѣлайте милость, оставьте меня въ покоѣ.

Довольно съ тебя этой дерзости! Но я и ею пренебрегла. Пренебрегла и оставила, и не говорю съ нею, и не говорю.

Только на утро, гдѣ бы пить чай, смотрю—она убралась; рубашку эту, что ночью дошила, на себя надѣла, недошитая свернула въ платочекъ; смотрю, нагинается, изъ-подъ кровати вытащила кордонку, шляпочку оттуда достаетъ... Прехорошенькая шляпочка... Все во всемъ ея вкусъ... Надѣла ее и говоритъ: прощайте, Домна Платоновна.

Жаль мнѣ ее опять тутъ, какъ дочь родную, стало: постой же, говорю ей,—постой, хоть чаю-то напейся!

— Покорно благодарю, отвѣчаетъ:—я у себя буду пить чай.

— Понимай, значить—то, что у *себя!* Ну, Богъ съ тобой, я и это мимо ушей пустила.

— Гдѣ жъ, говорю,—ты будешь жить?

— На Владимѣрской, говоритъ,—въ Тарховомъ домѣ.

— Знаю, говорю,—домъ отличный, только дворники большие повѣсы.

— Мнѣ, говоритъ,—до дворниковъ дѣла нѣтъ.

— Разумеется, говорю,—мой другъ, разумеется! Комнатку себѣ, что ли, нанила?

— Нѣть, отвѣчаетъ,—квартиру взяла, съ кухаркой буду жить.

— Вонъ, вижу, куда заиграло! Ахъ ты хитрая! говорю,—хитрая! шутя, на нее, знаешь, пальцемъ грожусь. Зачѣмъ же, говорю,—ты меня обманывала-то, говорила, что къ мужу поѣдешь?

— А вы, говорить,—думаете, что я васъ обманывала?

— Да ужъ, отвѣчаю,—что тутъ думать! когда бъ имѣла желаніе ѿхать, то, разумѣется, не нанимала бъ тутъ квартиры.

— Ахъ, говоритъ,—Домна Платоновна, какъ мнѣ васъ жалко! ничего вы не понимаете.

— Ну, говорю,—ужъ не хитри, душечка! Вижу, что ты умно обѣдала дѣльце.

— Да вы, говорить,—что это толкуете! Развѣ такія мерзавки, какъ я, къ мужьямъ ѿздятъ?

— Ахъ, мать ты моя! что ты это, отвѣчаю,—себя такъ ужъ очень мерзавиши! И въ пять разъ мерзавиѣй тебя да съ мужьями живутъ.

А она, ужъ совсѣмъ это, на порогѣ-то стоючи, вдругъ улыбнулась, да и говоритъ: нѣть, извините меня, Домна Платоновна, и на васъ сердилась; ну, а вижу, что на васъ нельзя сердиться, потому что вы совсѣмъ глупы.

Это вмѣсто прощанья-то! нравится это тебѣ?—Ну, подумала я ей вслѣдъ, глупа-неглупа, а видно умнѣй тебя, потому, что я захотѣла, то съ тобой, съ умницей, съ воспитанной, и сдѣлала.

Такъ она отъ меня сошла, не то что съссорою, а все какъ съ небольшимъ удовольствиемъ. И не видала я ее съ тѣхъ порь, и не видала, я думаю, больше какъ годъ. Въ это-то время у меня тутъ какъ-то работу Богъ давалъ: четырехъ купцовъ я женила; одну полковницкую дочь замужъ выдала; одного надворнаго совѣтника на вдовѣ, на купчихѣ, тоже женила, ну, и другія разныя дѣла тоже перенадали, а тутъ это товарь тоже изъ своего мѣста насыпали—такъ время и прошло. Только вышелъ тутъ такой случай: была я одинъ разъ у этого самаго генерала, съ которымъ Леканидку-то познакомила: къ невѣсткѣ его зашла. Съ сыномъ-то съ него я давно была знакома: такой

тоже весь въ отца вышелъ. Ну, прихожу я къ невѣсткѣ, мантиль блондовую она хотѣла дать продать, а ея и нѣть: въ Воронежъ, говорять, къ Митрофанію угоднику поѣхала.

— Зайду, думаю,—по старой памяти къ барину.

Всхожу съ задняго хода, никого нѣть. Я потихонечку топы-топы, да одну комнату прошла и другую, и вдругъ, сударь ты мой, слышу Леканидкинъ голосъ: «шарманъ мой! говорить, я, говорить, люблю тебя; ты одно мое счастье земное!»

— Отлично, думаю,—и съ папенькой, и съ сыночкомъ романсы проводить моя Леканида Петровна; да сама опять топы-топы, да тѣми же пятами воинъ. Узнаю-поузнаю, какъ это она познакомилась съ этимъ, съ молодымъ-то,—ажъ выходитъ, что жена-то молодого сама надъ нею скжалилась, навѣщать ее стала потихоньку, все, это, знаешь, жалѣючи ее, что такая будто она дамка образованная, да хорошая; а она, Леканидка, ей, не хуже какъ мнѣ, и отблагодарила. Ну, ничего, не мое это, значить, дѣло; знаю и молчу; даже еще покрываю этотъ ея грѣхъ, и гдѣ слѣдуетъ виду этого не подаю, что знаю. Прошло опять чуть не съ годъ ли. Леканидка въ ту пору жила въ Кирпичномъ переулкѣ. Собиралась я, это, на средокрестной недѣлѣ говѣть, и иду этакъ по Кирпичному переулку, глянула на домъ-то, да думаю: какъ это нехорошо, что мы съ Леканидой Петровной такое время поссорившись: тѣла и крови готовясь принять—дай, зайду къ ней, помирюсь! Захожу. Парадъ такой въ квартирѣ, что лучше требовать нельзя. Горничная—точно какъ барышня.

— Доложите, говорю,—умница, что, моль, кружевница Домна Платоновна желаетъ ихъ видѣть.

Пошла и выходитъ, говоритъ:—пожалуйте.

Вхожу въ гостиную; таково тоже все парадно, и на диванѣ сидѣть, это, сама Леканидка и генералова невѣстка съ ней: обѣ кофѣй кушаютъ. Встрѣчаетъ меня Леканидка будто и ничего, будто со вчера всего только не видались.

Я тоже со всей моей простотой: славно, говорю, живешь, душечка; дай Богъ тебѣ и еще лучше.

А она съ той что-то вдругъ и залопотала по-французски. Не понимаю я ничего по-ихнему. Сижу, какъ дура, глазью по комнатѣ, да и зѣвать стала.

— Ахъ,—говорить, вдругъ Леканидка:—не хотите ли вы, Домна Платоновна, кофю?

— Отчего жъ, говорю,—позвольте чашечку.

Она это сейчасъ звонить въ серебряный колокольчикъ и приказываетъ своей дѣвкѣ: Даша, говорить, напойте Домну Платоновну кофiemъ.

Я, дура, этого тогда сразу-то и не поняла хорошенъко, что такое значить *напойте*; только смотрю, такъ минутъ черезъ десять, эта самая ея Дашка входить опять и докладываетъ: готово, говоритъ, сударыня.

— Хорошо,—говорить, ей въ отвѣтъ Леканидка, да и оборачивается ко мнѣ: — подите, говоритъ, Домна Платоновна: она вѣсъ напоить.

Ухъ, ужъ на это меня взорвало! Сверзну я ее, подумала себѣ, но удержалась. Встала и говорю: нѣть, покорно вѣсъ благодарю, Леканида Петровна, на вашемъ угошениі. У меня, говоритъ, хоть я и бѣдная женщина, а у меня и свой кофій есть.

— Что жъ, говоритъ,—это вы такъ разсердились?

— А то, прямо ей въ глаза говоритъ,—что вы со мной мою хлѣбъ-соль вмѣстѣ кушивали, а меня къ своей горничной посылаете: такъ это мнѣ, разумѣется, обидно.

— Да моя, говоритъ,—Даша—честная дѣвушка; ея общество вѣсъ оскорблять не можетъ, а сама будто, показалось мнѣ, какъ улыбается.

Ахъ ты, змѣя, думаю: я тебя у сердца моего пригрѣла, такъ ты теперь и по животу ползешь! Я, говоритъ, у этой дѣвицы чести ея нисколько не снимаю, ну только не вамъ бы, говоритъ, Леканида Петровна, меня съ своими прислугами за одинъ столь сажать.

— А отчего это, спрашиваетъ,—такъ, Домна Платоновна, не мнѣ?

— А потому, говоритъ,—матушка, что вспомни, что ты была, и посмотри, что ты есть, и кому ты всѣмъ этимъ обязана.

— Очень, говоритъ,—помню, что была я честной женщиной, а теперь я дрянь и обязана этимъ вамъ, вашей добротѣ, Домна Платоновна.

— И точно, отвѣчаю,—рѣчь твоя справедлива, прямая ты дрянь. Въ твоемъ же домѣ, да ничего не боясь, въ глаза

тебѣ эти слова говорю, что ты дрянь. Дрянь ты была, дрянь и есть, а не я тебя дрянью сдѣлала.

А сама, знаешь, беру свой саквояжъ.

— Прощай, говорю,—госпожа велика!

А эта генеральская невѣстка-то чахоточная какъ вскочить, дохлая: какъ вы, говорить, смѣете оскорблять Леканиду Петровну!

— Смѣю, говорю,—сударыня.

— Леканида Петровна, говорить, — очень добра, но я, наконецъ, не позволю обижать ее въ моемъ присутствіи: она мой другъ.

— Хорошъ, говорю,—другъ!

Тутъ и Леканида, гляжу, вскочила, да какъ крикнетъ: вонъ, говорить, гадкая ты женщина!

— А! говорю,—гадкая я женщина! Я гадкая, да я съ чужими мужьями романсовъ не провождаю. Какая я ни на есть, да такого не дѣлала, чтобы и папеньку, и сыночка одѣми прелестями-то своими прельщать! Извольте, говорю, сударыня, вамъ вашего друга, ужъ вполиѣ, говорю, другъ.

— Лжете, говорить,—вы! Я не повѣрю вамъ, вы это со злости на Леканиду Петровну говорите.

— Ну, а со злости, такъ вотъ же, говорю,—теперь ты меня, Леканида Петровна, извини; теперь, говорю, ужъ я тебя сверзну, и все, знаешь, чтѣ слышала, что Леканида съ мужемъ-то ея тогда чекотала, то все имъ и высыпала па столь, да и вонъ.

— Ну-сь, говорю,—Домна Платоновна?

— Бросиль ее старикъ послѣ этого скандала.

— А молодой?

— Да съ молодымъ нешто у нея интересъ былъ какой! Съ молодымъ у нея, какъ это говорится такъ,—пуръ-амуръ любовь шла. Тоже вѣдь, гляди ты, шушуваль этакая, а безъ любви никакъ дышать не могла. Какъ же! нельзя же комиссару безъ штановъ быть. А вотъ теперь и безъ любви обходится.

— Вы, говорю,—почему это знаете, что обходится?

— А какъ же не знаю! Стало-быть, что обходится, когда живеть въ такой жизни, что нынче одинъ князь, а завтра другой графъ; нынче англичанинъ, завтра итальянецъ или испанецъ какой. Ужъ тутъ, стало, не любовь, а деньги.

Бзырить по магазинамъ, да по Невскому въ такой коляской лежачей на рысакахъ катается...

— Ну, такъ вы съ тѣхъ порь съ нею и не встрѣчаетесь?

— Нѣть. Зла я на нее не питаю, но не хожу къ ней. Богъ съ нею совсѣмъ! Разъ какъ-то на Морской нынче по осени выхожу отъ одной дамы, а она на крыльце всходить. Я-таки дала ей дорогу и говорю: «здравствуйте, Леканида Петровна!»—а она вдругъ, зеленая вся, наклонилась ко мнѣ, съ крылечка-то, да этакъ къ самому къ моему лицу и съ ласковой такой миной отвѣчаетъ: здравствуй, мерзавка!

Я даже не утерпѣлъ и разсмѣялся.

— Ей-Богу! Здравствуй, говорить,—мерзавка! Хотѣла я ей тутъ-то, было, сказать: не мерзавь, моль, матушка, сама ты нынче мерзавка, да подумала, что лакей-то этотъ за нею, и зонтикъ у него большой въ рукахъ, такъ ужъ проходи, думаю, нальво, французская королева.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Со времени сообщенія мнѣ Домною Платоновной повѣсти Леканиды Петровны прошло пять лѣтъ. Въ теченіе этихъ пяти лѣтъ я уѣзжалъ изъ Петербурга и спова въ него возвращался, чтобы услышать его неумолчный грохотъ, смотрѣть блѣдныя, озабоченные и задавленные лица, дышать смрадомъ его испареній и хандриТЬ подъ угнетающимъ впечатлѣніемъ его чахоточныхъ бѣлыхъ ночей—Домна Платоновна была все та же. Бездѣя она меня какъ-то случайно отыскивала, встрѣчалась со мной съ дружескими поцѣлуями и объятіями и всегда неустанно жаловалась на злокозненные прописки человѣческаго рода, избравшаго ее, Домну Платоновну, своей любимой жертвой и какимъ-то вѣчнымъ игралищемъ. Много рассказала мнѣ Домна Платоновна въ эти пять лѣтъ разныхъ исторій, гдѣ она была всегда попрана, оскорблена и обижена за свои же добродѣтели и попеченія о нуждахъ человѣческихъ.

Разнообразны, странны и многообразны всякими приключеніями бывали эти интересные и безхитростные разсказы моей добродушной Домны Платоновны. Много я слышалъ отъ нея про разныя свадьбы, смерти, наслѣдства, воровства-кражи и воровства-мошенничества, про всякий нагольный и крытый развратъ, про всякия петербургскія мистеріи и про вѣсть, про ваши назидательныя похожденія, мои до-

рогія землячки Леканиды Петровны, про васъ, везущихъ сюда съ вольной Волги, изъ раздольныхъ степей саратовскихъ, съ тихой Оки и изъ золотой, благословенной Украины свои свѣжія, здоровыя тѣла, свои задорныя, но неизлобивыя сердца, свои безумно-смѣлыя надежды на рокъ, на случай, на свои ни къ чему негодныя здѣсь силы и порыванія.

Но возвращаемся къ нашей пріятельницѣ Домнѣ Платоновнѣ. Васъ, кто бы вы ни были, мой снисходительный читатель, не должно оскорблять, что я называлъ Домну Платоновну нашей общей пріятельницей. Предполагая въ каждомъ читателѣ хотя самое малое знакомство съ Шекспиромъ, я прошу его припомнить то гамлетовское выраженіе, что «если со всякимъ человѣкомъ обращаться по достоинству, то очень немного найдется такихъ, которые не заслуживали бы порядочной оплеухи». Трудно бываетъ проникнуть во святая-святыхъ человѣка!

Итакъ, мы съ Домной Платоновной все водили хлѣбъ-соль и дружбу; все она навѣщала меня и вѣчно, поспѣшая куда-нибудь по дѣлу, засиживалась по цѣльмъ часамъ на одномъ мѣстѣ. Я тоже былъ у Домны Платоновны два или три раза въ ея квартирѣ у Знаменья и видѣлъ ту каморочку, въ которой укрывалась до своего акта отреченія Леканица Петровна, видѣлъ ту кондитерскую, въ которой Домна Платоновна брала песочное пирожное, чтобы подкормить ее и утѣшить; видѣлъ, наконецъ, двухъ свѣжепривозныхъ молодыхъ «дамокъ», которыхъ прибыли искать въ Петербургъ счастья и попали къ Домнѣ Платоновнѣ «на Леканидкино мѣсто»; но никогда мнѣ не удавалось выѣхать у Домны Платоновны, какими путями шла она и дошла до своего нынѣшняго положенія и до своихъ оригинальныхъ убѣждѣній насчетъ собственной, абсолютной правоты и всеобщаго стремленія ко всякому обману. Мнѣ очень хотѣлось знать, что такое происходило съ Домной Платоновной прежде, чѣмъ она зарядила: «Э, ге-ге, нѣтъ ужъ ты, батюшка, со мной, сдѣтай милость, не спорь; я ужъ это лучше тебя знаю». Хотѣлось знать, какова была та благословенная купеческая семья на Зушѣ, въ которой (т. е. въ семье) выросла эта какая круглая Домна Платоновна, у которой и молитва, и посты, и собственное цѣломудріе, которымъ она хвалилась, и жалость къ людямъ, сходились вмѣстѣ съ сватовскою ложью, артистическою наклонностью къ устройству

коротенькихъ браковъ не любви ради, а ради интереса, и т. п. Какъ это, я думаль, все проbralось въ одно и то же толстенькое сердце и уживаются въ немъ съ такимъ изумительнымъ согласiemъ, что сейчасъ одно чувство толкаеть руку отпустить плачущей Леканидѣ Петровнѣ десять пощечинъ, а другое поднимаеть ноги принести ей песочного пирожного; то же сердце сжимается при сновидѣніи, какъ мать чистенько водила эту Леканиду Петровну, и оно же спокойно бьется, приглашая какого-то толстаго борова поспѣшить какъ можно скорѣе защакать эту Леканиду Петровну, которой теперь нечѣмъ и запереть своего тѣла!

Я понималь, что Домна Платоновна не преслѣдовала этого дѣла, въ видѣ промысла, а принимала *по-пимперски*, какъ какой-то неотразимый законъ, что женшинѣ нельзя выпутаться изъ бѣды иначе, какъ насчетъ своего собственнаго паденія. Но все-таки, чтѣ же ты такое, Домна Платоновна? Кто тебя всему этому вразумилъ и на этотъ путь поставилъ? Но Домна Платоновна, при всей своей словоохотливости, терпѣть не могла касаться своего прошлаго.

Наконецъ неожиданно вышелъ такой случай, что Домна Платоновна, совершенно ненарокомъ и безъ всякихъ съ моей стороны подхodorовъ, разсказала мнѣ, какъ она была *проста* и какъ «они» ее *вышиколили* и довели до того, что она *теперь никому на синь порохъ не вѣритъ*. Не ждите, любезный читатель, въ этомъ разсказѣ Домны Платоновны ничего цѣльнаго. Едва ли онъ много поможетъ кому-нибудь выяснить себѣ процессъ умственнаго развитія этой петербургской дѣятельницы. Я передаю вамъ дальнѣйшій разсказъ Домны Платоновны, чтобы немножко васъ позабавить и, можетъ-быть, дать вамъ случай одинъ лишній разъ призадуматься надъ этой тупой, но страшной силой «петербургскихъ обстоятельствъ», не только создающихъ и вырабатывающихъ Домну Платоновну, но еще предающихъ въ ея руки лѣзущихъ въ воду, не спрося броду, Леканидѣ, для которыхъ здѣсь Домна становится тираномъ, тогда какъ во всякомъ другомъ мѣстѣ она сама чувствовала бы себя передъ каждою изъ нихъ паріей или многое что шутихой.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Былъ я въ Петербургѣ боленъ и жилъ въ то время въ Коломнѣ. Квартира у меня, какъ выразилась Домна Пла-

тоновна, «была какая-то особенная». Это были двѣ просторные комнаты въ старинномъ деревянномъ домѣ у маленькой, деревянной купчихи, которая недавно скончила своего очень благочестиваго супруга и по вдовьему положенію занялась ростовщичествомъ, а свою прежнюю опочивальню, вмѣстѣ съ трехспальною кроватью, и смежную съ спальней гостиную комнату, съ громаднымъ кіотомъ, передъ которымъ ежедневно маливался ся покойникъ, пустила въ наемъ.

У меня въ такъ-называемомъ залѣ были диванъ, обитый настоящею русской кожей; столъ круглый, обтянутый полинявшимъ фіолетовымъ плисомъ, съ совершенно безцвѣтною шелковою бахромою; столовые часы съ мѣднымъ арапомъ; печка съ горельефной фигурой во впадинѣ, въ которой настаивалась настойка; длинное зеркало съ очень хорошимъ стекломъ и бронзовую арфою на верхней доскѣ высокой рамы. На стѣнахъ висѣли: масляный портретъ покойнаго императора Александра I; около него, въ очень тяжелыхъ золотыхъ рамкахъ за стеклами, помѣщались литографіи, изображавшія четыре сцены изъ жизни королевы Женевьевы; императоръ Наполеонъ по инфантаріи и императоръ Наполеонъ по кавалеріи; какая-то горная вершина; собака, плавающая на своей конурѣ, и портретъ купца съ медалью на аннинской лентѣ. Въ дальнемъ углу стоялъ высокій, трехъярусный образникъ съ тремя большими иконами съ темными ликами, строго смотрѣвшими изъ своихъ блестящихъ золоченыхъ окладовъ: передъ образникомъ лампада, всегда тщательно зажигаемая моею набожной хозяйкой, а внизу подъ образами шкафикъ съ полукруглыми дверцами и бронзовымъ кантомъ на мѣстѣ створа. Все это какъ будто не въ Петербургѣ, а будто на Замоскворѣчье, или даже въ самомъ городѣ Мценскѣ. Спальня моя была еще болѣе мценская; даже мнѣ казалось, что та трехспальная постель, въ пуховикахъ которой я утопалъ, была не постель, а именно самъ Мценскъ, проживающій инкогнито въ Петербургѣ. Стоило только мнѣ погрузиться въ эти пуховые волны, какъ какое-то снотворное, маковое покрывало тотчасъ надвигалось на мои глаза и застилало отъ нихъ весь Петербургъ съ его веселящей скучой и скучающей веселостью. Здѣсь, при этой-то успокаивающей мценской обстановкѣ, мнѣ снова довелось всласть побесѣдовать съ Домной Платоновной.

Я простудился, и врачъ велѣлъ мнѣ полежать въ постели.

Разъ, такъ часу въ двѣнадцатомъ сѣренъкаго мартовскаго дня, лежу я уже выздоравливающій и, начитавшись досыта, думаю: «не худо, если бы кто-нибудь и зашелъ», да не успѣть я такъ подумать, какъ словно съ этого моего желаніясталось—дверь въ мою залу скрипнула, и послышался веселый голосъ Домны Платоновны:

— Вотъ какъ это у тебя здѣсь прекрасно! и образа, и сяніе передъ Божиимъ благословеніемъ—очень-очень даже прекрасно!

— Матушка, говорю,—Домна Платоновна, вы ли это?

— Да некому, отвѣчаетъ,—другъ мой, и быть какъ не мнѣ.

Поздоровались.

— Садитесь!—прошу Домну Платоновну.

Она сѣла на креслицѣ противъ моей постели и ручки свои съ бѣлымъ платочкомъ на колѣночки положила.

— Чѣмъ такъ хвораешь?—спрашиваетъ.

— Простудился, говорю.

— А то нынче очень много народа все на животы жалуются.

— Нѣтъ, я, говорю,—я на животъ не жалуюсь.

— Ну, а на животъ не жалуешься, такъ это пройдетъ. Квартира у тебя нынче очень хороша.

— Ничего, говорю,—Домна Платоновна.

— Отличная квартира. Я эту хозяйку, Любовь Петровну, давно знаю. Прекрасная женщина. Она прежде была испорчена и на голоса крикивала, да вѣрно ей это прошло.

— Не знаю, говорю,—что-то будто не слышно, не кричать.

— А у меня-то, другъ мой, какое горе!—проговорила Домна Платоновна самымъ жалостнымъ голосомъ.

— Чѣмъ такое, Домна Платоновна?

— Ахъ, такое, дружочекъ, горе, такое горе, что... ужасное, можно сказать, и горе, и несчастье, все вмѣстѣ. Видишь, вонъ въ чемъ я нынче товаръ-то ношу.

Посмотрѣль я, перегнувшись съ кровати, и вижу на столикѣ кружева Домны Платоновны, увязанныя въ черномъ шелковомъ платочкѣ съ бѣлыми каемочками.

— Въ траурѣ, говорю.

— Ахъ, милый, въ траурѣ, да въ какомъ еще траурѣ-то!

— Ну, а саквоиже вашъ гдѣ же?

— Да вотъ о немъ-то, о саквоиже-то я и горюю. Пропалъ вѣдь онъ, мой саквоиже.

— Какъ, говорю,—пропалъ?

— А такъ, другъ мой, пропалъ, что и по сѣ два дни, какъ вспомню, такъ, Господи, думаю, неужели-жъ-таки такая я грѣшница, что Ты этакъ меня испытуешь? Видишь, какъ удивительно это все случилось: видѣла я сонъ; вижу, будто приходитъ ко мнѣ какой-то священникъ и приносить каравай, вотъ какъ, знаешь, въ нашихъ мѣстахъ изъ каші изъ пшеницкой цекутъ. «Нѣ, говорить, тебѣ, раба, каравай». — Батюшка, говорю, на что же мнѣ и къ чему каравай? Такъ вотъ видишь къ чему, онъ этотъ каравай-то, вышелъ—къ пропажѣ.

— Какъ же это, спрашиваю,—Домна Платоновна, было?

— Было это, другъ мой, очень удивительно. Ты знаешь купчиху Кошеверову?

— Нѣть, говорю,—не знаю.

— А не знаешь и не надо. Мы съ ней пріятельницы, и то-есть даже не совсѣмъ и пріятельницы, потому что она женщина преходная и довольно даже подлая, ну, а такъ себѣ, знаешь, вотъ въ родѣ какъ съ тобой, знакомы. Заща я къ ней такъ-то на свое на несчастье вечеромъ, да и засидѣлась. Все она, чтобы ей пусто было совсѣмъ, право, посиди да посиди, Домна Платоновна. Все вѣдь съ жири чѣмъ-то убивалась, что мужъ ее не ревнуетъ, а чего ревновать, когда съ рожи она престрашная и языкъ у нея такой пребольшущій, какъ у попугая. Разсказывается, болѣли у нея зубы, да лѣкарь велѣлъ ей поставить піявицу врачебную къ зубу, а фершаловъ мальчикъ ей эту піявицу къ языку принустилъ, и пошелъ у нея съ тѣхъ поръ въ языкѣ опухъ. Опять же-таки у меня въ этотъ вечеръ и дѣло было: къ Пяти-Угламъ надо было въ одинъ домъ сбѣгать къ купцу—жениться тоже хочетъ; но она, эта Кошевериха, не пущаетъ.

— Погоди, говоритъ,—кіевской наливочки выпьемъ, да ѩадѣй Семеновичъ,—говорить, отъ всенощной придетъ, чайку нальемся: куда тебѣ сіѣнить?

— Какъ, говорю,—мать, куда сіѣнить?

Ну, а сама все-таки, какъ на грѣхъ, осталась, да это то водочки, то наливочки, такъ налилась, что даже въ головѣ у меня, чувствую, засточертѣло.

— Ну, говорю ей,—извини, Варвара Петровна, очень тебѣ на твоемъ угощениіи благодарна, только ужъ больше пить не могу.

Она пристаетъ, потчуетъ, а я говорю:

— Лучше, мать моя, и не потчуй. Я свою пропорцію знаю и ни за что больше пить не стану.

— Сожителя, говорить,—подожди.

— И сожителя, говорю,—ждать не буду.

Стала на своеемъ, что иду, и иду, и только. Потому, знаешь, чувствую, что въ головѣ-то ужъ у меня чертополохъ пошелъ. Выхожу, это, я, сударь ты мой, за ворота, поворачиваю на Разъѣзжую и думаю: возьму извозчика. Стоить тутъ сейчасъ на углѣ живейный, я и говорю:

— Что, молодецъ, возьмешь къ Знаменю Божьей Матери?

— Пятиалтынныи.

— Ну, какъ, отвѣчаю ему,—не пятиалтынныи пятакъ.

А сама, знаешь, и иду по Разъѣзжей. Свѣтло вездѣ; фонари горятъ; газъ въ магазинахъ; и пѣшикомъ, думаю, дойду, если не хочешь, варваръ, пятака взять, этакую близость проѣхать.

Только вдругъ, сударь мой, порхъ этакъ передо мною какой-то господинъ. Въ пальть, въ фуражкѣ это, въ калошахъ, ну, одно слово баринъ. И откуда это только онъ передо мною выросъ, вотъ хоть убей ты меня, никакъ не понимаю.

— Скажите, говорить,—сударыня (еще сударыней, подлецъ, назвалъ), скажите, говорить, сударыня, гдѣ тутъ Владимирская улица?

— А вотъ, говорю,—милостивый государь, какъ прямо-то пойдете, да сейчасъ будеть переулокъ направо... да только это-то выговорила, руку-то, знаешь, поднявши ему указывая, а онъ дергъ меня за саквойжъ.

— Наше, говорить,—вамъ сорокъ-одно да кланяться холодно, да и махъ отъ меня.

— Ахъ, говорю,—ты варваръ! ахъ, мерзавецъ ты этакой! Все это еще за одну насмѣшку только считаю. Но съ этимъ словомъ глядь, а саквойжа-то моего нѣть.

— Батюшки! заорала я, что было у меня силы во всю

мою глотку.—Батюшки! ору,—помогите! догоните его, варвара! догоните его, злодья! И сама-то, знаешь, бѣгу-натыкаюсь, и людей-то за руки ловлю, ташу: помогите, молъ,—защитите: саквояжъ мой сейчасъ унесъ какой-то варвар! Бѣгу, бѣгу, ажно поженъки мои стали, а его, злодья, и слѣдъ простыль. Ну, и то сказать, гдѣ жъ мнѣ, дынѣ этакой, его, пса подчегарого, догнать! Обернусь такъ-то на народъ, крикну: варвары! что жъ вы глазѣете! креста на васъ нѣть, что ли? Ну, бѣгла, бѣгла да и стала. Стала и реву. Такъ ревма и реву, какъ дура. Сижу на тунбѣ да и реву. Собрался около меня народъ, толкуется: пьяная, должно-быть.

— Ахъ, вы, варвары, говорю,—этакіе! Сами вы пьяные, а у меня саквояжъ сейчасъ изъ рукъ украдено.

Тутъ городовой подошелъ: пойдемъ, говорить, тетка, въ кварталь.

Приводить меня городовой въ кварталь, я опять закричала.

Смотрю, изъ двери идетъ квартальный поручикъ и говоритъ:

— Что ты, здѣсь, женщина, этакъ шумишь?

— Помилуйте, говорю,—ваше высокоблагородіе, меня такъ и такъ сейчасъ обкрадено.

— Написать, говорить,—бумагу.

Написали.

— Теперь иди, говорить,—съ Богомъ.

Я пошла.

Прихожу черезъ день: что, говорю,—мой саквояжъ, ваше благородіе?

— Иди, говорить,—бумаги твои пошли, ожидай.

Ожидаю я, ожидаю; вдругъ въ часть меня требуютъ. Привели въ этакую большую комнату и множество тамъ лежитъ этихъ саквояжевъ. Частный майоръ, вѣжливый этакой мужчина и собою красивъ, узнайте, говорить, вашъ саквояжъ.

Посмотрѣла я—все не мои саквояжи.

— Нѣть-съ, говорю,—ваше высокоблагородіе, нѣть здѣсь моего саквояжа.

— Выдайте, приказывается,—ей бумагу.

— А въ чёмъ, спрашиваю,—ваше высокоблагородіе, мѣнь будетъ бумага?

— Въ томъ, говорить,—матушка, что васъ обкрадено.

— Что жъ, докладываю ему,—мнѣ по этой бумагѣ, ваше высокоблагородіе?

— А что жъ, матушка, я вамъ еще могу сдѣлать?

Дали мнѣ эту бумагу, что меня точно обкрадено, и идите, говорить,—въ благочинную управу. Прихожу я нонче въ благочинную управу, подаю эту бумагу; сейчасъ выходить изъ дверей какой-то членъ, въ полковничьомъ одѣяніи, повелъ меня въ комнату, гдѣ видимо-невидимо лежитъ этихъ гакволожевъ.

— Смотри, говорить.

— Вижу, моль,—ваше высокоблагородіе; ну, только моего саквояжа нѣть.

— Ну, погодите, говорить,—сейчасъ вамъ генераль на бумагѣ подпишеть.

Сижу я и жду-жду, жду-жду; пріѣзжаетъ генераль: подали ему мою бумагу, онъ и подписалъ.

— Что же это такое генераль подписали на моей бумагѣ? спрашивала чиновника.

— А подписали, отвѣчаетъ,—что васъ обкрадено.

Держу эту бумагу при себѣ.

— Держите, говорю,—Домна Платоновна.

— Не равно сыщется.

— Что жъ, на грѣхъ мастера нѣть.

— Охъ, именно ужъ нѣть на грѣхъ мастера! Чтобъ это мнѣ, кабы знатье-то, остаться у нея, у Кошеверихи-то переночевать.

— Да, хоть бы, говорю,—ужъ на извозчика-то вы не пожалѣли.

— Объ извозчикѣ ты не говори; извозчикъ все равно такой же плутъ. Одна, вѣдь, у нихъ, у всѣхъ, у подлецовъ, стачка.

— Ну, гдѣ, говорю,—такъ ужъ у всѣхъ одна стачка. Развѣ ихъ мало, что ли?

— Да вотъ ты поспори! я ужъ это мошенничество вѣдь какъ знаю.

Домна Платоновна поднесла вверхъ крѣпко сжатый кулачъ и посмотрѣла на него съ нѣкоторой гордостью.

— Со мной извозчикъ-то, когда я еще глупа была, лучше гораздо сдѣлала,—начала она, опуская руку.—Съ вываломъ, подлецъ, везъ, да и обобралъ.

— Какъ это, говорю,— съ вываломъ?

— А такъ, съ вываломъ, да и полно: ёздила я зимой на Петербургскую сторону, барынѣ одной мантль кружевную въ кадетскій корпусъ возила. Такая была барынька маленькая и изъ себя нѣжная, ну, а станеть торговаться—раскричится—настоящая примадонна. Выхожу я отъ нея, отъ этой барыньки, а ужъ темнѣеть. Зимой рано, знаешь, темнѣеть. Спѣшу это, спѣшу, чтобы до пришекта скорѣй, а изъ-за угла извозчикъ и этакой будто вохловатый мужичокъ. Я, говорить, дешево свезу.

— Пятиалтынный, моль, къ Знаменью, даю ему.

— Ну, какъ же это, перебиваю,—развѣ можно давать такъ дешево, Домна Платоновна!

— Ну, вотъ, а видишь, можно было.—«Ближней дорогой, говорить, поѣдемъ».—Все равно!—Сѣла я въ сани—саквояжа тогда у меня еще-не было: въ платочкѣ тоже все носила. Онъ меня, этотъ чортъ, извозчикъ, и повезъ ближней дорогой, гдѣ-то по-за крѣпостью, да на Неву, да все по льду, да по льду, да вдругъ какъ передъ этимъ, передъ берегомъ, насупроти самой Литейной, каа-акъ меня чебуряхнуть въ ухабъ. Такъ меня, знаешь, будто снизу-то кто подъ самое донышко-то, чукъ!—я и вылетѣла... Вылетѣла я въ одну сторону, а узелокъ и Богъ его знаетъ куда отлетѣлъ. Подымаюсь я, вся чуня-чуней, потому вода по колдобинамъ стояла. «Варварь! кричу на него, что ты это, варварь, со мной сдѣлалъ?» А онъ отвѣчаетъ: вѣдь это, говорить, здѣсь ближняя дорога, здѣсь безъ вывала невозможно. «Какъ, говорю, тиранъ ты этакой, невозможно? Развѣ такъ, говорю, возить?» А онъ, подлецъ, опять свое говорить: «здѣсь, купчиха, завсегда съ вываломъ; я потому, говорить, пятиалтынный и взялъ, чтобы этой ближней дорогой ёхать». Ну, говори ты съ нимъ, съ извергомъ! Обтираюсь я только да оглядываюсь; гдѣ мой узелочекъ-то оглядываюсь, потому какъ раскинуло насть совсѣмъ врозвъ другъ отъ друга. Вдругъ откуда ни возьмись, этакой офицеръ, или въ родѣ какъ штатскій какой съ усами: «Ахъ ты, бездѣльникъ этакой! говорить, мерзавецъ! везешь ты этакую даму полную и этакъ неосторожно?» а самъ къ нему къ зубамъ такъ и подсыкается.

— Садитесь, говорить,—сударыня, садитесь, я васъ застегну.

— Узелокъ, говорю,—милостивый государь, я обронила, какъ онъ, извергъ, встряхнуль-то меня.

— Вотъ, говорить, вамъ—вашъ узелокъ,—и подаетъ.

— Ступай, подлецъ, крикнуль на извозчика,—да смотри! А вы, говорить, сударыня, ежели онъ опять васъ вывалить, такъ вы его безъ всякихъ окличностей въ морду.

— Гдѣ, отвѣчаю,—намъ, женщинамъ, съ ними, съ мреньями, справиться.

Поѣхали.

Только, знаешь, на Гагаринскую взѣхали; гляжу, мой извозчикъ чего-то пересмѣвается.

— Чего, молъ, умный молодецъ, еще зубы скалишь?

— Да такъ, говорить,—намеднясь, я тутъ дешево жида гезъ, да какъ вспомню это и не удержусь.

— Чего жъ, говорю, смѣяться.

— Да какъ же, говорить,—не смѣяться, когда онъ мордою-то прямо въ лужу, да какъ вскочить, да кричать юхъ, а самъ все вертится.

— Чего же, спрашиваю,—это онъ такъ юхалъ?

— А ужъ такъ, говорить,—видно это у нихъ по религії.

Ну, тутъ я и начала смѣяться.

Какъ вздумаю этого жида, такъ и не могу воздержаться, какъ онъ бѣгаеть, да кричитъ это: юхъ, юхъ.

— Пустая же самая, говорю, послѣ этого ихъ и религія.

Приѣхали мы къ дому къ нашему, встаю я и говорю: хоша бы стоило тебя, говорю,—изверга, наказать, и хоть пятачокъ съ тебя вычесть, ну, только грѣха одного боясь: на тебѣ твой пятиалтынный.

— Помилуйте, говорить,—сударыня, я тутъ ничѣмъ непричиненъ; этой ближней дорогой никакъ безъ вывала невозможно; а вамъ, говорить,—матушка, ничего: съ того растете.

— Ахъ, бездѣльникъ ты, говорю,—бездѣльникъ! Жаль, говорю,—что давиший баринъ мало тебѣ въ шею-то наклалъ.

— А онъ отвѣчаетъ: смотри, говорить,—ваше степенство, не оброни того, что онъ тебѣ-то наклалъ,—да съ этимъ *и то!* на лошаденку и поѣхаль.

Пришла я домой, поставила самоварчикъ и къ узелку:

думаю, не подмокъ ли товаръ; а въ узелкѣ-то какъ глянула, такъ и обмерла. Обмерла, я тебѣ говорю, совсѣмъ обмерла. Хочу взвѣсть голость и никакъ не взведу; хочу идти, и ножки мои гнутся.

— Да что жь тамъ такое было, Домна Платоновна?

— Что—стыдно сказать что: гадости однѣ были.

— Какія гадости?

— Ну, извѣстно, какія бываютъ гадости: шароварки скинутые—вотъ что было.

— Да какъ же, говорю,—это такъ вышло?

— А вотъ и разсуждай ты теперь, какъ вышло. Меня по первоначалу это-то больше и испугало, что какъ онъ на Невѣ скинуть могъ ихъ, да въ узелокъ завязать. Вижу и себѣ не вѣрю. Прибѣжала я въ кварталь, кричу: батюшки не мой узель.

— Знаемъ, говорить,—что *ни мой*; рассказывай толкомъ.

Рассказала.

Повели меня въ сыскную полицію. Тамъ опять рассказала. Сыскной разсмѣялся.

— Это вѣрю, говорить,—онъ, подлецъ, изъ бани шель.

А врагъ его знаетъ, откуда онъ шель, только какъ это онъ мнѣ этотъ узелокъ подсунулъ?

— Въ темнотѣ, говорю,—немудрено, Домна Платоновна.

— Нѣть, я къ тому, что ты говоришь извозчикъ-то: не оброни, говорить,—что накладено! Вотъ тебѣ и накладено, и разумѣй, значитъ, къ чemu эти его слова-то были.

— Вамъ бы, говорю, — надо тогда же, садясь въ сани, на узелокъ посмотреть.

— Да какъ, мой другъ, хочешь смотри, а ужъ какъ обмошеннничать тебя, такъ все равно обмошеннничаютъ.

— Ну, это, говорю,—ужъ вы того...

— Э, ге-ге-ге! Нѣть, ужъ ты сдѣлай свое одолженіе: въ глазахъ тебя самого не тѣмъ, чѣмъ ты есть сдѣлаютъ. Я тебѣ вотъ какой случай скажу, какъ въ глаза-то нашего брата обдѣлываются. Иду я — вскорѣ это еще какъ изъ своего мѣста сюда прїѣхала—и надо мнѣ было идти черезъ Апраксинъ. Тогда тамъ тѣснота была, не то, что теперь послѣ пожару—теперь прелестъ какъ хорошо, а тогда была ужасная гадость. Ну, иду я, иду себѣ. Вдругъ откуда ни возьмись молодецъ ѣтакой, изъ себя красивый: купи, говорить,—тетенька, рубашку. Смотрю, держитъ въ рукахъ сит-

цевую рубашку, совсѣмъ новую, и ситецъ преотличный такой—никакъ не меньше какъ гривенъ шесть за аршинъ надо дать.

— Что жь, спрашиваю,—за нее хочешь?

— Два съ полтиной.

— А что, говорю,—изъ половинки уступишь?

— Изъ какой половины?

— А изъ любой, говорю,—изъ какой хочешь. Потому, что я знаю, что въ торговлѣ за всякую вещь всегда половину надо давать.

— Нѣть, отвѣчаетъ, — тѣтка, тебѣ, видно, не покупать хорошихъ вещей, и изъ рукъ рубашку, знаешь, дергаетъ.

— Дай же, говорю,—потому вижу, рубашка отличная, цалковыхъ три кому не надо стоять.

— Бери, говорю,—русь.

— Пусти, говорить,—мадамъ! дернула, и вижу, свертываетъ ее подъ полу и оглядывается. Извѣстное дѣло, думаю,—краденая; подумала такъ и иду, а онъ вдругъ изъ-за линіи выскакиваетъ: давай, говорить, тѣтка, скорѣй деньги. Богъ съ тобой совсѣмъ; твоё, видно, счастье владѣть.

Я ему, это, въ руки рупь-бумажку даю, а онъ мнѣ саму эту рубаху скомканную отдаетъ.

— Владай, говорить,—тѣтенька; а самъ верть назадъ и пошель.

Я положила въ карманъ портмоне, да покупку-то эту свою разворачиваю, ажъ гляжу—хлопъ у меня къ ногамъ что-то упало. Гляжу—мочалка старая, вотъ чтѣ въ небели бываетъ. Я тогда еще этихъ петербургскихъ обстоятельствъ всѣхъ не знала, дивуюсь.—Что, моль, это такое? да на руки то свои гляди, а у меня въ рукахъ лоскуты! Того же самаго ситца, чтѣ рубашка была, такъ лоскутокъ одинъ съ полъ-аршина. А эти мѣренѣ приказчики грохочутъ: «къ намъ, трещать, тѣтенька, пожалуйте; у насъ, говорятъ,—есть и фасъ—канифасъ, и для глупыхъ бабъ припасъ». А другой опять подходитъ: «у насъ, говорить,—тѣтенька, для вашей милости саванъ есть подержанный чудесный». Я ужъ это все мимо ушей пушаю: шутъ, думаю, съ вами совсѣмъ. Даже, я тебѣ говорю, сомлѣла я; страхъ на меня напалъ, что это за лоскуть такой? Была рубашка, а стала лоскуть. Нѣть, другъ мой, они какъ захотятъ, такъ все сдѣлаютъ. Ты Егупова полковника знаешь?

— Нѣть, не знаю.

— Ну, какъ, чай, не знать! Красивый такой, брюхастый: отличный мужчина. Девять лошадей подъ нимъ на войнѣ убили, а онъ живъ остался: въ газетахъ писано было объ этомъ.

— Я его все-таки, Домна Платоновна, не знаю.

— Что намъ съ нимъ одинъ варваръ сдѣлалъ? Это я тебѣ говорю романъ, да еще и романовъ-то такихъ немногого—на театрѣ развѣ только можно представить.

— Матушка, говорю,—вы ужъ не мучьте, рассказывайте!

— Да, эту исторію ужъ точно что стойти разсказать. Какъ онъ только называется?.. есть тутъ землемѣръ... Кумовѣевъ ни то Макавѣевъ, въ седьмой ротѣ въ Измайлово-скомъ онъ жилъ.

— Богъ съ нимъ.

— Богъ съ нимъ? Нѣть, не Богъ съ нимъ, а развѣ чортъ съ нимъ, такъ это ему больше кстати.

— Да это я только о фамиліи-то.

— Да, о фамиліи—ну, это пожалуй; фамилія ничего—фамилія простая, а что самъ ужъ подлецъ, такъ самый первый въ столицѣ подлецъ. Присталь: «жени меня, Домна Платоновна!»

— Изволь, говорю,—женю; отчего, говорю, не женить?—женю.

Изъ себя онъ тварь этакая видная, въ лицѣ бѣлый и усики этакъ твердо носитъ.

Ну, начинаю я его сватать; отягощаюсь, хожу, выискада ему невѣсту изъ купечества—домъ свой на Пескахъ, и дѣвушка порядочная, полная, румянная; въ носикѣ вотъ тутъ-то въ самой въ переносицѣ хоть и былъ маленький изъянецъ, но ничего это—потому отъ золотухи это было. Хожу я, и его, подлеца, съ собою вожу, и совсѣмъ ужъ у насъ дѣло стало на мази. Тутъ ужъ я, разумѣется, надзираю за нимъ, какъ не надо лучше, потому что это надо дѣлать безотходительно, да ужъ и былъ такой и слухъ, что онъ съ одной дѣвицей изъ купечества обручившись и деньги двѣсти сребра на окипировку себѣ забралъ, а имъ даль женитьбинную роспиську, но росписка эта оказалась коварная и ничего съ нимъ по ней сдѣлать не могли. Ну, ужъ знаяши такое про человѣка, разумѣется, смотришь въ оба — нѣть нѣть, да и завернешь съ визитомъ. Только прихожу, су-

дарь мой, разъ одинъ къ нему — а онъ, надо тебѣ знать, двѣ комнаты занималъ: въ одной такъ у него спальня его была, а въ другой въ родѣ зальца. Вхожу это и вижу, дверь изъ зальцы въ спальню къ нему затворена, а какой-то этакой господинъ подъ обномъ, надо полагать вояжный; потому ледунка у него черезъ плечо была, и сидѣть въ кресль и трубку курить. Это-то вотъ онъ самый полковникъ-то Егуповъ и будетъ.

— Что, я говорю, — этакъ сама-то къ нему оборачиваюсь — или, говорю, хозяина дома нѣтъ?

А онъ мнѣ на это таково сурово махнулъ головой и ничего не отвѣтилъ, такъ что я не узнала: дома землемѣръ или его нѣту.

Ну, думаю, можетъ, у него тамъ дамка какая, потому что хоть онъ и жениться собирается, ну, а все же. Сѣла я себѣ и сижу. Но, нехорошо же, знаешь, такъ въ молчанку сидѣть, чтобы подумали, что ты ужъ и слова сказать не умѣешь.

— Погода, говорю, — стоить нынче какая преотличная.

Онъ это сейчасъ же на мои слова вскинуль на меня глазами, да, какъ словно изъ бочки, какъ ривкнетъ: что, говорить, такое?

— Погода, опять говорю, — стоить очень пріятная.

— Врешь, говорить, — пыль большая.

Пыль-таки и точно была, ну, а все я, знаешь, тутъ же подумала, что ты, моль, это такой? Изъ какихъ такихъ взялся, что очень ужъ рычишь сердито?

— Вы, говорю ему опять, — какъ Степану Матвѣевичу — сродственникъ будете, или пріятели только, знакомые?

— Пріятель, — отвѣчаетъ.

— Отличный, говорю, — человѣкъ Степанъ Матвѣевичъ.

— Мошенникъ, говорить, — первой руки.

Ну, думаю, — вѣрно Степана Матвѣевича дома нѣтъ.

— Вы, говорю, — давно ихъ изволите знать?

— Да, зналъ, говорить, — еще когда баба дѣвкой была.

— Это, отвѣчая, — сударь, и съ тѣхъ поръ, какъ я ихъ зазнала, можетъ, не одна ужъ дѣвка бабой ходить, ну только я не хочу грѣха на душу брать — ничего за ними худого не замѣчала.

А онъ ко мнѣ этакъ гордо:

— Да у тебя на чердакѣ-то, что, говорить, напхано? — сѣло!

— Извините, говорю, — милостивый государь, у меня, слава моему Создателю, пока еще на плечахъ не чердакъ, а голова, и не сбно въ ней, а то же самое, что и у всякаго человѣка, чтѣ Богомъ туда призначено.

— Толкуй! говорить.

Мужикъ ты, думаю себѣ, — мужикомъ тебѣ и быть.

А онъ въ это время вдругъ меня и спрашиваетъ:

— Ты, говорить, — его брата Максима Матвѣева знаешь?

— Не знаю, говорю, — сударь: кого не знаю, про того и лгать не хочу, что знаю.

— Этотъ, говорить, — плутъ, а тотъ и еще почище. Глухой.

— Какъ, говорю, — глухой.

— А совсѣмъ-таки, говорить, — глухой: одно ухо глухо, а въ другомъ золотуха, и обоими не слышитъ.

— Скажите, говорю, — какъ удивительно!

— Ничего, говорить, — тутъ нѣть удивительнаго.

— Нѣть, я, моль, — только къ тому, что одинъ братъ такой красавецъ, а другой — глухъ.

— Ну, да; то-то совсѣмъ ничего въ этомъ и нѣть удивительнаго; вонъ у меня у сестры на рожѣ красное пятно, какъ лягушка точно сидитъ: что жъ мнѣ-то тутъ такого!

— Родительница, говорю, — вѣрно, въ своеемъ интересѣ чѣмъ испугалась?

— Самоваръ, говорить, ей дѣвка на пузо вывернула.

Ну, я тутъ-то вѣжливо пожалѣла.

— Долго ли, говорю, — съ этими, съ быстроглазыми, до грѣха; а онъ опять и начинаетъ:

— Ты, говорить, — если только не совсѣмъ ты дура, такъ разбери: онъ, этотъ глухой братъ-то его, на лошадей охотникъ мѣняться.

— Такъ-съ, говорю.

— Ну, а я его вздумалъ отъ этого отучить, взять да ему слѣпого коня и промѣниль, что лбомъ въ заборъ лѣзеть.

— Такъ-съ, говорю.

— А теперь мнѣ у него для завода бычокъ понадобился, я у него этого бычка и купилъ и деньги отдалъ; а онъ выходить совсѣмъ не быкъ, а воль.

— Ахъ, говорю, — Боже мой, какая оказія! — Вѣдь это, говорю, не годится.

— Ужъ, разумѣется, говорить, — когда воль, такъ не годится. А вотъ я ему, глухому, за это вотъ какую шутку отшучу: у меня на этого его брата, Степана Матвѣича, роспѣска во сто рублей есть, а у нихъ денегъ нѣть; ну, такъ я имъ себя теперь и покажу.

— Это, говорю, — точно, что можете показать.

— Такъ ты, говорить, — такъ и знай, что этотъ Максимъ Матвѣичъ — каналья, и я вотъ, его только дождусь, и сейчасъ его въ яму.

— Я, моль, — ихъ точно въ тонкость не знаю, а что, сватаючи ихъ, сама я ихъ порочить не должна.

— Сватаетъ! — вскрикнулъ.

— Сватаю-сь.

— Ахъ, ты, говорить, — дура, ты дура! Нешто ты не знаешь, что онъ женатый.

— Не можетъ, говорю, — быть!

— Вотъ тебѣ и не можетъ, когда трое дѣтей есть.

— Ахъ, скажите, говорю, — пожалуйста! Ну, Степанъ, думаю, Матвѣичъ — отличную жъ вы, было, со мной штуку подшутили! и говорю, что стало быть же, говорю, какъ я его теперь замѣчаю, онъ, однако, фортель!

А онъ, этотъ полковникъ Егуповъ, говоритъ: ты если хочешь кого сватать, такъ самое лучшее дѣло — меня совсѣтай.

— Извольте, моль.

— Нѣть, я, говорить, — это тебѣ безъ всякихъ шутокъ вправду говорю.

— Да извольте, отвѣчаю, — извольте!

— Ты мнѣ, кажется, не вѣришь?

— Нѣть-сь, отчего же: это моль, дѣйствительно, если человѣкъ имѣеть расположеніе отъ разсѣянной жизни увильнуться, то самое первое дѣло ему жениться на хорошей дѣвушкѣ.

— Или, говорить, — хоть на вдовѣ, но чтобъ только съ деньгами.

— Да, моль, — или на вдовѣ.

Пошли у насъ тутъ съ нимъ разговоры; даль онъ мнѣ свой адресъ, и стала я къ нему ходить. Чѣмъ только тоже я съ нимъ, съ асиидомъ, помучилась! Изъ себя страшный большой, и этакой фантастической — никогда онъ не бываетъ въ одномъ положеніи, а всякаго принимаетъ по фантазіи. Есть, разумѣется, у людей разное расположеніе, ну

только такого мужчину, какъ этотъ Егуповъ, не дай Господи никакой женѣ на свѣтѣ. Станеть, бывало, бѣльма выпучить, а самъ, какъ клопъ, кровью нальется — ореть: «я тебя кверху дномъ поставлю и выворочу. Сейчасъ наизнанку будешь!» — Глядя на это, какъ онъ бѣснуется, думаешь: «ахъ, обиду какую кровную ему кто нанесъ!» — а онъ сердитъ отъ того, что не тѣмъ бокомъ корова почесалась. Ну, однако, сосватала я и его на одной вдовѣ, на купеческой. Такая-то тоже ему подъ пару, точно на заказъ была спечена, тула присноблаженная. Ну-сь, сударь ты мой, отбылись смотрины и сговоръ назначили.

Пріѣзжаемъ мы съ нимъ на этотъ сговоръ, много гостей — родственники съ невѣстиной стороны и знакомые, все хорошаго поколѣнія, значительного, и смотрю, про межъ гостей, въ одномъ углѣ на стулѣ сидить — этотъ землемѣръ, Степанъ Матвѣичъ.

Очень это мнѣ не показалось, что онъ тутъ, но ничего я не сказала.

Вѣрно, думаю, должно-быть, его изъ ямы выпустили, онъ и пришелъ, по знакомству.

Ну, впрочемъ, идетъ все, какъ слѣдуетъ. Прошла помолвка, прошло образованіе, и все ничего. Правда, дядя невѣстинъ, Колобовъ, Семенъ Иванычъ, купецъ, пьяный пришелъ, и началь-было вратъ, что это, говорить, совсѣмъ не полковникъ, а Федоровой банщицы сынъ. «Лизни, говорить, его кто-нибудь языкомъ въ ухо, у него такая привычка, что онъ сейчасъ за это драться станетъ. Я, болтаешь, его знаю; это онъ одѣлъ эполеты, чтобы пофорсить, но я съ него эти эполеты сейчасъ сорву», ну, только этого же не допустили, и Семена Иваныча самого за это сейчасъ отвели въ пустую половину, въ холодную.

Но вдругъ, во время самаго благословенія, отецъ невѣстинъ поднимаетъ образъ, а по залѣ какъ что-то загудеть! Тотъ опять поднимаетъ икону, а по залѣ опять гу-у-у-у! — и вдругъ явственно выговаривается:

— Нечего, говорить, пѣть Исаю, когда Мануилъ въ червѣ.

Господи! даже оторонь на всѣхъ напасть. Невѣстѣ конфузъ; Егуповъ, глижу, тоже бѣльмами-то своими на меня.

Ну, что, думаю, ты-то! ты-то что, батюшкa, на меня остребенился, какъ чортъ на попа?

А въ залѣ опять, какъ застонеть:

— Къ небесамъ въ полѣ пыль летить, къ женатому же-
ниху — жена катить, Богу молится, слезами обливается.

Бросились туда-сюда — никого нѣтъ.

Боже мой, чѣд тутъ поднялось! Невѣстинъ отецъ образъ поставилъ, да ко мнѣ, чтобъ бить; а я, видючи, что дѣло до меня доходитъ, хвостъ повыше подобравши да отъ него драла. Егуповъ божится, что онъ сроду женатъ не былъ; говоритъ, хоть справки наведите, а гласъ все свое, такъ для всѣхъ даже внимательно: «не вдавайтѣ, говорить, рабы, отроковицу на бракъ скверный». — Все дѣло въ разстрой! — Что жъ, ты думаешьъ, все это было?.. Приходитъ ко мнѣ послѣ этого черезъ недѣлю Егуповъ, самъ и говоритъ: а знаешь, говоритъ, Домна, вѣдь это все подлецъ землемѣръ пупкомъ говорилъ!

— Ну, какъ такъ, спрашиваю, — Домна Платоновна, пупкомъ?

— А пупкомъ, или чревомъ тамъ, что ли, бѣсь его лукавый знаетъ, чѣмъ онъ это каверзилъ. — То-есть я тебѣ говорю, что все это они ионче одинъ передъ другимъ ухитряются, одинъ передъ другимъ выдумываютъ, и вотъ ты увидишь, что они чисто все государство запутаютъ и изнищутъ.

Я даже смутился, при выраженіи Домною Платоновною совершенно неожиданныхъ мною опасеній за судьбы российскаго государства. Домна Платоновна, всеконечно, замѣтила это и пожелала полюбоваться производимымъ ею политическимъ эффектомъ.

— Да, право, ей-Богу! — продолжала она ноткою выше. — Ты только самъ, помилуй, скажи, что хитростевъ всякихъ настало? Тотъ летить по воздуху, что птицѣ одной назначено; тотъ рыбью плаваетъ и на дно морское опускается; тотъ теперь — какъ на Адмиралтейской площади — огонь сѣрный єсть; этотъ животомъ говорить; другой — еще что другое, что человѣку непоказанное — дѣлаетъ... Господи! бѣсь, лукавый самъ, и тотъ ужъ имъ повинуется, и все опять же-таки не къ пользѣ, а ко вреду. Со мной вѣдь одинъ разъ было же, что была я отдана бѣсамъ на поругавіе!

— Матушка, говорю, — неужто и это было?

— Было.

— Такъ не томите, рассказывайте.

— Давно это, лѣтъ, можетъ, двѣнадцать тому будетъ, молода я еще въ тѣ поры была и неопытна, и задумала я, овдовѣвшіи, торговатъ. Ну, чѣмъ, думаю, торговатъ? — Лучше нечѣмъ, по женскому дѣлу, какъ холстомъ, потому — женщина больше въ этомъ понимаетъ, что къ чему принадлежитъ. Накуплю, думаю, на ярманкѣ холста и сяду у воротъ на скамеечкѣ и буду продавать. Поѣхала я на ярманку, накупила холста, и надо мнѣ домой ворочаться. Какъ, думаю, теперь мнѣ съ холстомъ домой ворочаться? а на дворъ, на постоянный, хлопъ, вѣзвжаетъ троенікъ.

— Везли мы, сказывается,—изъ Киева, въ коренную, на семи тройкахъ орѣхъ, да только орѣхъ мы этотъ подмочили, и теперь, говоритъ, сдѣлало съ насть купечество вычетъ, и фдемъ мы къ дворамъ совсѣмъ безъ заработка.

— Гдѣ-жъ, спрашиваю,—твои товарищи?

— А товарищи, отвѣчаетъ,—кто куда въ свои мѣста поѣхали, а я думаю, не найду ли хоть сѣдоковъ какихъ.

— Откуда же, пытаюсь,—изъ какихъ мѣстовъ ты самъ?

— А я куракинскій, говоритъ,—изъ села изъ Куракина.

Какъ разъ это мнѣ къ своему мѣсту. Вотъ, говорю, я тебѣ одна сѣдачка готовая.

Поговорили мы съ нимъ и на рубль серебра порѣшили, что пойдетъ онъ по дворамъ, чтобы еще сѣдоковъ собрать, а завтра, чтобы въ раний обѣдъ иѣхать.

Смотрю, завтра это вдругъ валить къ намъ на дворъ одинъ человѣкъ, другой, пятый, восьмой, и все мужчины изъ торговцевъ и красики такие полные. Вижу, у одного мѣшокъ, у другого—сумка, у третьяго — чемоданъ, да еще ружье у одного.

— Куда-жъ, говорю извозчику,—ты это насть всѣхъ запихаешь?

— Ничего, говоритъ,—улѣзете—повозка большая, сто пудовъ возимъ. Я, признаться, было хоть и оставаться рада, да руль-то ему отданъ, иѣхать опять не съ кѣмъ.

Съ горемъ съ такимъ и съ неудовольствіемъ, ну, однако, поѣхала. Только-что за заставу мы выѣхали, сейчасъ одинъ изъ этихъ сѣдоковъ говоритъ: «стой у кабака!» Пили они тутъ много и извозчика поять. Поѣхали. Опять съ версту отѣхали, гляжу — другой кричитъ: стой, говоритъ, здѣсь Иванъ Иванычъ Елкинъ живетъ, никакъ, говоритъ, его минать не должно.

Разъ они съ десять, этакъ, останавливались все у своего Ивана Иваныча Елкина.

Вижу я, что дѣло этакъ ужъ къ ночи, и что извозчикъ нашъ распьянымъ-пьяно-пьянъ сдѣлся.

— Ты, говорю,—не смѣй больше пить.

— Отчего это такъ, отвѣчаетъ,—не смѣй. Я и такъ, говорить, не смѣй, я все это не смѣючи дѣйствоваю.

— Мужикъ, говорю,—ты, и больше ничего.

— Ну-къ, что-жъ, что мужикъ! а мнѣ, говорить,—абы водка.

— Тварь-то, глупецъ, учу его,—пожалѣль бы свою!

— А вотъ я, говорить,—ее жалѣю, да съ этимъ словомъ махъ своимъ кнутящемъ и пошелъ задувать. Телѣга-то таѣ и подскакиваетъ. Того только и смотрю, что сейчасъ опрокинемся, и жизни нашей конецъ. А тѣ пьяные всѣ заливаются. Одинъ гармонію вынуль, другой пѣсню оретъ, третій изъ ружья стрѣляетъ.—Я только молюсь: Пятница Проковея, спаси и помилуй!

Неслись мы, неслись во весь кульверъ, и стали кони наши, наконецъ, приставать, и побѣхали мы опять шагомъ. На дворѣ же, этакъ, смерклось, и не то, чтобы, какъ сказать, дождь ишелъ, а все будто туманъ брызгаетъ. Руки у меня просто страсть какъ набрякли держамшись, и ужъ я радарадешенька, что, наконецъ, мы ёдемъ тихо; сижу ужъ и голосу не подаю. А у тѣхъ, тѣмъ часомъ слышу, разговоръ пошелъ; одинъ сказываетъ, что разбойники тутъ по дорогѣ шляются, а другой отвѣчаетъ ему, что онъ разбойниковъ не боится, потому что у него ружье два разъ стрѣлить можетъ. Опять еще какой-то о мертвцахъ заговорилъ: я, рассказываю, мертвую кость имѣю, кого, говорить, этой костью обведу, тотъ сейчасъ мертвымъ сномъ заснетъ и не подымется; а другой хвастается, что у него есть свѣча изъ мертваго сала. Я это все слушала, и вдругъ все словно кто меня стала за носъ водить, и ударилъ на меня сонъ, и въ одну минуту я заснула.

Только крѣпко я заснуть никакъ не могла, потому что все насы словно орѣхи въ рѣшеткѣ потряхивало, и во снѣ мнѣ слышится, какъ будто кто-то говорить: «какъ бы, говорить, намъ эту чортову бабу отъ себя вонъ выкинуть, а то ногъ некуда протянуть». Но я все сплю.

Вдругъ, сударь ты мой, слышу крикъ, визгъ, гамъ. Что

такое? Гляжу—ночь, повозка наша стоять, и около нея все веरятся, да кричать, а что кричать—не разобрать.

— Шурле-мурле, шире-мире кравермиръ, ореть одинъ.

Нашъ это, что съ ружьемъ-то ъхалъ, бацъ изъ одного ружья — пистолеть лопнуль, а стрѣльбы нѣтъ — бацъ изъ другого—пистолеть опять лопнуль, а стрѣльбы нѣтъ.

Вдругъ этотъ, что кричать-то, опять какъ заореть: шире-мире-кравермиръ! да съ этимъ словомъ хапъ меня подъ руки-то изъ телѣги да на поле, да ну вертѣть, ну крутить. Боже мой, думаю, что жъ это такое! Гляну, гляну вокругъ себя—все рожи такія темныя, да все веरятся и меня крутять, да кричать шире-мире да за ноги меня, да ну раскачивать.

— Батюшка! взмолилась я, такое надѣй собою въ первый разъ видючи,—Никола Божій амченскій: тріехъ дѣвъ непорочный невѣстителю! чистоты усердный хранителю! не допусти же ты имъ хоть наготу-то мою недостойную видѣть!

Только-что я это въ сердцѣ своемъ проговорила, и вдругъ чувствую, что тишина вокругъ меня стала необъятная, и лежу будто я въ полѣ, въ зелени такой изумрудной, и передо мною передъ ногами моими плыветъ небольшое этакое озерцо, но пречистое, препрозрачное, и вокругъ него, словно бахрома густая, стоять молодой тростникъ и таково тихо шатается.

Забыла я тутъ и про молитву, и все смотрю на этотъ тростникъ, словно сроду я его не видала.

Вдругъ вижу я что же? Вижу, что съ этого съ озера поднимается туманъ, такой сизый, легкій туманъ, и точно настоящая пелена, такъ по полю и разстилается. А тутъ подъ туманомъ на самой на срединѣ озера вдругъ кружечекъ этакой, какъ будто рыбка плеснулась, и выходитъ изъ этого кружечка человѣкъ такъ маленький, росту не больше какъ съ пѣтуха будеть; лицо крошечное; въ синенькомъ кафтанчикѣ, а на головкѣ зеленый картузикъ держитъ.

— Удивительный, думаю, — какой человѣкъ, будто какъ куколка хорошая, и все на него смотрю, и глазъ съ него не спускаю, и совсѣмъ его даже не боюсь, вотъ-таки ни капли не боюсь.

Только онъ, смотрю, начинаетъ всходить-всходить, и все ко мнѣ ближе, ближе и, наконецъ того дѣла, прыгъ прямо ко мнѣ на грудь. Не на самую, знаешь, на грудь, а надѣ

трудью стонть на воздухъ и кланяется. Таково преважно подняль свой картузикъ и здравствуетъ.

Смѣхъ меня на него разбираеть ужасный: гдѣ ты, думаю, такой смѣшной взялся?

А онъ въ это время хлопъ свой картузикъ опять и говоритъ... да, вѣдь, что же, говорить-то!

— Давай, говорить,—Домочка, сотворимъ съ тобой любовь! Такъ меня смѣхъ и разорвалъ.

— Ахъ ты, говорю, — шипъ ты этакой. Ну, какую ты можешь имѣть любовь?

А онъ вдругъ задомъ ко мнѣ верть и запль молодымъ кочеткомъ: кука-реку-ку-ку!

Вдругъ тутъ зазвенѣло, вдругъ застучало, вдругъ заиграло: стонъ, я тебѣ говорю, стонть. Боже мой, думаю, что жъ это такое? Лягушки, карпіи, лещи, раки, кто на скрыпку, кто на гитарѣ, кто въ барабаны бьютъ; тотъ пляшетъ, тотъ скачетъ, того вверхъ вскидываетъ!

— Ахъ,—думаю,—плохо это! Ахъ, совсѣмъ это нехорошо! Огражду я себя, думаю, молитвой, да хотѣла такъ-то зачигать: «Да воскреснетъ Богъ», а на мѣсто того говорю: «Взвейся, выше понесися», и въ это время, слышу въ животѣ у меня бумъ-бурумъ-бумъ, бумъ-бурумъ-бумъ.

— Что это, моль, я такое: торбанъ, что-ль? и гляжу, точно я торбанъ. Стоитъ надо мной давишинѣй человѣчекъ маленький и такъ-то на мнѣ нареѣзывается.

— Охъ, думаю,—батюшки! охъ, святые угодники! а онъ все по мнѣ смычкомъ-то пилить-пилить, и такое на мнѣ выигryваетъ, и вальсы, и кадрели всякия, а другое еще поджигаютъ: тарабанъ жесче, жесче тарабанъ!—кричать.

Боль, тебѣ говорю, въ животѣ непереносная, а все гуду. И такъ цѣлую ночь цѣлехонькую на мнѣ торабанили; цѣлую ночь до бѣла до свѣта была я имъ, крещеный человѣкъ, замѣсто торбана; на утѣщеніе имъ, бѣсамъ, служила.

— Это, говорю,—ужасно.

— И очень даже, мой другъ, ужасно. Но тѣмъ это еще было ужаснѣе, что утромъ, какъ отторабанили они на мнѣ всю эту свою музыку, я оглядываюсь и вижу, что мѣсто мнѣ совсѣмъ незнакомое: поле, лужица этакая точно есть большая, въ родѣ озерца, и тростникъ, и все, какъ я видѣла, а съ неба солнце печеть жарко, и прямо мнѣ во всю наружность. Гляжу, тутъ же и мой сверточекъ съ холстами

и сумочка — все въ цѣлости; а такъ невдалекъ деревушка. Я встала, доплелась до деревушки, наняла мужика, да къ вечеру домой и дѣхала.

— И что же вы, Домна Платоновна,увѣрены, что все это съ вами дѣйствительно приключилось?

— А то врать я, что ли, на себя стану?

— Нѣтъ, я говорю про то, что именно такъ ли все это было-то?

— Такъ и было, какъ я тебѣ сказываю. А ты вотъ подивись, какъ я имъ наготы-то своей не открыла.

Я подивился.

— Да; вотъ и съ бѣсомъ да совладала, а съ лукавымъ человѣкомъ такъ вышло разъ иначе.

— Какъ же вышло?

— Слушай.

Купила я для одной купчихи мебель, на Гороховой уѣзжихъ. Были комоды, столы, кровати и дѣтская кроватка съ этакимъ съ тесьмениннымъ дномъ. Заплатила я тридцать рублей деньги, выставила все въ коридоръ, и пошла за извозчикомъ. Взяла за рупь за сорокъ къ Николь Морскому извозчика ломового, и укладываемъ съ нимъ мебель, а хозяева, у которыхъ купила-то я, на ту пору вышли и квартиру замкнули. Вдругъ откуда ни возьмись дворники, татары, «халамъ-баламъ»: какъ ты смѣешь, орутъ, вещи братъ? Я туда, я сюда — не спускаютъ. А тутъ дождь, а тутъ извозчикъ стоять не想要. Боже мой! Насилу я надумалась: ну, ведите, говорю, меня въ кварталь — я, говорю, квартального жена. И только это сказала, входятъ на дворъ эти господа, у которыхъ мебель купила. «Продана, говорить, точно, ей эта мебель продана». Ну, извозчикъ мой говорить: садись. Думаю, и точно замѣсть того, чтобы на живѣйшаго тратить, сиду я въ короватку дѣтскую. Высоко они эту короватку, на самомъ на верху воза надъ комодой утвердили, но я вскарабкалась и сѣла. Только что жъ бы ты думалъ? Не успѣла я со двора выѣхать, какъ слышу низокъ-то подо мною тресъ-тресъ-тресъ.

— Ахъ, думаю, батюшки, вѣдь это я проваливаюсь! И съ этимъ словомъ хотѣла встать на ноги, да трахъ — и просунулась. Такъ верхомъ какъ жандарь на одной тесемкѣ и сижу. Срамъ, я тебѣ говорю, просто на смерть! Одежда вся избилась, а ноги голые надъ комодой мотаются; народъ

дивуется; дворники кричат: «Закройся, квартиральничиха», а закрыться нечъмъ.

— Вотъ онъ варваръ какой!

— Это кто же, говорю,—варваръ?

— Да извозчикъ-то: гдѣ же, скажи ты, пожалуй, зѣваетъ на лошадь, а на пассажира и не посмотрить. Мало вѣдь чуть не всю Гороховую я такъ проѣхала, да ужъ городовой, спасибо ему, остановилъ. «Что это, говорить, за мерзость такая? Это непозволено, что ты показываешь?» Вотъ какъ я посвѣтила наготой-то.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

— Домна Платоновна! говорю: — а что — давно я желалъ васъ спросить — молодою такой вы остались послѣ супруга? неужто у васъ никакого своего сердечнаго дѣла не было?

— Какого это сердечнаго?

— Ну, не полюбили вы кого-нибудь?

— Полно глупости болтать!

— Отчего же, говорю,—это глупости?

— Да оттого, отвѣчаетъ,—глупости, что хорошо этими любвями заниматься у кого есть пристѣнники да доспѣшники, а какъ я одна, и постоянно я отягощаюсь, и постоянно веду жизнь прекратительную, такъ мнѣ это совсѣмъ даже и не на умѣ, и не кстати.

— Даже и не на умѣ?

— И ни вотъ столичко! — Домна Платоновна черкнула ногтемъ по погтю и добавила: — а къ тому же, я тебѣ скажу, что вся эта любовь—вздоръ. Такъ, напустить человѣкъ на себя шаль такую: «ахъ, моль, умираю! жить безъ него, или безъ нея не могу!» вотъ и все. По-моему, то любовь, если человѣкъ женщинѣ какъ слѣдуетъ помогаетъ—вотъ это любовь, а что женщина, она всегда должна себя помнить и содержать на примѣчаніи.

— Такъ, говорю,—стало-быть, ничѣмъ вы, Домна Платоновна, Богу не грѣшины?

— А тебѣ какое дѣло до моихъ грѣховъ? Хоща бы чѣмъ я и грѣшна была, то мой грѣхъ, не твой, а ты не попъ мой, чтобъ меня исповѣдывать.

— Нѣть, я говорю это, Домна Платоновна, только къ

тому, что молоды вы овдовѣли и видно, что очень вы были хороши.

— Хороша не хороша, отвѣчаетъ,—а въ дурныхъ не ставили.

— То-то, я говорю,—это и теперь видно.

Домна Платоновна поправила бровь и глубоко задумалась.

— Я и сама, начала она потихоньку,—много такъ разъ разсуждала: скажи мнѣ, Господи, лежить на мнѣ одинъ грѣхъ или нѣтъ? и ни отъ кого добиться не могу. Научила меня разъ одна монашкѣ съ моихъ словъ списать всю эту исторію, и подать ее на духу священнику,—я и послушалась, и монашкѣ списала, да я, шедши къ церкви, все и обронила.

— Чѣдъ жъ это такое, Домна Платоновна, за грѣхъ былъ?

— Не разберу: не то грѣхъ, не то мечтаніе.

— Ну, хоть про мечтаніе скажите.

— Издаля это начинать очень приходится. Это еще какъ мы съ мужемъ жили.

— Ну, какъ же, голубушка, вы жили?

— А жили ничего. Домикъ у насъ былъ, хоща и небольшой, но по предмѣстности былъ очень выгодный, потому что на самый базарь выходилъ, а базары у насъ для хозяйственнаго употребленія частые, только-что нечего на нихъ выбрать, вотъ въ чемъ главная прѣль. Жили мы не въ большихъ достаткахъ, ну и не въ бѣдности; торговали и рыбой, и саломъ, и печenkой, и всяkimъ товаромъ. Мужъ мой, Федоръ Ильичъ, былъ человѣкъ молодой, но этакой мудреный, изъ себя былъ сухой, но губы имѣлъ необыкновенные. Я такихъ губъ ни у кого даже послѣ и не видывала. Нраву онъ, не тѣмъ будь помянуть, былъ пронзительнаго—спорильщика и упротивный; а я тоже въ дѣвкахъ воительница была. Вышедши замужъ, вела я себя сначала очень даже прилично, но это его нисколько совсѣмъ не восхищало, и всякий день натощакъ мы съ нимъ буйственно сражались. Любви у насъ съ нимъ большой не было, и согласия столько же, потому оба мы собирались съ нимъ воители, да и нельзѧ было съ нимъ не воевать, потому, бывало, какъ ты его ни голубь, а онъ все на тебя тетерится, однако жили не разводились и восемь лѣтъ про-

жили. Конечно, жили не безъ непріятностей, но до драки настоящей у нась не часто доходило. Разъ одинъ, точно, даль онъ мнѣ, покойникъ, подзатыльника, но только, разумѣется, и моей тутъ немножко было причины, потому что стала я ему волосы подравнивать, да ножницами—кусочекъ уха ему и отстригнула. Дѣтей у нась не было, но были у нась на Нижнемъ городѣ кумъ и кума Прасковья Ивановна, у которыхъ я дѣтей крестила. Были они люди небогатые тоже, портной онъ назывался, и диплонъ отъ общества имѣть, но шить ничего не шилъ, а по покойникамъ пасалтыры читаль и пѣль въ соборѣ на крылосѣ. По добычливости же, если что добыть по домашнему, все больше кума отягощалась, потому что она полезной бабой была, дѣтей правила и навью кость сводила.

Вотъ одинъ разъ, это ужъ па послѣднемъ году мужниной жизни (все ужъ тутъ валилось, какъ передъ пропластью), сдѣлайся эта кума Прасковья Ивановна имениница. Сдѣлайся она имениница, и пошли мы къ ней на именины, и засталъ насть тамъ у нея дождь, и такой дождь, что какъ изъ ведра окатывается: а у меня на ту пору еще голова разболѣлась, потому выпила я у нея три пунша съ кисляркой, а эта кислярская для головы нѣть ея подлѣе. Взяла я и прилегла въ другой комнаткѣ на диванчикѣ.

— Ты, говорю,—кума, съ гостями еще посиди, а я тутъ прошечку полежу.

А она: ахъ, какъ можно на этомъ диванѣ: тутъ твердо; га постель ложись.

Я и легла и сейчасъ заснула.

— Нѣть тутъ моей вины?

— Никакой, говорю.

— Ну, теперь же слушай. Сплю я и чую, что какъ будто кто-то меня обнимаетъ, и таки, знаешь, не на шутку обнимаетъ. Думаю, это мужъ Федоръ Ильичъ; но какъ будто и не Федоръ Ильичъ, потому что онъ быть сложенія духовнаго и изъ себя этакой секретный, — а проснуться не могу. Только проспавши свое время, встаю, гляжу—утро, и лежу я на куминой постели, а возлѣ меня кумъ. Я махъ этакъ, знаешь, перепрыгнула скорый черезъ него съ кровати-то, тряслась вся отъ страху и гляжу — на полу, на перинкѣ, лежить кума, а съ ней мой Федоръ

Ильичъ... Толкъ я тутъ-то куму, гляжу — и та схватилась и крестится.

— Что же это, говорю, — кума, такое? какъ это сдѣлалось?

— Ахъ, говорить, — кумонька! Ахъ, я мерзкая этакая! Это все я сама, говорить, настроила, потому они еще, проводя гостей, доливать сѣли, а я тутъ впопыхъ-то тебя не стала будить, да прилегла тутъ, гдѣ вамъ было постлано.

Я даже плюнула.

— Что жъ теперь, говорю, — намъ съ тобой дѣлать?

А она мнѣ отвѣчаетъ: намъ съ тобой нечего больше дѣлать, какъ надо про это молчать.

Это я, вотъ сколько тому лѣтъ прошло, первому тебѣ про это и рассказала, потому что тяжело мнѣ это ужасно, и всякий разъ, какъ я это вздумаю, такъ я этотъ сонъ свой проклясть совсѣмъ готова.

— Вы, говорю, — Домна Платоновна, не сокрушайтесь, потому что вѣдь все это вышло мимо воли вашей.

— А еще бы, говорить, — какъ? Я и такъ-то себя не мало измучила и истерзала. Горе-таки горемъ, какъ Федоръ Ильичъ въ скорости тутъ померъ, потому не своею онъ померъ смертью, а дрова, сажени на берегу завалились, задавили его. О петербургскихъ обстоятельствахъ, чтобы какъ чѣмъ себя развеселить, я и понятія тогда не имѣла; но какъ вспомнию, бывало, все это послѣ его смерти-то, сиду вечеркомъ одна-одинешенька подъ оконечко, пою: «Возьмите вы все золото, всѣ почести назадъ», да сама льюсь, льюсь рѣкою, какъ глаза не выйдутъ. Такъ тяжко, такъ станетъ жутко, вспомнивши эти слова, что «другъ нѣжны спить въ сырой землѣ», что хоть наѣнь на себя осиль пенечный да и полѣзай въ петлю. Продала все, всего рѣшилась и уѣхала; думаю, пусть лучше хоть глаза мои на все это не глядять и уши мои не слышать.

— Это, говорю, — Домна Платоновна, я вамъ вѣрю; нѣть ничего несноснѣе, какъ если одолѣть тоска.

— Спасибо тебѣ, милый, на добромъ словѣ, именно правду говоришь, что нѣть ничего несноснѣе, и утѣши и обрадуй тебя за это слово Царица Небесная, что ты все это могъ понять и почувствовать. Но не можешь ты понять всей

обо мнѣ тоски и жалости, если не открою я тебѣ всю мою настоящую обиду, какъ меня одинъ разъ обидѣли. Что это саквояжъ тамъ пропалъ, или что Леканидка тамъ неблагодарная — все это вздоръ. А былъ у меня на свѣтѣ одинъ такой день, что молила я Господа, что пошли Ты хоть змѣя, хоть скорпія, чтобы очи мои сейчасъ выпиль и сердце мое высосаль. И кто жъ меня обидѣлъ? — Испулатка, нехристъ, турка! А кто ему помогалъ? — свои пріятели, муромъ святымъ мазаные.

Домна Платоновна горько-прегорько заплакала.

— Курьерша одна моя знакомая,—начала она, утирающи слезы:—жила въ Лопатинѣ домѣ, на Невскомъ, и присталь къ ней этотъ плѣненный турка Испулатка. Она за него меня и просить: Домна Платоновна! опредѣли, говорить,— хоть ты его, черта, къ какому-нибудь мѣсту! — Куда же, думаю, турку опредѣлить? Кромѣ какъ куда-нибудь арапомъ, никуда его не опредѣлишь — и нашла я ему арапскую должность. Нашла, и прихожу, и говорю: такъ и такъ, говорю, иди и опредѣляйся.

Тутъ они и затѣяли могорычи пить, потому что онъ уже своей поганой вѣры избавился, крестился и могъ вино пить.

— Не хочу я, говорю,—ничего, ну, только, однако, выпила. Этакой ужъ у меня характеръ глупый, что всегда я попервоначалу скажу «нѣть», а потомъ выпью. Такъ и тутъ: выпила и осатанѣла, и у нея, у этой курьерши, легла съ нею на постели.

— Ну-съ?

— Ну, вотъ тебѣ и все, а нынче зашиваюсь.

— Какъ зашиваетесь?

— А такъ, что если гдѣ ужъ придется неминующи почевать, то я совсѣмъ съ ногами, въ родѣ какъ въ мѣшокъ, и зашиваюсь. И даже, такъ тебѣ скажу, что и совсѣмъ, на сонъ свой подлый не надѣясь, я даже и постоянно нынче на ночь зашиваюсь.

Домна Платоновна тяжело вздохнула и опустила свою скорбную голову.

— Вотъ тебѣ ужъ, кажется, и знаю петербургскія обстоятельства, а однако, что надѣть собой допустила! — произнесла она послѣ долгаго раздумья, простилась и пошла къ себѣ на Знаменскую.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Черезъ нѣсколько лѣтъ привелось мнѣ свезти въ одну изъ временныхъ тифозныхъ больницъ одного бѣдняка. Сложивъ его на койку, я искалъ, кому бы его препоручить хоть на малѣйшую ласку и вниманіе.

— Старшой, говорять.

— Ну, попросите, прошу,—старшую.

Входить женщина съ отцвѣтишимъ лицомъ и отвисшими мѣшками щекъ у челюстей.

— Чѣмъ, говорить,—батюшка, служить прикажете?

— Матушка, восклицаю,—Домна Платоновна!

— Я, сударь, я.

— Какъ вы здѣсь?

— Богъ такъ велѣлъ.

— Поберегите, прошу,—моего больного.

— Какъ своего роднаго поберегу.

— Чтѣ жъ ваша торговля?

— А вотъ моя торговля: землю продать, да небо купить.

Рѣшилась я, другъ мой, своей торговли.

— Зайди, шепчеть,—ко мнѣ.

Я зашелъ. Каморочка сырая, ни мебели, ни шторки, только койка да столикъ съ самоваромъ и сундучокъ краснѣйший.

— Будемъ, говорить,—чай пить.

— Нѣть, отвѣчаю,—покорно васъ благодарю, некогда.

— Ну, такъ заходи когда другимъ разомъ. Я тебѣ рада, потому я разбита, другъ мой, въ послѣднія разбита.

— Что же съ вами такое случилось?

— Уста мои этого разсказать не могутъ, и сердцу моему это очень болѣно, и, сдѣлай милость, ты меня не спрашивай.

— И отчего, говорю,—вы это такъ вдругъ осунулись?

— Осунулась! что ты, Господь съ тобой! — ни капли я не осунулась.

Домна Платоновна торопливо выхватила изъ кармана крошечное складное зеркальце, поглядѣла на свои блеклые щеки и заговорила:

— Ни крошечки я не осунулась, и то это теперь къ вечеру, а съ утра я еще гораздо свѣжѣе бываю.

Смотрю я на Домну Платоновну, и понять не могу, что въ ней такое? а только вижу, что что-то такое странное.

Показалось мнѣ, что кромѣ того, что все ея лицо поблекло и обвисло, будто оно еще слегка подштукатурено и подкрашено, а тутъ еще эта тревога, при моемъ замѣчаніи, что она осунулась... Непонятная, думаю, притча!

Не прошло и послѣ этого мѣсяца, какъ вдругъ является ко мнѣ какой-то солдатъ изъ больницы и неотступно требуетъ меня сейчасъ къ Домнѣ Платоновнѣ.

Взялъ извозчика и пріѣзжаю. На самыхъ воротахъ встрѣчаетъ меня сама Домна Платоновна и прямо кидается мнѣ на грудь съ плачомъ и рыданіемъ.

— Съѣзди, говорить,—ты, миленький, сдѣтай милость, въ часть.

— Зачѣмъ, Домна Платоновна.

— Узнай ты тамъ насчетъ одного человѣка, похлопочи за него. Я, Богъ дасть, современемъ сама тебѣ услугужу.

— Да вы, говорю,—не плачьте только и не дрожите.

— Не могу, отвѣчаетъ,—не дрожать, потому это нутреннее, изнутри колотить. А этой услуги я тебѣ въ жизнь не забуду, потому что всѣ меня теперь оставили.

— Хорошо—но за кого же просить-то и о чёмъ просить?

Старуха замялась, и блеклые щеки ея задергались.

— Фортопьянщицкій ученикъ тамъ арестованъ вчера, Валерочка, Валерьянъ Ивановъ, такъ за него узнай и попроси.

Поѣхалъ я въ часть. Сказали мнѣ тамъ, что, дѣйствительно, есть арестованный молодой человѣкъ Валерьянъ Ивановъ, что былъ онъ ученикомъ у фортопьяннаго мастера, обокралъ своего хозяина, взять съ поличнымъ и, по всѣмъ вѣроятностямъ, пойдеть по тяжелой дорогѣ Владимірской.

— Сколько же ему лѣть? разспрашиваю.

— Лѣть, говорятъ, — какъ разъ двадцать одинъ годъ минулъ.

Чѣдь, думаю, за чудеса такія и что такое онъ, этотъ Валерка, моей Домнѣ Платоновнѣ?

Пріѣзжаю въ больницу и застаю Домну Платоновну въ ея каморкѣ: сидѣть, сложивши руки, на краю кровати и совсѣмъ помертвѣлая.

— Знаю, говорить, — все, сдѣтай милость, больше не

сказывай. Я фершала посыла узнатъ и все знаю. Огненнымъ прещенiemъ пресъкается передъ смертью душа моя.

Вижу, моя вонительница совсѣмъ сбрендила: распалась и угасла въ часть одинъ.

— Боже мой! говорить,—глядя на бѣдный больничный образочекъ.—Боженька! миленький! да поди же къ Тебѣ моя молитва прямо столбушкомъ: вынь Ты изъ меня душу, изъ старой дуры, да укроти мое сердце негодное.

— Да что жъ, говорю,—вамъ такое?

— Мнѣ?.. Люблю я его, душечка; люблю я его несносно, мой ангель; безъ ума, безъ разума люблю я его, старая дура. Я его обула, я его одѣла, я на него дула, пыль съ него обдувала. Театрашникъ такой; все, бывало, кортить ему дома; все онъ клонится какъ бы въ цыркъ, какъ бы въ театръ; я ему послѣднее отдавала. Станешь, бывало, только просить: Валерочка! другъ мой! сокровище благихъ! не клонись ты къ этому цырку; чтѣ тебѣ этотъ цыркъ? Такъ затопочеть, закричить и руками намѣряется. Вотъ тебѣ и цыркъ!.. Не позволяль онъ, чтобы я говорила съ нимъ, такъ я издаля, бывало, только на него смотрю, да прошу: Валерочка! жизненочекъ! сокровище благихъ! не якшайся ты съ кѣмъ нападя; не пей ты много. Все онъ мое презрѣль... Когда бъ дворника не нанимала, чтобъ слухъ обѣ немъ подаваль, и этого горя бѣ, можетъ, не знала.

— Боженька! миленький! Господи, да что жъ это? да что жъ это будетъ! вскрикнула она, и съ этимъ словомъ упала передъ образомъ на колѣна и еще горче заплакала, кивая своею сѣдою головою.

— Все,—заговорила она, подымаясь черезъ нѣсколько минутъ на ноги и тоскливо водя угасшими глазами по своей унылой каморкѣ:—все ему отдала, ничего у меня больше нѣть. Нечего мнѣ ему дать больше, голубчику... Хоть бы сходить къ нему...

— Ну, говорю,—сходите.

— Не велить онъ мнѣ ему показываться, не смѣю я къ нему идти; а сама дрожмя дрожитъ, бѣдная старуха.

Помолчалъ я и, чтобъ отрезвить ее хоть немножко, спрашивалъ:

— Сколько вамъ, Домна Платоновна, нынче годочековъ?

— Что ты такое, говорить,—сказать?

— Сколько, моль,—вамъ лѣть?

— А не знаю, право, сколько... въ прошломъ году въ фебрѣ, кажется, сорокъ семь было.

— И откуда жъ это, спрашиваю,—онъ у васъ взялся, этотъ Валерка? Гдѣ вы его себѣ откопали на свое горе?

— Изъ нашихъ мѣстовъ, отвѣчаетъ, утирая слезы.— Куминъ племянникъ онъ. Кума его ко мнѣ прислала, чтобы къ мѣсту опредѣлить.

— Скажи, пожалуйста,—пишитъ опять плачуши воительница:—жаль ли хоть тебѣ меня, дуру неповитую?

— Очень, отвѣчаю,—жаль.

— А людямъ, вѣдь, небось, и не жаль, смѣхъ имъ, небось, только. И всякий, если кто когда-нибудь про эту исторію узнаетъ, посмѣется—непремѣнно посмѣется, а не пожалѣеть—а я все люблю, и все безъ радости, и все безъ счастья, безъ всякаго. Богъ съ ними люди! не понять имъ, какая это бѣда, если прилучится такое надѣй человѣкомъ не ко времени. Ходила я къ становѣру,—говорить: «это тебѣ аггель сатаны данъ въ плоть... Не возносись». Пошла къ священнику, говорю: вотъ, батюшка, что со мною, такъ и такъ, говорю, силь моихъ надѣй собой нѣть; ну, священникъ меня хорошо попушилъ: читай, говорить, раба, канонъ: «Утоли мои печали». Я теперь и канонъ этотъ читаю, и къ мѣсту такому нарочно опредѣлилась, чтобы никакихъ смущеній мнѣ не было; ну, только... Валерушка! цыпленокъ ты мой! Сокровище благихъ! Что ты это надѣй собою сдѣлала?..

Домна Платоновна припала головой къ окну и заколотила лбомъ о подоконникъ.

Такъ я и оставилъ мою воительницу въ этомъ убитомъ положеніи. Черезъ мѣсяцъ дали мнѣ знать изъ больницы, что Домна Платоновна вдругъ окончила свою прекратительную жизнь. Умерла она отъ быстраго истощенія силь. Лежала она въ гробикѣ черномъ такая маленькая, сухенькая, точно въ самомъ дѣлѣ всѣ хрящички ея изныли и косточки прилегли къ суставамъ. Смерть ея была совершенно безболѣзенна, тиха и спокойна. Домна Платоновна соборовалась масломъ и до послѣдней минуты все молиласъ, а отпуская предсмертный вздохъ, велѣла отнести ко мнѣ свой сундучокъ, подушки и подаренную ей кѣмъ-то банку варенья, съ тѣмъ, чтобы я нашелъ случай передать все это «тому человѣку, про котораго самъ знаю», то-есть Валеркѣ.



ЛЕДИ МАКБЕТЬ МЦЕНСКАГО УѢЗДА.

(ОЧЕРКЪ.)

«Первую пѣсенку зарѣвши спѣть».

Поговорка.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Иной разъ въ нашихъ мѣстахъ задаются такие характеристы, что какъ бы много лѣтъ ни прошло со встрѣчи съ ними, о иѣкоторыхъ изъ нихъ никогда не вспомнишь безъ душевнаго трепета. Къ числу такихъ характеровъ принадлежитъ купеческая жена Катерина Львовна Измайлова, разыгравшая иѣкогда страшную драму, послѣ которой наши дворяне, съ чьего-то легкаго слова, стали звать ее *леди Макбетъ Мценскаго уѣзда*.

Катерина Львовна не родилась красавицей, но была по наружности женщина очень пріятная. Ей отъ рода шель всего двадцать четвертый годъ; роста она была невысокаго, но стройная, шея точно изъ мрамора выточенная, плечи круглые, грудь крѣпкая, носикъ прямой, тоненький, глаза черные, живые, бѣлый высокий лобъ и черные, ажъ до-синя черные волосы. Выдали ее замужъ за нашего купца Измайлова съ Тускари изъ курской губерніи, не по любви или какому влечению, а такъ, потому что Измайлова къ ней присватался, а она была дѣвушка бѣдная и перебирать женихами ей не приходилось. Домъ Измайловыхъ въ нашемъ городѣ былъ не послѣдний: торговали они крупчаткою, держали въ уѣздѣ большую мельницу въ арендѣ, имѣли доходный садъ подъ городомъ и въ городѣ домъ хороший.

6*

Вообще кутицы были зажиточные. Семья у нихъ къ тому же была совсѣмъ небольшая: свекръ Борисъ Тимоѳеичъ Измайлова, человѣкъ ужъ лѣтъ подъ восемьдесятъ, давно вдовы; сынъ его Зиновій Борисычъ, мужъ Катерины Львовны, человѣкъ тоже лѣтъ пятидесяти слишкомъ, да сама Катерина Львовна, и только всего. Дѣтей у Катерины Львовны, пятый годъ, какъ она вышла за Зиновія Борисыча, не было. У Зиновія Борисыча не было дѣтей и отъ первой жены, съ которой онъ прожилъ лѣтъ двадцать прежде чѣмъ овдовѣлъ и женился на Катеринѣ Львовнѣ. Думалъ онъ и надѣялся, что дастъ ему Богъ хоть отъ второго брака наследника купеческому имени и капиталу; но опять ему въ этомъ и съ Катериной Львовной не посчастливилось.

Бездѣтность эта очень много огорчала Зиновія Борисыча, и не то, что одного Зиновія Борисыча, а и старика Бориса Тимоѳеича, да даже и самой Катерину Львовну это очень печалило. Разъ, что скуча испомѣрная въ запертомъ купеческомъ терему съ высокимъ заборомъ и спущенными цѣпными собаками не разъ наводили на молодую купчиху тоску, доходящую до одури, и она рада бы, Богъ вѣсть какъ рада бы она была понянчиться съ дѣточкой; а другое — и попреки ей надоѣли: «чего шла, да зачѣмъ шла замужъ; зачѣмъ завязала человѣку судьбу, неродица», словно и въ самомъ дѣлѣ она преступленіе какое сдѣлала и передъ мужемъ, и передъ свекромъ, и передъ всѣмъ ихъ честнымъ родомъ купеческимъ.

При всемъ довольствѣ и добрѣ, житѣе Катерины Львовны въ свекровомъ домѣ было самое скучное. Въ гости онаѣзжала мало, да и то, если и поѣдетъ она съ мужемъ по своему купечеству, такъ тоже не на радость. Народъ все строгий: наблюдаютъ, какъ она сидѣть, да какъ пройдетъ, какъ встанетъ; а у Катерины Львовны характеръ былъ пылкій, и, живя дѣвшкой въ бѣдности, она привыкла къ простотѣ и свободѣ: пробѣжать бы съ ведрами на рѣку да покупаться бы въ рубашкѣ подъ пристанью или обсыпать черезъ калитку прохожаго молодца подсолнечною лузгою; а тутъ все иначе. Встануть свекръ съ мужемъ ранехонько, нащются въ шесть часовъ утра чаю, да и по своимъ дѣламъ, а она одна слоняетъ слоны изъ комнаты въ комнату. Вездѣ чисто, вездѣ тихо и пусто, лампады сіаютъ передъ

образами, а нигдѣ по дому ни звука живого, ни голоса человѣческаго.

Походить, походить Катерина Львовна по пустымъ комнатаамъ, начнетъ зѣвать со скуки и полѣзть по лѣсенкѣ въ свою супружескую опочивальню, устроенную на высокомъ небольшомъ мезонинчикѣ. Тутъ тоже посидить, поглазѣть, какъ у амбаровъ пеньку вѣшаютъ или крупчатку ссыпаютъ — опять ей зѣвнется, она и рада: прикорнетъ часокъ-другой, а проснется — опять та же скука, русская, скука купеческаго дома, отъ которой весело, говорятъ, даже удавиться. Читать Катерина Львовна была не охотница да и книгъ къ тому жъ, окромя кіевскаго патерика, въ домѣ ихъ не было.

Скучною жизнью жилось Катеринѣ Львовнѣ въ богатомъ свекровомъ домѣ въ теченіе цѣлыхъ пяти лѣтъ ея жизни за неласковымъ мужемъ; но никто, какъ водится, не обращалъ на эту скуку ея ни малѣйшаго вниманія.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

На шестую весну Катерины Львовнинаго замужества у Измайловыхъ прорвало мельничную плотину. Работы на ту пору, какъ нарочно, на мельницу было завезено много, а прорва учинилась огромная: вода ушла подъ нижній лежень холостой скрыни, и захватить ее скорой рукой никакъ не удавалось. Согналъ Зиновій Борисычъ народа на мельницу съ цѣлой округи и самъ тамъ сидѣль безотлучно; городскія дѣла ужъ одинъ старикъ правилъ, а Катерина Львовна маялась дома по цѣлымъ днямъ одна-одишененька. Сначала ей безъ мужа еще скучнѣй было, а тутъ будто даже какъ и лучше показалось: свободище ей одной стало. Сердце ея къ нему никогда особенно не лежало, а безъ него, по крайней мѣрѣ, однимъ командиромъ надъ ней стало меныше.

Сидѣла разъ Катерина Львовна у себя на вышкѣ подъ окошечкомъ, зѣвала-зѣвала, ни о чёмъ опредѣленномъ не думая, да и стыдно ей, наконецъ, зѣвать стало. А на дворѣ погода такая чудесная: тепло, свѣтло, весело, и сквозь зеленую деревянную рѣшетку сада видно, какъ по деревьямъ съ сучка на сучокъ перепархиваютъ рѣзвыя птички.

«Что это я, въ самомъ дѣлѣ, раззѣвалась? — подумала Ка-

терина Львовна. — «Семь-ну я хоть встану, по двору погуляю или въ садъ пройдусь».

Накинула на себя Катерина Львовна старую штофную шубочку и вышла.

На дворѣ такъ свѣтло и крѣпко дышится, а на галлереѣ у амбаровъ такой хохотъ веселый стоять.

— Чего это вы такъ радуетесь? — спросила Катерина Львовна свекровыхъ приказчиковъ.

— А вотъ, матушка, Екатерина Ильвовна, свинью живую вѣшали, — отвѣчалъ ей старый приказчикъ.

— Какую свинью?

— А вотъ свинью Аксинью, что родила сына Василя, да не позвала насъ на крестины, — смѣло и весело рассказывалъ молодецъ съ дерзкимъ красивымъ лицомъ, обрамленнымъ черными, какъ смоль, кудрями и едва пробивающейся бородкой.

Изъ мучной кади, привѣшенной къ вѣсовому коромыслу, въ эту минуту выглянула толстая рожа румяной кухарки Аксиньи.

— Черти, дьяволы гладkie! — ругалась кухарка, стараясь схватиться за желѣзное коромысло и выпѣсть изъ раскачивающейся кади.

— Восемь пудовъ до обѣда тянетъ, а пихтерь сѣна сѣсть, такъ и гирь недостанетъ! — опять объяснялъ красивый молодецъ и, повернувъ кадь, выбросилъ кухарку на сложенное въ углу кулье.

Баба, шутливо ругаясь, начала оправляться.

— Ну-ка, а сколько во мнѣ будетъ? — пошутила Катерина Львовна и, взявшись за веревки, стала на доску.

— Три пуда семь фунтовъ, отвѣчалъ тотъ же красивый молодецъ Сергей, бросивъ гирь на вѣсовую скайму. — Ди-ковина!

— Чему жъ ты дивуешься?

— Да что три пуда въ вѣсъ потянуло, Катерина Ильвовна. Вѣсъ, я такъ разсуждаю, цѣлый день на рукахъ носить надо — и то не уморишься, а только за удовольствіе это будешь для себя чувствовать.

— Что жъ, я не человѣкъ, что ли? Небось, тоже устанешь, — отвѣтила, слегка краснѣя, отвыкшая отъ такихъ рѣчей Катерина Львовна, чувствуя внезапный приливъ же-

ланія разболтаться и наговориться словами веселыми и шутливыми.

— Ни Боже мой! Въ Аравію счастливую занесь бы,—отвѣчалъ ей Сергій на ея замѣчаніе.

— Не такъ ты, молодецъ, разсуждаешь,—говорилъ ссыпавшій мужичокъ. — Что есть такое въ насъ тяжесть? Развѣ тѣло наше тянетъ? тѣло наше, милый человѣкъ, на всѣу ничего не значить: сила наша, сила тянетъ — не тѣло!

— Да, я въ дѣвкахъ страсть сильна была,—сказала, опять не утерпѣвъ, Катерина Львовна. — Меня даже мужчина не всякий одолѣвалъ.

— А ну-съ, позвольте ручку, если какъ это правда,—просилъ красивый молодецъ.

Катерина Львовна смущилась, но протянула руку.

— Ой, пусти кольцо: больно!—вскрикнула Катерина Львовна, когда Сергій сжалъ въ своей рукѣ ея руку, и свободною рукою толкнула его въ грудь.

Молодецъ выпустилъ хозяйкину руку и отъ ея толчка отлетѣлъ на два шага въ сторону.

— Н-да, вотъ ты и разсуждай, что женщина!—удивился мужичокъ.

— Нѣть, а вы позвольте такъ взяться, на-борки,—относился, раскидывая кудри, Серега.

— Ну, берись,—отвѣтила, развеселившись, Катерина Львовна и приподняла кверху свои локоточки.

Сергій обнялъ молодую хозяйку и прижалъ ея твердую грудь къ своей красной рубашкѣ. Катерина Львовна только было пошевельнула плечами, а Сергій приподнялъ ее отъ полу, подержалъ на рукахъ, сжалъ и посадилъ тихонько на опрокинутую мѣрку.

Катерина Львовна не успѣла даже распорядиться своею хваленою силою. Красная-раскрасная, поправила она, сидя на мѣркѣ, свалившуюся съ плеча шубку и тихо пошла изъ амбара, а Сергій молодецки кашлянулъ и крикнулъ:

— Ну, вы, олухи царя небеснаго! Сынь, не зѣвай, греблѣ не замай; будуть вершки, наши лишки.

Будто какъ онъ и вниманія не обратилъ на то, чтѣ сей-часъ было.

— Дѣвицуруѣ этотъ проклятый Сережка!—разсказывала, плетясь за Катериной Львовной, кухарка Аксинья.—Всѣмъ

ворь взялъ—что ростомъ, что лицомъ, что красотой. Каждую ты хочешь женчину сейчасъ онъ ее, подлецъ, улестить, и улестить, и до грѣха доведеть. А что ужъ непостоянный, подлецъ, прилепостоянный-непостоянный!

— А ты, Аксинья... того...—говорила, идучи впереди ея, молодая хозяйка:—мальчикъ-то твой у тебя живъ?

— Живъ, матушка, живъ—что ему! Гдѣ они не нужны-то кому, у тѣхъ они, вѣдь, живущи.

— И откуда это онъ у тебя?

— И-и! такъ, гулевой — на народѣ вѣдь живешь-то — гулевой.

— Давно онъ у насъ, этотъ молодецъ?

— Кто это? Сергѣй-то, что ли?

— Да.

— Съ мѣсяца будешь. У Кончоновыхъ допрежь служилъ, такъ прогнали его хозяинъ. — Аксинья понизила голосъ и досказала: — Сказываютъ, съ самой съ хозяйствкой въ любви былъ... Вѣдь вотъ, треанаѳимская его душа, какой смѣлый!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Теплые молочные сумерки стояли надъ городомъ. Зиновій Борисычъ еще не возвращался съ попрудки. Свекра Бориса Тимоѳеича тоже не было дома: поѣхалъ къ старому приятелю на именины, даже и къ ужину заказалъ себя не дожидаться. Катерина Львовна, отъ нечего дѣлать, рано повечерила, открыла у себя на вышкѣ окошечко и, прислонясь къ косяку, щелушила подсолнечные зернушки. Люди въ кухнѣ поужинали и расходились по двору спать: кто подъ сараи, кто къ амбарамъ, кто на высокіе душистые сѣновалы. Позже всѣхъ вышелъ изъ кухни Сергѣй. Онъ походилъ по двору, спустилъ цѣпныхъ собакъ, посвисталъ и, проходя мимо окна Катерины Львовны, поглядѣль на нее и низко ей поклонился.

— Здравствуй,—тихо сказала ему съ своей вышки Катерина Львовна, и дворъ смолкъ словно пустыня.

— Сударыня!—произнесъ кто-то черезъ двѣ минуты у запертой двери Катерины Львовны.

— Кто это?—испугавшись, спросила Катерина Львовна.

— Не извольте пугаться: это я, Сергѣй,—отвѣчалъ приказчикъ.

— Что тебѣ, Сергѣй, нужно?

— Дѣльце къ вамъ, Катерина Ильвовна, имѣю: просить вашу милость обѣ одной малости желаю: позвольте взойти на минуту.

Катерина Львовна повернула ключь и впустила Сергея.

— Что тебѣ?—спросила она, сама отходя къ окошку.

— Пришелъ къ вамъ, Катерина Ильвовна, попросить, пѣтъ ли у васъ какой-нибудь книжечки почитать. Скука очень одолѣваетъ.

— У меня, Сергей, нѣтъ никакихъ книжекъ: не читаю я ихъ,—отвѣчала Катерина Львовна.

— Такая скука,—жаловался Сергей.

— Чего тебѣ скучать!

— Помилуйте, какъ не скучать: человѣкъ я молодой, живемъ мы словно какъ въ монастырѣ какомъ, а впередъ видишь только то, что, можетъ-быть, до гробовой доски долженъ пропадать въ такомъ одиночество! Даже отчаянья иногда приходитъ.

— Чего жъ ты не женишься?

— Легко сказать, сударыня, жениться? На комъ тутъ жениться? Человѣкъ я незначительный; хозяйская дочь за меня не пойдетъ, а по бѣдности все у насть, Катерина Ильвовна, вы сами изволите знать, необразованность. Развѣ онѣ могутъ что обѣ любви понимать какъ слѣдуетъ! Вотъ изволите видѣть, какое ихнее и у богатыхъ-то понятіе. Вотъ вы, можно сказать, каждому другому человѣку, который себя чувствуетъ, въ утѣшеніе бы только для него были, а вы у нихъ теперь какъ канарейка въ клѣткѣ содержитесь.

— Да, мнѣ скучно,—сорвалось у Катерины Львовны.

— Какъ не скучать, сударыня, въ этакой жизни! Хоща бы даже и предметъ какой у васъ былъ со стороны, такъ, какъ другія прочія дѣлаютъ, такъ вамъ и видѣться съ нимъ даже невозможно.

— Ну, это ты... не то совсѣмъ. Мнѣ вотъ, когда бъ я себѣ ребеночка бы родила, вотъ бы мнѣ съ нимъ, кажется, и весело стало.

— Да вѣдь это, позвольте вамъ доложить, сударыня, вѣдь и ребенокъ тоже отъ чего-нибудь тоже бываетъ, а не такъ же. Нешто теперь по хозяевамъ столько лѣтъ живши и на этакую женскую жизнь по купечеству глядючи, мы тоже не понимаемъ? Пѣсня поется «безъ мила дружка обу-

яла грусть-тоска», и эта тоска, доложу вамъ, Катерина Ильвовна, собственному моему сердцу столь, могу сказать, чувствительна, что вотъ взялъ бы я его вырѣзаль булатнымъ ножомъ изъ моей груди и бросилъ бы къ вашимъ ножкамъ. И легче, сто разъ легче бы мнѣ тогда было...

У Сергея задрожала голосъ.

— Что это ты мнѣ тутъ про свое сердце сказываешь? Мнѣ это ни къ чему. Иди ты себѣ...

— Нѣть, позвольте, сударыня,—произнесъ Сергей, трепеща всѣмъ тѣломъ и дѣлая шагъ къ Катеринѣ Львовнѣ.— Знаю я, вижу и очень даже чувствую и понимаю, что и вамъ не легче моего на свѣтѣ; ну, только теперь,—произнесъ онъ однимъ придыханіемъ:—теперь все это состоить въ эту минуту въ вашихъ рукахъ и въ вашей власти.

— Ты чего? чего? Чего ты пришелъ ко мнѣ? Я за окно брошусь,—говорила Катерина Львовна, чувствуя себя подъ несносною властью неописуемаго страха, и схватилась рукою за подоконницу.

— Жизнь ты моя несравненная! на что тебѣ бросаться?—развѣзно прошепталъ Сергей и, оторвавъ молодую хозяйку отъ окна, крѣпко ее обнялъ.

— Охъ! охъ! пусти,—тихо стонала Катерина Львовна, слабѣя подъ горячими пощѣлухами Сергея, а сама мимоально прижималась къ его могучей фігурѣ.

Сергей поднялъ хозяйку, какъ ребенка, на руки и унесъ ее въ темный уголъ.

Въ комнатѣ наступило безмолвіе, нарушающееся только мѣрными тиканьемъ висѣвшихъ надъ изголовьемъ кровати Катерины Львовны карманныхъ часовъ ея мужа; но это ничему не мѣшало.

— Иди,—говорила Катерина Львовна черезъ полчаса, не смотря на Сергея и поправляя передъ маленьkimъ зеркальцемъ свои разбросанные волосы.

— Чего я таперича отсюда пойду,—отвѣчалъ ей счастливымъ голосомъ Сергей.

— Свекоръ двери запретъ.

— Эхъ, душа, душа! Да какихъ ты это людей знала, что имъ только дверью къ женщинѣ и дорога? Мнѣ что къ тебѣ, что отъ тебя—вездѣ двери,—отвѣчалъ молодецъ, указывая на столбы, поддерживающіе галлерею.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Зиновій Борисичъ еще недѣлю не бывалъ домой, и всю эту недѣлю жена его, что ночь, до самаго бѣла-свѣта гуляла съ Сергеемъ.

Много было въ эти ночи въ спальнѣ Зиновія Борисыча и винца изъ свекроваго погреба попито, и сладкихъ слостей поѣдено, и въ сахарныя хозяйствини уста поцѣловано, и черными кудрями на мягкому изголовью поиграно. Но не все дорога идетъ скатертью, бываютъ и перебоинки.

Не спалось Борису Тимофеичу: блуждалъ старай въ пестрой ситцевой рубашкѣ по тихому дому, подошелъ къ одному окну, подошелъ къ другому, смотрить, а по столбу изъ-подъ невѣсткина окна тихо-тихонько спускается къ низу красная рубаха молодца Сергѣя. Вотъ тебѣ и новость! Выскочилъ Борисъ Тимофеичъ и хватъ молодца за ноги. Тотъ развернулся-было, чтобы сѣзжть хозяина отъ всего сердца по уху, да и остановился, разсудивъ, что шумъ выйдетъ.

— Сказывай,—говорить Борисъ Тимофеичъ:—гдѣ быль, воръ ты этакой?

— А гдѣ бытъ, говорить:—тамъ меня, Борисъ Тимо-
еевичъ, сударь, ужъ нѣту.—отвѣчалъ Сергій.

— У невѣстки ночевалъ?

— Про то, хозяинъ, опять-таки я знаю, гдѣ ночевалъ; а ты вотъ что, Борисъ Тимофеичъ, ты моего слова послушай: что, отецъ, было, того назадъ не воротишь; не клади жь ты по крайности позору на свой купеческій домъ. Сказывай, чего ты отъ меня теперь хочешь? Какого ублаготворенія желаешь?

— Желаю я тебѣ, аспиду, пятьсотъ плетей закатить,— отвѣчалъ Борисъ Тимоѳеичъ.

— Моя вина — твоя воля, — согласился молодец. — Говори, куда идти за тобой, и тбъшься, пей мою кровь.

Повель Борисъ Тимоющичъ Сергѣя въ свою каменную кладовеньку, и стегалъ онъ его нагайкою, пока самъ изъ силь выбился. Сергѣй ни стона не подалъ, но зато половину рукава у своей рубашки зубами изѣмъ.

Бросиль Борисъ Тимоѳеичъ Сергѣя въ кладовой, пока взбитая въ чугунъ спина заживеть; сунулъ онъ ему глиняный кувшинъ водицы, заперъ его большими замкомъ и послать за сыномъ.

Но за сто верстъ на Руси по проселочнымъ дорогамъ еще и теперь не скоро ѿздятъ, а Катеринѣ Львовнѣ безъ Сергѣя и часъ лишній пережить уже невмоготу стало. Развернулась она вдругъ во всю ширь своей проснувшейся натуры и такая стала рѣшительная, что и унять ее нельзя. Провѣдала она, гдѣ Сергѣй, поговорила съ нимъ черезъ желѣзную дверь и кинулась ключей искать. — «Пусти, тя-тенька, Сергѣя», пришла она къ свекру.

Старикъ такъ и позеленѣлъ. Онъ никакъ не ожидалъ такой наглой дерзости отъ согрѣшившей, но всегда до сихъ поръ покорной невѣстки.

— Что ты это, такая-сякая,—началь онъ срамить Катерину Львовну.

— Пусти, говорить:—я тебѣ совѣстью заручаюсь, что еще худого промежъ настъ ничего не было.

— Худого, говорить,—не было!—а самъ зубами такъ и скрипитъ.—А чѣмъ вы тамъ съ нимъ по ночамъ зайл-ались? Подушки мужины перебивали?

А та все съ своимъ пристаетъ: пусти его да пусти.

— А коли такъ,—говорить Борисъ Тимоѳеевичъ: — такъ вотъ же тебѣ: мужъ прїѣдетъ, мы тебя, честную жену, своими руками на конюшнѣ выдеремъ, а его, подлеца, я завтра же въ острогъ отправлю.

Тѣмъ Борисъ Тимоѳеичъ и порѣшилъ; но только это рѣшеніе его не состоялось.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Поѣль Борисъ Тимоѳеичъ на ночь грибковъ съ кашницей, и началась у него изжога; вдругъ схватило его подъ ложечкой; рвоты страшныя поднялись, и къ утру онъ умеръ, и какъ-разъ такъ, какъ умирали у него въ амбарахъ крысы, для которыхъ Катерина Львовна всегда своими собственными руками приготавляла особое кушанье съ порученнымъ ея храненію опаснымъ бѣлымъ порошкомъ.

Выручила Катерина Львовна своего Сергѣя изъ стари-ковой каменной кладовой и безъ всякаго зазора отъ людскихъ очей уложила его отдохнуть отъ свекровыхъ побоевъ на мужиной постели; а свекра, Бориса Тимоѳеича, ничто же сумняся, схоронили по закону христіанскому. Див-нымъ дѣломъ, никому и невдомекъ ничего стало: умеръ

Борисъ Тимоѳеинъ да и умеръ, поѣвши грибковъ, какъ многие, поѣвши ихъ, умираютъ. Схоронили Бориса Тимоѳеича спѣшино, даже и сына не дождавшись, потому что время стояло на дворѣ теплое, а Зиновія Борисыча посланный не засталъ на мельницѣ. Тому лѣсъ случайно какъ-то дешево попался еще верстъ за сто: посмотрѣть его поѣхалъ и никому путемъ не объяснилъ, куда поѣхалъ.

Справившись съ этимъ дѣломъ, Катерина Львовна уже совсѣмъ разошлась. То она была баба неробкаго десятка, а тутъ и нельзя было разгадать, чтѣ такое она себѣ задумала; ходить козыремъ, всѣмъ по дому распоряжается, а Сергѣя такъ отъ себя и не отпускаетъ. Задивились-было этому по двору, да Катерина Львовна всякаго сумѣла найти своей щедрой рукой, и все это дивованье вдругъ сразу прошло.—«Зашла, смекали, у хозяйки съ Сергѣемъ алигорія, да и только.—Ее, моль, это дѣло, ее и отвѣтъ будетъ».

А тѣмъ временемъ Сергѣй выздоровѣль, разогнулся и опять молодецъ - молодцомъ, живымъ кречетомъ заходилъ около Катерины Львовны, и опять пошло у нихъ снова житѣе разлюбезное. Но время катилось не для нихъ однихъ: спѣшилъ домой изъ долгой отлучки и обиженный мужъ Зиновій Борисычъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

На дворѣ послѣ обѣда стоялъ пеклый жаръ, и проворная муха несносно докучала. Катерина Львовна закрыла окно въ спальнѣ ставнями и еще шерстянымъ платкомъ его изнутри завѣсила, да и легла съ Сергѣемъ отдохнуть на высокой купеческой постели. Спить и не спить Катерина Львовна, а только такъ ее и омариваетъ, такъ лицо потомъ и обливается, и дышится ей таково горячо и тягостно. Чувствуетъ Катерина Львовна, что пора ей и проснуться; пора идти въ садъ чай пить, а встать никакъ не можетъ. Наконецъ, кухарка подошла и въ дверь постучала: «самоваръ, говорить, подъ яблонью глухнетъ». Катерина Львовна насили прокинулась и ну, кота ласкать. А котъ промежду ея съ Сергѣемъ трется, такой славный, сѣрый, рослый да претолстющій-толстый... и усы какъ у оброчнаго бурмистра. Катерина Львовна заворощилась

въ его пушистой шерсти, а онъ такъ къ ней съ рыломъ и лѣзть: тычется тупой мордой въ упругую грудь, а самъ такую тихонькую пѣсню поетъ, будто ею про любовь разсказываетъ. — «И чего еще сюда этотъ котище зашелъ?» — думаетъ Катерина Львовна. — Сливки тутъ-то я на окнѣ поставила: безпремѣнно онъ, подлый, у меня ихъ вылопасть. Выгнать его», рѣшила она и хотѣла схватить кота и выбросить, а онъ, какъ тумантъ, такъ мимо пальцевъ у нея и проходитъ. — «Однако, откуда же этотъ котъ у насъ взялся? — разсуждаетъ въ кошмарѣ Катерина Львовна. — Никогда у насъ въ спальнѣ никакого кота не было, а тутъ, ишь, какой забрался!» Хотѣла она опять кота рукой взять, а его опять нѣтъ. — «О, да что жъ это такое? Уже это, полно, котъ ли?» подумала Катерина Львовна. Оторопь ее вдругъ взяла и сонъ, и дрему совсѣмъ отъ нея прогнала. Оглянулась Катерина Львовна по горницѣ — никакого кота нѣть, лежитъ только красивый Сергѣй и своей могучей рукой ея грудь къ своему горячему лицу прижимаетъ.

Встала Катерина Львовна, сѣла на постель, цѣловала — цѣловала Сергѣя, миловала — миловала его, поправила измятую перину и пошла въ садъ чай пить; а солнце ужъ совсѣмъ свалило, и на горячо прогрѣтую землю спускается чудный, волшебный вечеръ.

— Заспалась я, — говорила Аксинѣ Катерина Львовна и усѣлась на коврѣ подъ цвѣтущею яблонью чай пить. — И чтѣ это такое, Аксиньюшка, значить? — пытала она кухарку, вытирая сама чайнымъ полотенцемъ блузечко.

— Чѣдѣ, матушка?

— Не то что во снѣ, а вотъ совсѣмъ вотъ наяву котъ ко мнѣ все какой-то лѣзъ?

— И, чѣдѣ ты это?

— Право, котъ лѣзъ.

Катерина Львовна рассказала, какъ къ ней лѣзъ котъ.

— И зачѣмъ тебѣ его было ласкать?

— Ну, вотъ поди-жь! сама не знаю, зачѣмъ я его ласкала.

— Чуднѣ, право! — восклицала кухарка.

— Я и сама надивиться не могу.

— Это безпремѣнно въ родѣ какъ къ тебѣ кто-нибудь прибѣтъся, что ли, либо еще что-нибудь такое выйтѣть.

— Да что жъ такое именно?

— Ну, *именно* что—ужъ этого тебѣ никто, милый другъ, объяснить не можетъ, что именно, а только что — нибудь да будетъ.

— Мѣсяцъ все во снѣ видѣла, а потомъ этотъ котъ, — продолжала Катерина Львовна.

— Мѣсяцъ — это младенецъ.

Катерина Львовна покраснѣла.

— Не спосыпать ли сюда къ твоей милости Сергѣя? — попытала ее напрашивавшаяся въ наперсницы Аксинья.

— Ну, чтѣ-жъ, — отвѣтала Катерина Львовна: — и то правда, поди ишли его: я его чаемъ тутъ напою.

— То-то, я говорю, — что послать его, — порѣшила Аксинья и закачалась уткою къ садовой калиткѣ.

Катерина Львовна и Сергѣю про кота разсказала.

— Мечтанье одно, — отвѣталь Сергѣй.

— Съ чего жъ его, этого мечтанья, прежде, Сережа, никогда не было?

— Мало чего прежде не бывало! бывало, вонь, и на тебя только глазкомъ гляжу, да сохну, а ионче вона! Всѣмъ твоимъ бѣлымъ тѣломъ владѣю.

Сергѣй обнялъ Катерину Львовну, перекружила на воздухѣ и, шутя, бросилъ ее на пушистый коверь.

— Ухъ, голова закружилась, — заговорила Катерина Львовна. — Сережа! поди-ка сюда; сядь тутъ возлѣ, — позвала она, нѣжась и потягиваясь въ роскошной позѣ.

Молодецъ, нагнувшись, вошелъ подъ низкую яблонь, залитую бѣлыми цветами, и сѣть на коврѣ въ ногахъ у Катерины Львовны.

— А ты сохъ же по мнѣ, Сережа?

— Какъ же не сохъ.

— Какъ же ты сохъ? Расскажи мнѣ про это.

— Да какъ про это разскажешь? Развѣ можно про это изъяснить, какъ сохнешь? Тосковать.

— Отчего жъ я этого, Сережа, не чувствовала, что ты по мнѣ убиваешься? Это вѣдь, говорять, чувствуютъ.

Сергѣй промолчалъ.

— А ты для чего пѣсни пѣль, если тебѣ по мнѣ скучно было? что? Я вѣдь, небось, слыхала, какъ ты на голдареѣ пѣль, — продолжала спрашивать, ласкаясь, Катерина Львовна.

— Что жь, что пѣсни пѣль? Комаръ вонъ и весь свой вѣкъ поетъ, а вѣдь не съ радости,—отвѣчалъ сухо Сергій.

Вышла пауза. Катерина Львовна была полна высочайшаго восторга отъ этихъ признаній Сергія.

Ей хотѣлось говорить, а Сергій сунулся и молчалъ.

— Посмотри, Сережа, рай-то, рай-то какой!—воскликнула Катерина Львовна, смотря сквозь покрывающія ее густыя вѣти цвѣтущей яблони на чистое, голубое небо, на кото-ромъ стоялъ полный погожій мѣсяцъ.

Лунный свѣтъ, пробиваясь сквозь листья и цвѣты яблони, самыми причудливыми, сѣтѣмыми пятнышками разбѣгался по лицу и всей фигурѣ лежавшей навзничь Катерины Львовны; въ воздухѣ стояло тихо; только легонький теплый вѣтерочекъ чуть пошевеливалъ сонные листья и разносилъ тонкій ароматъ цвѣтушихъ травъ и деревьевъ. Дышалось чѣмъ-то томищимъ, располагающимъ къ лѣни, къ нѣгѣ и къ темнымъ желаніямъ.

Катерина Львовна, не получая отвѣта, опять замолчала и все смотрѣла сквозь блѣдно-розовые цвѣты яблони на небо. Сергій тоже молчалъ; только его не занимало небо. Охвативъ обѣими руками свои колѣни, онъ сосредоточенно глядѣлъ на свои сапожки.

Золотая ночь! Тишина, свѣтъ, ароматъ и благотворная, оживляющая теплота. Далеко за оврагомъ, позади сада, кто-то завелъ звучную пѣсню; подъ заборомъ въ густомъ черемушникѣ щелкнулъ и громко заколотилъ соловей; въ клѣткѣ на высокомъ шестѣ забредилъ сонный перепель, и жирная лошадь томно вздохнула за стѣнкой конюшни, а по выгону за садовымъ заборомъ пронеслась безъ всякаго шума веселая стая собакъ и исчезла въ безобразной, черной тѣни полуразвалившихся, старыхъ соляныхъ магазиновъ.

Катерина Львовна приподнялась на локоть и глянула на высокую садовую траву; а трава такъ и играетъ съ луннымъ блескомъ, дробящимся о цвѣты и листья деревьевъ. Всю ее позолотили эти прихотливые, свѣтлые пятнышки и такъ на ней и мелькаютъ, такъ и трепещутъ, словно живыя огненные бабочки, или какъ-будто вотъ вся трава подъ деревьями взялась лунной сѣткой и ходить изъ стороны въ сторону.

— Ахъ, Сережечка, прелестъ-то какая!—воскликнула, оглядѣвшись, Катерина Львовна.

Сергей равнодушно повелъ глазами.

— Что ты это, Сережа, такой нерадостный? Или ужъ тебѣ и любовь моя прискутила?

— Что пустое говорить!—отвѣчалъ сухо Сергей и, нагнувшись, лѣниво поцѣловалъ Катерину Львовну.

— Измѣнщикъ ты, Сережа,—ревновала Катерина Львовна:—необстоятельный.

— Я даже этихъ и словъ на свой счетъ не принимаю,—отвѣчалъ спокойнымъ тономъ Сергей.

— Что жъ ты меня такъ цѣлуешь?

Сергей совсѣмъ промолчалъ.

— Это только мужья съ женами,—продолжала, играя его кудрями, Катерина Львовна:—такъ другъ дружкѣ съ губъ пыль обиваются. Ты меня такъ цѣлуй, чтобы вотъ съ этой яблони, чтѣ надѣй на ми, молодой цвѣть на землю посыпался.

— Вотъ такъ, вотъ,—шептала Катерина Львовна, обвинаясь около любовника и цѣлую его съ страстнымъ увлечениемъ.

— Слушай, Сережа, чтѣ я тебѣ скажу,—начала Катерина Львовна, спустя малое время:—съ чего это всѣ въ одно слово про тебя говорятъ, что ты измѣнщикъ?

— Кому жъ это про меня брехать охота?

— Ну, ужъ говорять люди.

— Можетъ-быть, когда и измѣняль тѣмъ, какія совсѣмъ нестоющія.

— А на что, дуракъ, съ нестоющими связывался? съ нестоющею не надо и любви имѣть.

— Говори жъ ты! Нѣшь это дѣло тоже какъ по разсужденію дѣлается? Одинъ соблазнъ дѣйствуетъ. Ты съ нею совсѣмъ просто, безъ всякихъ этихъ намѣреній, заповѣдь свою преступилъ, а она ужъ и па шею тебѣ вѣшается. Вотъ и любовь!

— Слушай же, Сережа! я тамъ, какъ другія прочія были, ничего этого не знаю да и знать про это не хочу; ну, а только какъ ты меня на эту тепершнюю нашу любовь самъ улещалъ, и самъ знаешь, что сколько я пошла на нее своею охотою, столько жъ и твоей хитростью, такъ ежели ты, Сережа, мнѣ да измѣниши, ежели меня да на кого да нибудь, на какую ни на есть иную промѣниешь, я съ тобою, другъ мой сердечный, извини меня,—живая не разстанусь.

Сергей встрепенулся.

— Да вѣдь, Катерина Львовна! свѣтъ ты мой ясный!— заговорилъ онъ.— Ты сама посмотри, какое наше съ тобою дѣло. Ты вонъ такъ теперь замѣчаешь, что я задумчивъ нонче, а не разсудишь ты того, какъ мнѣ и задумчивымъ не быть. У меня, можетъ, все сердце мое въ запечиной крови затонуло!

— Говори, говори, Сережа, свое горе.

— Да что тутъ и говорить! Вотъ сейчасъ, вотъ первое дѣло, благослови Господи, мужъ твой наѣдетъ, а ты, Сергей Филиппычъ, и ступай прочь, отправляйся на задній дворъ къ музыкантамъ и смотри изъ-подъ сарая, какъ у Катерины Львовны въ спальнѣ свѣченка горить, да какъ она пуховую постельку перебиваетъ, да съ своимъ законнымъ Зиновіемъ съ Борисычемъ опочивать укладывается.

— Этого не будетъ!— весело протянула Катерина Львовна и махнула ручкой.

— Какъ такъ этого не будетъ! А я такъ понимаю, что совсѣмъ даже безъ этого вамъ невозможно. А я тоже, Катерина Ильвовна, свое сердце имью и могу свои муки видѣть.

— Да ну, полно тебѣ все обѣ этомъ.

Катеринѣ Львовнѣ было пріятно это выраженіе Сергеевої ревности, и она, разсмѣявшись, опять взялась за свои поцѣлуи.

— А повторительно,—продолжалъ Сергей, тихонько высвобождавъ свою голову изъ голыхъ по плечи рука Катерины Львовны:— повторительно надо сказать и то, что состояніе мое самое ничтожное тоже заставляетъ, можетъ, не разъ и не десять разъ разсудить такъ и иначе. Будь я, такъ скажу, равный вамъ, будь я какой баринъ или купецъ, я бы то-есть съ вами, Катерина Ильвовна, и ни въ жизнь мою не разстался. Ну, а такъ, сами вы посудите, что я за человѣкъ при васъ есть? Видючи теперь, какъ возьмутъ вѣсть за бѣлые ручки и поведутъ въ опочивальню, долженъ я все это переносить въ моемъ сердцѣ и, можетъ, даже самъ для себя чрезъ то на цѣлый вѣкъ презрѣніемъ человѣкомъ сдѣлаться. Катерина Ильвовна! Я вѣдь не какъ другіе прочіе, для котораго все равно, абы ему отъ женщины только радость получить. Я чувствую, какова есть любовь и какъ она черной змѣю сосеть мое сердце...

— Что ты это мнѣ все про такое толкуешь? — перебила его Катерина Львовна.

Ей стало жаль Сергея.

— Катерина Ильвовна! какъ про это не толковать-то? Какъ не толковать-то? Когда, можетъ, все ужъ имѣ объяснено и расписано, когда, можетъ, не только-что въ какомъ-нибудь долгомъ разстояніи, а даже самаго завтрашняго числа Сергея здѣсь ни духу, ни паху на этомъ дворѣ не останется?

— Нѣть, нѣть, и не говори про это, Сережа! Этого ни за что не будеть, чтобы я безъ тебя осталась, — успокаивала его все съ тѣми же ласками Катерина Львовна. — Если только пойдеть на что дѣло... либо ему, либо мнѣ не жить, а ужъ ты со мной будешь.

— Никакъ этого не можетъ, Катерина Ильвовна, послѣдователь, — отвѣчалъ Сергей, печально и грустно качая своею головою. — Я жизни моей не радъ самъ за этой любовью. Любиль бы то, чтѣ не больше самого меня стѣтъ, тѣмъ бы и доволенъ бытъ. Васъ ли мнѣ съ собою въ постоянной любви имѣть? Нешто это вамъ почетъ какой — полюбовницей бытъ? Я бъ хотѣлъ предъ святымъ, предвѣчнымъ храмомъ мужемъ вамъ бытъ: такъ тогда я, хоть завсегда млаже себя передъ вами считая, все-таки могъ бы по крайности публично всѣмъ обличить, сколь я у своей жены поченіемъ своимъ къ ней заслуживаю...

Катерина Львовна была отуманена этими словами Сергея, этою его ревностью, этимъ его желаніемъ жениться на ней, — желаніемъ, всегда пріятнымъ женщинѣ, несмотря на самую короткую связь ея съ человѣкомъ до женитьбы. Катерина Львовна теперь готова была за Сергея въ огонь, въ воду, въ темницу и на крестъ. Онъ влюбилъ ее въ себя до того, что мѣры ея преданности ему не было никакой. Она обезумѣла отъ своего счастія; кровь ея кипѣла, и она не могла болѣе ничего слушать. Она быстро зажала ладонью Сергеевы губы и, прижавъ къ груди своей его голову, заговорила:

— Ну, ужъ я знаю, какъ я тебя и купцомъ сдѣлаю, и жить съ тобою совсѣмъ какъ слѣдуетъ стану. Ты только не печаль меня попусту, пока еще дѣло наше не пришло до насъ.

И опять пошли поцѣлуи да ласки.

Старому приказчику, спавшему въ сараѣ, сквозь крѣпкій сонъ сталь слышаться въ ночной тишинѣ то шопотъ съ тихимъ смѣхомъ, будто гдѣ шаловливыя дѣти совѣтуются, какъ злѣе надѣ хилою старостью посмѣяться; то хохотъ звонкій и веселый, словно кого озерныя русалки щекочутъ. Все это, плескаясь въ лунномъ свѣтѣ, да покатываясь по мягкому ковру, раззвилась и играла Катерина Львовна съ молодымъ мужнинымъ приказчикомъ. Сыпался-сыпался на нихъ молодой бѣлый цвѣтъ съ кудрявой яблонки, да ужъ и пересталъ сыпаться. А тѣмъ временемъ короткая лѣтняя ночь проходила, луна спряталась за крутую крышу высокихъ амбаровъ и глядѣла на землю искоса тусклѣ и тусклѣ; съ кухонной крыши раздался пронзительный кошачій душтъ; потомъ послышались плевокъ, сердитое фырканье и вслѣдъ затѣмъ два или три кота, оборвавшись, съ шумомъ покатились по приставленному къ крышѣ пуку теса.

— Пойдемъ спать,—сказала Катерина Львовна медленно, словно разбитая, приподнимаясь съ ковра, и какъ лежала въ одной рубашкѣ да въ бѣлыхъ юбкахъ, такъ и пошла по тихому, до мертвеннности тихому купеческому двору, а Сергѣй понесъ за нею коверчикъ и блузу, которую она, расшалившись, сбросила.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Только Катерина Львовна задула свѣчу и совсѣмъ раздѣтая улеглась на мягкой пуховикѣ, сонъ такъ и окуталъ ея голову. Заснула Катерина Львовна, наигравшись и наѣшившись, такъ крѣпко, что и нога ея спить, и рука спить; но опять слышить она сквозь сонъ, будто опять дверь отворилась и на постель тяжелымъ осметкомъ упала давицній котъ.

«Да что же это въ самомъ дѣлѣ за наказаніе съ этимъ котомъ?—разсуждаетъ усталая Катерина Львовна.—Дверь теперь ужъ нарочно я сама своими руками на ключь заперла, окно закрыто, а онъ опять тутъ. Сейчасъ его выкину»,—собиралась встать Катерина Львовна, да сонные руки и ноги ея не служатъ ей; а котъ ходить по всей по ней и таково-то мудрено курнычить, опять будто слова человѣческія выговариваетъ. По Катеринѣ Львовнѣ по всей даже мурашки стали бѣгать.

«Нѣтъ,—думаетъ она,—больше ничего, какъ непремѣнно

завтра надо богоявленской воды взять на кровать, потому что премудреный какой-то котъ ко мнѣ повадился».

А котъ курны-мурны у нея надъ ухомъ, уткнулся мордою да и выговариваетъ: «какой же, говорить, я котъ! Съ какой стати! Ты это очень умно, Катерина Львовна, разсуждаешь, что совсѣмъ я не котъ, а я именитый купецъ Борисъ Тимоѳеичъ. Я только тѣмъ теперь плохъ сталъ, что у меня всѣ мои кипечки внутри потрескались отъ неувѣстушкинаго отъ угощенія. Съ того, мурлычить, я весь, вотъ, и поубавился, и котомъ теперь показываюсь тому, кто мало обо мнѣ разумѣеть, что я такое есть въ самомъ дѣлѣ. Ну, какъ же ионче ты у насъ живешь-можешь, Катерина Львовна? Какъ свой законъ вѣрно соблюдаешь? Я и съ кладбища нарочно пришелъ поглядѣть, какъ вы съ Сергеемъ Филиппичемъ мужчину постельку согрѣваете. Курны-мурны, я, вѣдь, ничего не вижу. Ты меня не бойся: у меня, видишь, отъ твоего угощенія и глазки повылѣзли. Глянь мнѣ въ глаза-то, дружокъ, не бойся!»

Катерина Львовна глянула и закричала благимъ матомъ. Между ней и Сергеемъ опять лежить котъ, а голова у того кота Бориса Тимоѳеича во всю величину, какъ была у покойника, и вместо глазъ по огненному кружку въ разныя стороны такъ и вертится, такъ и вертится!

Проснулся Сергей, успокоилъ Катерину Львовну и опять заснуль; но у нея весь сонъ прошелъ—и кстати.

Лежитъ она съ открытыми глазами и вдругъ слышитъ, что на дворъ будто кто-то черезъ ворота перелѣзъ. Вотъ и собаки метнулись—было, да и стихли,—должно-быть, ласкаться стали. Вотъ и еще прошла минута, и желѣзная климка внизу щелкнула и дверь отворилась.—«Либо мнѣ все это слышится, либо это мой Зиновій Борисычъ вернулся, потому что дверь его запаснымъ ключомъ отпerta», подумала Катерина Львовна и торопливо толкнула Сергея.

— Слушай, Сережа,—сказала она, и сама приподнялась на локоть и насторожила ухо.

По лѣстницѣ тихо, съ ноги на ногу осторожно переступающи, дѣйствительно, кто то приближался къ запертой двери спальни.

Катерина Львовна быстро спрыгнула въ одной рубашкѣ съ постели и открыла оконце. Сергей въ ту же минуту босикомъ выпрыгнулъ на галлерею и обхватилъ ногами

столбъ, по которому не первый разъ спускался изъ хозяйкиной спальни.

— Нѣтъ, не надо, не надо! Ты прилягъ тутъ... не отходи далеко,—пропшептала Катерина Львовна и выкинула Сергею за окно его обувь и одежду, а сама опять юркнула подъ одѣяло и дожидается.

Сергей послушался Катерины Львовны: онъ не шмыгнуль по столбу внизъ, а пріоутися подъ лубкомъ на галлеречкѣ.

Катерина Львовна тѣмъ временемъ слышитъ, какъ мужъ подошелъ къ двери, и, утаивая дыханіе, слушаетъ. Ей даже слышно, какъ учащенію стукаетъ его ревнивое сердце; но не жалость, а злой смѣхъ разбираетъ Катерину Львовну.

«Ищи вчерашніго дня», думаетъ она себѣ, улыбаясь и дыша непорочнымъ младенцемъ.

Это продолжалось минутъ десять; но, наконецъ, Зиновію Борисычу надоѣло стоять за дверью да слушать, какъ жена спить: онъ постучался.

— Кто тамъ?—не совсѣмъ скоро и будто какъ соннымъ голосомъ окликнула Катерина Львовна.

— Свои,—отозвался Зиновій Борисычъ.

— Это ты, Зиновій Борисычъ?

— Ну, я! Будто ты не слышишь!

Катерина Львовна вскочила, какъ лежала, въ одной рубашкѣ, впустила мужа въ горницу и опять нырнула въ теплую постель.

— Что-й-то передъ зарей холодно становится,—произнесла она, укутываясь одѣяломъ.

Зиновій Борисычъ вошелъ, озираясь, помолился, зажегъ свѣчу и еще оглядѣлся.

— Какъ живешь-можешь?—спросилъ онъ супругу.

— Ничего,—отвѣчала Катерина Львовна и, привставая, начала надѣвать распашную ситцевую блузу.

— Самоваръ, небось, поставить?—спросила она.

— Ничего, вскричите Аксинью, пусть поставитъ.

Катерина Львовна нахватила на босу ногу башмачки и выбѣжала. Съ полчаса ея назадъ не было. Въ это время она сама раздула самоварчикъ и тихонько запорхнула къ Сергею на галлерейку.

— Сиди тутъ,—шепнула она.

— Докуда же сидѣть?—также шепотомъ спросилъ Сережа.

— О, да какой же ты безтолковый! Сиди, докуда я скажу.

И Катерина Львовна сама посадила его на старое место.

А Сергею отсюда съ галлереи все слышно, что въ спальнѣ происходит. Онъ слышитъ опять, какъ стукнула дверь и Катерина Львовна снова взошла къ мужу. Все отъ слова до слова слышно.

— Чѣдѣ ты тамъ возилась долго?—спрашиваетъ жену Зиновій Борисычъ.

— Самоваръ ставила,—отвѣтываетъ она спокойно.

Вышла пауза. Сергею слышно, какъ Зиновій Борисычъ вѣшаешь на вѣшалку свой сюртукъ. Вотъ онъ умывается, фыркаетъ и брызжетъ во всѣ стороны водою; вотъ спросилъ полотенце; опять начинаются рѣчи.

— Ну, какъ же это вы тятеньку склонили?—освѣдомляется мужъ.

— Такъ,—говорить жена:—они померли, ихъ и склонили.

— И чѣдѣ это за удивительность такая!

— Богъ его знаетъ,—отвѣтываетъ Катерина Львовна и застучала чашками.

Зиновій Борисычъ грустный ходилъ по комнатѣ.

— Ну, а вы тутъ какъ свое время провождали?—разспрашиваетъ опять жену Зиновій Борисычъ.

— Наши радости-то, чай, всякому известны: по баламъ не Ѵздимъ и по тіатрамъ столько же.

— А словно радости-то у васть и къ мужу немногого,—искоса поглядывая, заводиль Зиновій Борисычъ.

— Не молоденькие тоже мы съ вами, чтобы такъ безъ ума, безъ разума намъ встрѣчаться. Какъ еще радоваться? Я вотъ хлопочу, бѣгаю для вашего удовольствія.

Катерина Львовна опять выбѣжало самоваръ взять и опять заскочила къ Сергею, дернула его и говорить: «не зѣвай, Сережа!»

Сергей путемъ не зналъ, къ чему все это будетъ, но, однако, стала наготовѣ.

Вернулась Катерина Львовна, а Зиновій Борисычъ стоитъ колѣнями на постели и вѣшаешь на стѣнку надъ изголовьемъ свои серебряные часы съ бисернымъ шнурочкомъ.

— Для чего это вы, Катерина Львовна, въ одинакомъ

положеніи постель на-дѣо разостлали? — какъ-то мудрено вдругъ спросилъ онъ жену.

— А вѣсъ все дожидала, — спокойно глядя на него, отвѣтила Катерина Львовна.

— И на томъ благодаримъ вѣсъ покорно... А вотъ этотъ предметъ теперь откуда у вѣсъ на перинкѣ взялся?

Зиновій Борисычъ поднялъ съ простыни маленький шерстяной поясочекъ Сергія и держалъ его за кончикъ передъ жениными глазами.

Катерина Львовна нимало не задумалась.

— Въ саду, говорить, — нашла да юбку себѣ подвязала.

— Да! — произнесъ съ особымъ ударениемъ Зиновій Борисычъ: — мы тоже про ваши про юбки кое-что слыхали.

— Что жъ это вы слыхали?

— Да все про дѣла ваши про хорошія.

— Никакихъ моихъ дѣлъ такихъ нѣту.

— Ну, это мы разберемъ, все разберемъ, — отвѣчалъ, подвигая женѣ выпитую чашку, Зиновій Борисычъ.

Катерина Львовна промолчала.

— Мы эти ваши дѣла, Катерина Львовна, всѣ въявь произведемъ, — проговорилъ еще послѣ долгой паузы Зиновій Борисычъ, поведя на свою жену бровями.

— Не болѣно-то ваша Катерина Львовна пужлива. Не такъ очень она этого пужается, — отвѣтила та.

— Чѣд! чѣд! — повыся голосъ, окрикнуль Зиновій Борисычъ.

— Ничего — проѣхали, — отвѣчала жена.

— Ну, ты гляди у меня, того! Что-то ты болѣно рѣчица здѣсь стала!

— А съ чего мнѣ и рѣчицой не быть? — отзвалась Катерина Львовна.

— Больше бы за собой смотрѣла.

— Нечего мнѣ за собой смотрѣть. Мало кто вамъ длиннымъ языкомъ чего наязычитъ, а я должна надъ собой всякия надругательства сносить! Вотъ еще новости тоже!

— Не длинные языки, а тутъ вѣрно про ваши амуры-то известно.

— Про какіе-такіе мои амуры? — крикнула, непрітворно вспыхнувъ, Катерина Львовна.

— Знаю я, про какіе.

— А знаете, такъ что жъ: вы яснѣе сказывайте!

Зиновій Борисичъ промолчалъ и опять подвинулъ жѣ пустую чашку.

— Видно, и говорить-то не про што,—отозвалась съ презрѣнiemъ Катерина Львовна, азартно бросивъ на блюдце мужу чайную ложечку.—Ну, сказывайте, ну, про кого вамъ доносили? кто такой есть мой передъ вами полюбовникъ?

— Узнаете, не спѣшите очень.

— Чѣдъ, вамъ про Сергія, что ли, что-нибудь набрехано?

— Узнаемъ-сь, узнаемъ, Катерина Львовна. Нашей надъ вами власти никто не снималь и снять никто не можетъ... Сами заговорите...

— И-ихъ! терпѣть я этого не могу,—скрипнувъ зубами, вскрикнула Катерина Львовна и, поблѣднѣвъ какъ полотно, неожиданно выскочила за двери.

— Ну, вотъ онъ,—произнесла она черезъ нѣсколько секундъ, вводя въ комнату за рукавъ Сергія.—Разспрашивайте и его, и меня, чѣдъ вы такое знаете. Можетъ, что-нибудь еще и больше того узнаешь, чѣдъ тебѣ хочется?

Зиновій Борисичъ даже растерялся. Онъ глядѣлъ то на стоявшаго у притолки Сергія, то на жену, спокойно присѣвшую, со скрещенными руками, на краю постели, и ничего не понималъ, къ чemu это близится.

— Чѣдъ ты это, змѣя, дѣлаешь? — насилиу собрался онъ выговорить, не поднимаясь съ кресла.

— Разспрашивай, о чемъ такъ знаешь-то хорошо,—отвѣчала дерзко Катерина Львовна.—Ты меня бойломъ задумаль пужать,—продолжала она, значительно моргнувъ глазами:—такъ не бывать же тому никогда; а чѣдъ я, можетъ, и допрѣжъ твоихъ этихъ обѣщаніевъ знала, чѣдъ надъ тобой сдѣлать, такъ я то сдѣлаю.

— Что это? вонъ! — крикнулъ Зиновій Борисичъ на Сергія.

— Какъ же!—передразнила Катерина Львовна.

Она проворно замкнула дверь, сунула ключъ въ карманъ и опять привалилась на постели въ своей распашонкѣ.

— Ну-ка, Сережечка, поди-ка, поди, голубчикъ,—помагила она къ себѣ приказчика.

Сергій тряхнулъ кудрями и смѣло присѣлъ около хозяйки.

— Господи! Боже мой! Да что жъ это такое? Что жъ вы это, варвары?!—вскрикнула, весь побагровѣвъ и поднимаясь съ кресла, Зиновій Борисичъ.

— Что? Иль не любо? Глянь-ко, глянь, мой ясень со-
колъ, каково прекрасно!

Катерина Львовна засмѣялась и страстно поцѣловала
Сергѣя при мужѣ.

Въ это же мгновеніе на щекѣ ея запылала оглушитель-
ная пощечина, и Зиновій Борисычъ кинулся къ открытому
окошку.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

— А-а, такъ-то!.. ну, пріятель дорогой, благодарствуй.
Я этого только и дожидалась!—вскрикнула Катерина Львов-
на.—Ну, теперь, видно, ужъ... будь не по-моему и не по-
твоему...

Однимъ движеніемъ она отбросила отъ себя Сергѣя, бы-
стро кинулась на мужа и, прежде чѣмъ Зиновій Борисычъ
успѣлъ доскочить до окна, схватила его сзади своими тон-
кими пальцами за горло и, какъ сырой конопляный снопъ,
бросила его на полъ.

Тяжело громыхнувшись и стукнувшись со всего размаха
затылкомъ объ полъ, Зиновій Борисычъ совсѣмъ обезумѣлъ.
Онъ никакъ не ожидалъ такой скорой развязки. Первое на-
силие, употребленное противъ него женою, показало ему,
что она рѣшилась на все, лишь бы только отъ него изба-
виться, и что теперешнее его положеніе до крайности опасно.
Зиновій Борисычъ сообразилъ все это мигомъ въ моментъ
своего паденія и не вскрикнулъ, зная, что голосъ его не
достигнетъ ни до чьего уха, а только еще ускорить дѣло.
Онъ молча повелъ глазами и остановилъ ихъ, съ выраже-
ніемъ злобы, упрека и страданія, на женѣ, тонкіе пальцы
которой крѣпко сжимали его горло.

Зиновій Борисычъ не защищался, руки его, съ крѣпко
стиснутыми кулаками, лежали вытянутыми и судорожно по-
дергивались. Одна изъ нихъ была вовсе свободна, другую—
Катерина Львовна придавила къ полу колѣномъ.

— Подержи его,—шепнула она равнодушно Сергѣю, сама
поворачиваясь къ мужу.

Сергѣй сѣлъ на хозяина, придавилъ обѣ его руки колѣ-
нями и хотѣлъ перехватить подъ руками Катерины Львовны
за горло, но въ это же мгновеніе самъ отчаянно вскрик-
нулъ. При видѣ своего обидчика, кровавая месть припод-
няла въ Зиновіи Борисычѣ всѣ послѣднія его силы: онъ

страшно рванулся, выдернувшись изъ-подъ Сергеевыхъ колѣнь свои придавленныи руки и, вѣшившись ими въ черныя кудри Сергея, какъ звѣрь, закусилъ зубами его горло. Но это было не надолго: Зиновій Борисычъ тотчасъ же тяжело застоналъ и уронилъ голову.

Катерина Львовна, блѣдная, почти не дыша вовсе, стояла надъ мужемъ и любовникомъ; въ ея правой руцѣ былъ тяжелый литой подсвѣчникъ, который она держала за верхній конецъ, тяжелою частью книзу. По виску и щекѣ Зиновія Борисыча тоненьkimъ шнурочкомъ бѣжала алая кровь.

— Попа... — тупо простональ Зиновій Борисычъ, съ омерзѣniемъ откидываясь головою какъ можно далѣе отъ сидящаго на немъ Сергея. — Исповѣдаться, — произнесъ онъ еще невнятнѣе, задрожавъ и косясь на сгущающуюся подъ волосами теплую кровь.

— Хорошъ и такъ будешь, — прошептала Катерина Львовна.

— Ну, полно съ нимъ копаться, — сказала она Сергею: — перехвати ему хорошенъко горло.

Зиновій Борисычъ захрипѣлъ.

Катерина Львовна нагнулась, сдавила своими руками Сергеевы руки, лежавшія на мужчиномъ горлѣ, и ухомъ прилегла къ его груди. Черезъ пять тихихъ минутъ она приподнялась и сказала: «довольно, будеть съ него».

Сергей тоже всталъ и отдулся. Зиновій Борисычъ лежалъ мертвый, съ передавленнымъ горломъ и разсѣченнымъ вискомъ. Подъ головой съ лѣвой стороны стояло небольшое пятнышко крови, которая, однако, болѣе уже не лилась изъ запекшейся и завалившейся волосами ранки.

Сергей снесъ Зиновія Борисыча въ погребокъ, устроенный въ подпольѣ той же каменцой кладовой, куда еще такъ недавно запиралъ самого его, Сергея, покойный Борис Тимоѳеичъ, и вернулся на вышку. Въ это время Катерина Львовна, засучивъ рукава распашонки и высоко подоткнувъ подолъ, тщательно замыкала мочалкою съ мыломъ кровавое пятно, оставленное Зиновіемъ Борисычемъ на полу своей опочивальни. Вода еще не остыла въ самоварѣ, изъ которого Зиновій Борисычъ распаривалъ отравленнымъ чаемъ свою хозяйствскую душеньку, и пятно вымылось безъ всякаго слѣда.

Катерина Львовна взяла мѣдную полоскателную чашку и намыленную мочалку.

— Ну-ка, свѣти,—сказала она Сергѣю, идучи къ двери.— Ниже, ниже свѣти,—говорила она, внимательно осматривая всѣ половицы, по которымъ Сергѣй долженъ быть тащить Зиновія Борисыча до самой ямы.

Только на двухъ мѣстахъ на крашеномъ полу были два крошечныхъ пятнышка величиною въ вишню. Катерина Львовна потерла ихъ мочалкою, и они исчезли.

— Вотъ тебѣ, не лазь къ женѣ воромъ, не подкарауливай,—произнесла Катерина Львовна, распрымляясь и оглянувшись въ сторону кладовой.

— Теперь шабашъ,—сказалъ Сергѣй и вздрогнулъ отъ звука собственного голоса.

Когда они вернулись въ спальню, тонкая румяная полоска зари прорѣзывалась на востокѣ и, золотя легонько одѣтые цвѣтомъ яблони, заглядывала сквозь зеленые палки садовой рѣшетки въ комнату Катерины Львовны.

По двору, въ накинутомъ на плечи полушубкѣ, крестясь и позѣвывая, плелся изъ сарая въ кухню старый приказчикъ.

Катерина Львовна осторожно дернула ходившую на веверочки ставню и внимательно оглянула Сергѣя, какъ бы желая прозрѣть его душу.

— Ну, вотъ ты теперь и купецъ,—сказала она, положивъ Сергѣю на плечи свои бѣлые руки.

Сергѣй ничего ей не отвѣтилъ.

Губы Сергѣя дрожали и самого его била лихорадка. У Катерины Львовны только уста были холодны.

Черезъ два дня у Сергѣя на рукахъ явились большія мозоли отъ лома и тяжелаго заступа; зато ужъ Зиновій Борисычъ въ свое мѣсто погребкѣ былъ такъ хорошо прибранъ, что безъ помощи его вдовы или ея любовника не отыскать бы его никому до общаго воскресенія.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Сергѣй ходилъ, замотавъ горло пунсовымъ платкомъ и жаловался, что у него что-то завалило горло. Между тѣмъ, прежде чѣмъ у Сергѣя на горлѣ зажили мѣтины, положенные зубами Зиновія Борисыча, мужа Катерины Львовны хватились. Самъ Сергѣй еще чаще прочихъ началь про него поговаривать. Присядеть вечеркомъ съ молодцами на лавку около калитки и заведеть: «что-й-то, однако, исправди, ребята, нашего хозяина по-сю пору нѣтути?»

Молодцы тоже дивятся.

А тут съ мельницы пришло извѣстіе, что хозяинъ на-
пилъ коней и давно отѣхалъ ко двору. Ямщикъ, который
его возилъ, сказывалъ, что Зиновій Борисычъ бытъ будто
въ разстройствѣ и отпустилъ его какъ-то чудно: не доѣзжая
до города версты съ три, всталъ подъ монастыремъ съ те-
лѣги, взялъ кису и пошелъ. Услыхавъ такой рассказъ, и
еще пуще всѣ вздивовались.

Пропалъ Зиновій Борисычъ, да и только.

Пошли розыски, но ничего не открывалось: купецъ какъ
въ воду канулы. По показанію арестованнаго им лица узнали
только, что надъ рѣкою подъ монастыремъ купецъ всталъ
и пошелъ. Дѣло не выяснилось, а тѣмъ временемъ Кате-
рина Львовна ноживала себѣ съ Сергеемъ, по вдовьему
положенію, на свободѣ. Сочинили наугадъ, что Зиновій Бо-
рисычъ то тамъ, то тамъ, а Зиновій Борисычъ все не воз-
вращался, и Катерина Львовна лучше всѣхъ знала, что
возвратиться ему никакъ невозможно.

Прошелъ такъ и мѣсяцъ, и другой, и третій, и Катерина
Львовна почувствовала себя въ тягости.

— Нашъ капиталъ будетъ, Сережечка: есть у меня на-
слѣдникъ,—сказала она Сергею и пошла жаловаться Думѣ,
что, такъ и такъ, она чувствуетъ себя, что—беременна, а
въ дѣлахъ застой начался: пусть ее ко всему допустятъ.

Не пропадать же коммерческому дѣлу. Катерина Львовна
жена своему мужу законная; долговъ въ виду нѣть, ну и
следуетъ, стало-быть, допустить ее. И допустили.

Живеть Катерина Львовна, царствуетъ, и Серегу по ней
ужъ Сергеемъ Филиппичемъ стали звать; а тутъ—хлопъ, ни
оттуда, ни отсюда, новая напасть. Пишутъ изъ Ливенъ къ
городскому головѣ, что Борисъ Тимоѳеевичъ торговалъ не
на весь свой капиталъ, что болѣе чѣмъ его собственныхъ
денегъ у него въ оборотѣ было денегъ его малолѣтняго
племянника, Федора Захарова Ляминъ, и что дѣло это надо
разобрать и не давать въ руки одной Катеринѣ Львовнѣ.
Пришло это извѣстіе, поговорилъ о немъ голова Катеринѣ
Львовнѣ, а этакъ черезъ недѣлю баць,—изъ Ливенъ пріѣз-
жаетъ старушка съ небольшимъ мальчикомъ.

— Я, говорить,—покойному Борису Тимоѳеичу сестра
двоюродная, а это—мой племянникъ Федоръ Ляминъ,

Катерина Львовна ихъ приняла.

Сергей, наблюдая со двора этот пріездъ и приемъ, сдѣланный Катериною Львовною пріезжимъ, поблѣднѣлъ какъ пурпур.

— Чего ты?—спросила его хозяйка, замѣтивъ его мертвую блѣдность, когда онъ вошелъ вслѣдъ за пріезжими и, разглядывая ихъ, остановился въ передней.

— Ничего,—отвѣчалъ, поворачиваясь изъ передней въ сѣни, приказчикъ.—Думаю, сколь эти Ливны диковы,—договорилъ онъ со вздохомъ, затворяя за собой сѣничную дверь.

— Ну, а какъ же теперь быть?—спрашивала Катерину Львовну Сергей Филиппычъ, сидя съ нею ночью за самоваромъ.—Теперь, Катерина Ильвовна, выходить все наше съ вами дѣло прахъ.

— Отчего такъ прахъ, Сережа?

— Потому, что это все теперь въ раздѣль пойдетъ. Надѣчмъ же тутъ надѣ пустымъ дѣломъ будетъ хохайничать?

— Нѣшь съ тебя, Сережа, мало будетъ?

— Да не о томъ, что съ меня; а я въ тѣмъ только сумливаюсь, что счастья ужъ того намъ не будетъ?

— Какъ такъ? За что намъ, Сережа, счастья не будетъ?

— Потому, какъ по любви моей къ вамъ, я желалъ бы, Катерина Ильвовна, видѣть васъ настоящей дамой, а не то, что какъ вы доиржь сего жили,—отвѣчалъ Сергей Филиппычъ.—А теперь наоборотъ того выходить, что при уменьшениі капитала мы и даже противъ прежняго должны гораздо ниже еще произойти.

— Да нѣшь мнѣ это, Сережечка, нужно?

— Оно, точно, Катерина Ильвовна, что вамъ, можетъ-быть, это и совсѣмъ не въ интересѣ, ну, только для меня, какъ я васъ уважаю, и опять же супротивъ людскихъ глазъ, подыхъ и завистливыхъ, ужасно это будетъ больно. Вамъ тамъ какъ будетъ угодно, разумѣется, а я такъ своимъ соображеніемъ располагаю, что никогда и черезъ эти обстоятельства счастливѣть быть не могу.

И пошелъ, и пошелъ Сергей играть Катеринѣ Львовнѣ на эту ноту, что стала она черезъ Федю Лямина самыи несчастнымъ человѣкомъ, лишенъ будучи возможности возвѣличить и отличить ее, Катерину Львовну, предо всѣмъ своимъ купечествомъ. Сводиль это Сергей всякий разъ на то, что не будь этого Феди, то родитъ она, Катерина Львовна, ребенка до девяти мѣсяцевъ послѣ пропажи мужа,

достанется ей весь капитал и тогда счастью ихъ конца-
мѣры не будетъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

А потомъ вдругъ Сергій и пересталъ совсѣмъ говорить о наследникѣ. Какъ только прекратились о немъ рѣчи въ устахъ Сергеевыхъ, такъ засѣль Федя Ляминъ и въ умъ, и въ сердце Катерины Львовны. Даже задумчивая и къ самому Сергею неласковая она стала. Спить ли, по хозяйству ли выйтѣть, или Богу молиться станеть, а на умѣ все у нея одно: «Какъ же это? за что, въ самомъ дѣлѣ, должна я черезъ него лишиться капитала? Столько я страдала, столько грѣха на свою душу приняла,—думаетъ Катерина Львовна,—а онъ безъ всякихъ хлопотъ пріѣхалъ и отнимаетъ у меня... И добро бы человѣкъ, а то дитя, мальчикъ...»

На дворѣ стали ранніе заморозки. О Зиновіи Борисычѣ, разумѣется, никакихъ слуховъ ни откуда не приходило. Катерина Львовна полнѣла и все ходила задумчивая; по городу на ея счетъ въ барабаны барабанили, добираясь, какъ и отчего молодая Измайлова все нерѣдица была, все худѣла, да чаврѣла, и вдругъ спереди пухнуть пошла. А отроческую ю сонаследницу Федя Ляминъ въ легкомъ бѣличьемъ тулуясь погуливала по двору да ледокъ по калдѣникамъ поламывала.

— Ну, Феодоръ Игнатичъ! ну, купецкій сынъ!—кричить, бывало, на него, пробѣгая по двору, кухарка Аксинья.— Пристало это тебѣ, купецкому-то сыну, да въ лужахъ копаться?

А сонаследникъ, смущавшій Катерину Львовну съ ея предметомъ, побрыкивалъ себѣ безмятежнымъ козликомъ и еще безмятежнѣ спаль супротивъ пѣстовавшей его бабушки, не думая и не помышляя, что онъ кому-нибудь перешель дорогу или поубавилъ счастья.

Наконецъ, набѣгалъ себѣ Федя вѣтреную оспу, а къ ней привязалась еще простудная боль въ груди, и мальчикъ слегъ. Лѣчили его сначала травками, да муравками, а потомъ и за лѣкаремъ послали.

Стать фѣдить лѣкарь, стать прописывать лѣкарства, стали ихъ давать мальчику по часамъ, то сама бабушка, а то Катерину Львовну попросить.

— Потрудись, скажетъ, — Катеринушка: ты, мать, сама человѣкъ грузный, сама суда Божьяго ждешь; потрудись.

Катерина Львовна не отказывала старухѣ. Пойдеть ли та ко всенощной молиться за «лежащаго на одрѣ болѣзни отрока Феодора», или къ ранней обѣди чашечку за него выпить, Катерина Львовна сидѣть у больного, и напоить его, и лѣкарство ему дастъ вѣремя.

Такъ пошла старушка къ вечернѣ и ко всенощной подъ праздникъ Введенія, а Катеринушку попросила присмотрѣть за Федюшкой. Мальчикъ въ эту пору ужъ обмогался.

Катерина Львовна вошла къ Федѣ, а онъ сидѣть на постели въ своеѣ бѣличьемъ тулупчикѣ и читаетъ патерикъ.

— Что ты это читаешь, Федя? — спросила его, усѣвшись въ креслѣ, Катерина Львовна.

— Житіе, тetenъка, читаю.

— Занятно?

— Очень, тetenъка, занятно.

Катерина Львовна подперлась рукою и стала смотрѣть на шевелящаго губами Федю, и вдругъ словно демоны съ цѣли сорвались и разомъ осѣли ея прежнія мысли о томъ, сколько зла причиняетъ ей этотъ мальчикъ и какъ бы хорошо было, если бы его не было.

«А вѣдь что, — думалось Катеринѣ Львовнѣ, — вѣдь большої онъ; лѣкарство ему даютъ... мало ли что въ болѣзни... Только всего и сказу, что лѣкарь не такое лѣкарство по-трафиль».

— Пора тебѣ, Федя, лѣкарства?

— Пожалуйте, тetenъка, — отвѣчалъ мальчикъ и, хлебнувъ ложку, добавилъ: — очень занято, тetenъка, это о святыхъ описывается.

— Ну, читай, — проронила Катерина Львовна, и обведя холоднымъ взглядомъ комнату, остановила его на разрисованныхъ морозомъ окнахъ.

— Надо окна вѣльть закрыть, — сказала она и вышла въ гостиную, а оттуда въ залу, а оттуда къ себѣ наверхъ и присѣла.

Минутъ черезъ пять къ ней туда же наверхъ, молча, вошелъ Сергій въ романовскомъ полушибукѣ, отороченному пушистымъ котикомъ.

— Закрыли окна? — спросила его Катерина Львовна.

— Закрыли,—отрывисто отвѣчалъ Сергій, снялъ щипцами со свѣчи нагаръ и сталъ у печки

Водворилось молчаніе.

— Нонче всенощная не скоро кончится?—спросила Катерина Львовна.

— Праздникъ большой завтра: долго будуть служить,— отвѣчалъ Сергій.

Опять вышла пауза.

— Сходить къ ёедѣ: онъ тамъ одинъ,—произнесла, подымаясь, Катерина Львовна.

— Одинъ?—спросилъ ее, глянувъ исподлобья, Сергій.

— Одинъ,—отвѣчала она ему шепотомъ:—а что?

И изъ глазъ въ глаза у нихъ замелькала словно какая сѣть молніеносная; но никто не сказалъ болѣе другъ другу ни слова.

Катерина Львовна сошла внизъ, прошлась по пустымъ комнатамъ: вездѣ все тихо; лампады спокойно горятъ; по стѣнамъ разбѣгаются ея собственная тѣнь; закрытые ставнями окна начали оттаивать и заплакали. једя сидѣть и читаетъ. Увидя Катерину Львовну, онъ только сказалъ:

— Тетенька, положите, пожалуйста, эту книжку, а мнѣ вонъ ту, съ образника, пожалуйте.

Катерина Львовна исполнила просьбу племянника и подала ему книгу.

— Ты не заснулъ ли бы, једя?

— Нѣть, тетенька, я буду бабушку дожидаться.

— Чего тебѣ ее ждать?

— Она мнѣ благословленного хлѣбца отъ всенощной обѣщалась.

Катерина Львовна вдругъ поблѣдѣла, собственный ребенокъ у нея впервые повернулся подъ сердцемъ и въ груди у нея протянуло холодомъ. Постояла она среди комнаты и вышла, потирая стынущія руки.

— Ну!—шепнула она, тихо взойдя въ свою спальню и снова заставая Сергія въ прежнемъ положеніи у печки.

— Что?—спросилъ едва слышно Сергій и поперхнулся.

— Онъ одинъ.

Сергій надвинулъ брови и стала тяжело дышать.

— Пойдемъ,—порывисто обернувшись къ двери, сказала Катерина Львовна.

Сергій быстро снялъ сапоги и спросилъ:

— Что жъ взять?

— Ничего,— однимъ придуханіемъ отвѣтила Катерина Львовна и тихо повела его за собою за руку.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Больной мальчикъ вздрогнулъ и опустилъ на колѣни книжку, когда къ нему въ третій разъ вошла Катерина Львовна.

— Что ты, Федя?

— Охъ, я, тетенька, чего-то испугался,—отвѣчалъ онъ, тревожно улыбаясь и прижимаясь въ уголь постели.

— Чего жъ ты испугался?

— Да кто это съ вами шель, тетенька?

— Гдѣ? Никто со мной, миленький, не шель.

— Никто?

Мальчикъ потянулся къ ногамъ кровати и, прищуривъ глаза, посмотрѣлъ по направленію къ дверямъ, черезъ которыхъ вошла тетка, и успокоился.

— Это мнѣ, вѣрно, такъ показалось,—сказалъ онъ.

Катерина Львовна остановилась, облокотясь на изголовную стѣнку племянниковой кровати.

Федя посмотрѣлъ на тетку и замѣтилъ ей, что она отчего-то совсѣмъ блѣдная.

Въ отвѣтъ на это замѣченіе Катерина Львовна произвольно кашлянула и съ ожиданіемъ посмотрѣла на дверь гостиной. Тамъ только тихо треснула одна половица.

— Житіе моего ангела, святого Феодора Стратилата, тетенька, читаю. Вотъ угощалъ Богу-то.

Катерина Львовна стояла молча.

— Хотите, тетенька, сядьте, а я вамъ опять прочитаю?—ласкался къ ней племянникъ.

— Постой, я сейчасъ, только вотъ лампаду въ залѣ поправлю,—отвѣтила Катерина Львовна и вышла торопливою походкой.

Въ гостиной послышался самый тихій шопотъ; но онъ дошелъ среди общаго безмолвія до чуткаго уха ребенка.

— Тетенька! да что жъ это? Съ кѣмъ же это вы тамъ шепчетесь?—вскрикнулъ, со слезами въ голосѣ, мальчикъ.—Идите сюда, тетенька: я боюсь,—еще слезливѣе позвалъ онъ черезъ секунду, и ему послышалось, что Катерина Львовна сказала въ гостиной «ну!», которое мальчикъ отнесъ къ себѣ.

— Чего боишься? — нѣсколько охрипшимъ голосомъ спросила его Катерина Львовна, входя смѣльчъ рѣшительнымъ шагомъ и становясь у его кровати такъ, что дверь изъ гостиной была закрыта отъ больного ея тѣломъ. — Лягъ, — сказала она ему вслѣдъ за этимъ.

— Я, тетенька, не хочу.

— Нѣтъ, ты, Ѳедя, послушайся меня, лягъ... пора..., лягъ, — повторила Катерина Львовна.

— Что это вы, тетенька! да я не хочу совсѣмъ.

— Нѣтъ, ты ложись, ложись, — проговорила Катерина Львовна опять измѣнившимся, нетвердымъ голосомъ и, схвативъ мальчика подъ мышку, положила его на изголовье.

Въ это мгновеніе Ѳедя пейстово вскрикнулъ: онъ увидѣлъ входящаго блѣднаго, босого Сергѣя.

Катерина Львовна захватила своею ладонью раскрытый въ ужасъ ротъ испуганнаго ребенка и крикнула:

— А ну, скорѣе; держи ровно, чтобъ не бился!

Сергѣй взялъ Ѳедю за руки и за ноги, а Катерина Львовна однимъ движеніемъ закрыла дѣтское лицо страдальца большою пуховою подушкою и сама навалилась на нее своей крѣпкой, упругой грудью.

Минуты четыре въ комнатѣ было могильное молчаніе.

— Кончился, — прошептала Катерина Львовна, и только что привстало, чтобы привести все въ порядокъ, какъ стѣны тихаго дома, скрывшаго столько преступленій, затряслись отъ оглушительныхъ ударовъ: окна дребезжали, полы качались, цѣпочки висячихъ лампадъ вздрагивали и блуждали по стѣнамъ фантастическими тѣнями.

Сергѣй задрожалъ и со всѣхъ ногъ бросился бѣжать; Катерина Львовна кинулась за нимъ, а шумъ и гамъ за ними. Казалось, какія-то неземные силы колыхали грѣшный домъ до основанія.

Катерина Львовна боялась, чтобы, гонимый страхомъ, Сергѣй не выбѣжалъ на дворъ и не выдалъ себя своимъ перепугомъ; но онъ кинулся прямо на вышину.

Взбѣжавши на лѣстницу, Сергѣй въ темнотѣ треснулся лбомъ о полуопрятную дверь и со стономъ полетѣлъ внизъ, совершенно обезумѣвъ отъ суевѣрнаго страха.

— Зиновій Борисычъ, Зиновій Борисычъ! — бормоталь онъ, летя внизъ головою по лѣстницѣ и увлекая за собою сбитую имъ съ ногъ Катерину Львовну.

— Гдѣ? — спросила она.

— Вотъ надъ нами съ желѣзнымъ листомъ пролетѣлъ. Вотъ, вотъ опять! ай, ай! — закричалъ Сергѣй: — гремитъ, опять гремитъ.

Теперь было очень ясно, что множество рукъ стучать во все окна съ улицы, а кто-то ломится въ двери.

— Дуракъ! вставай, дуракъ! — крикнула Катерина Львовна, и съ этими словами она сама порхнула къ щедѣ, уложила его мертвую голову въ самой естественной, спящей позѣ на подушкахъ и твердой рукой отперла двери, въ которыхъ ломилась куча народа.

Зрѣлище было страшное. Катерина Львовна глянула повыше толпы, осаждающей крыльцо, а чрезъ высокій заборъ цѣлыми рядами перелѣзаютъ на дворъ незнакомые люди и на улицѣ стоишь стоять отъ людскаго говора.

Не успѣла Катерина Львовна ничего сообразить, какъ народъ, окружающій крыльцо, смиль ее и бросиль въ покой.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

А вся эта тревога произошла вотъ какимъ образомъ: народу на всенощной подъ двунадесятый праздникъ во всѣхъ церквяхъ хоть и уѣзднаго, но довольно большого и промышленнаго города, гдѣ жила Катерина Львовна, бываетъ видимо-невидимо, а ужъ въ той церкви, гдѣ завтра престоль, даже и въ оградѣ яблоку упасть негдѣ. Тутъ обыкновенно поютъ пѣвчіе, собранные изъ купеческихъ молодцовъ и управляемые особымъ регентомъ тоже изъ любителей вокального искусства.

Нашъ народъ набожный, къ церкви Божіей рачительный и по всему этому народъ въ свою мѣру художественный: благолѣпіе церковное и стройное «органистое» пѣніе составляютъ для него одно изъ самыхъ высокихъ и самыхъ чистыхъ его наслажденій. Гдѣ поютъ пѣвчіе, тамъ у насть собирается чуть не половина города, особенно торговая молодежь: приказчики, мальчики, молодцы, мастеровые съ фабрикъ, съ заводовъ и сами хозяева съ своими половинами, — всѣ собираются въ одну церковь; каждому хочется хоть на паперти постоять, хоть подъ окномъ на пекломъ жару или на трескучемъ морозѣ послушать, какъ организовать октава, а заносистый теноръ отливаетъ самыя капризныя вариации *).

*.) Въ ораовской губерніи пѣвчіе такъ называютъ форшлаги.

Въ приходской церкви измайловского дома былъ престоль въ честь Введенія во храмъ Пресвятая Богородицы, и потому вечеромъ подъ день этого праздника, въ самое время описанного происшествія съ ѡедей, молодежь цѣлаго города была въ этой церкви и, расходясь шумною толпою, толковала о достоинствахъ извѣстнаго тенора и случайныхъ неловкостяхъ столь же извѣстнаго баса.

Но не всѣхъ занимали эти вокальные вопросы: были въ толпѣ люди, интересовавшіеся и другими вопросами.

— А вотъ, ребята, чудно тоже про молодую Измайлиху сказываютъ, — заговорилъ, подходя къ дому Измайловыхъ, молодой машинистъ, привезенный однімъ купцомъ изъ Петербурга на свою паровую мельницу:—сказываютъ,—говорилъ онъ:—будто у нея съ ихнимъ приказчикомъ Сережкой по всяку минуту амуры идутъ...

— Это ужъ всѣмъ извѣстно, — отвѣчалъ тулунъ, крытый синей панкой.—Ее ионче и въ церкви, знать, не было.

— Чѣмъ церкви? Столь скверная бабенка испоскудилась, что ужъ ни Бога, ни совѣсти, ни глазъ людскихъ не боится.

— А ишь, у нихъ вотъ свѣтится,—замѣтилъ машинистъ, указывая на свѣтлую полоску между ставнями.

— Глянь-ка въ щелочку, чѣмъ тамъ дѣлаютъ? — цикнули нѣсколько голосовъ.

Машинистъ оперся на двое товарищескихъ плечъ и только что приложилъ глазъ къ ставенному створу, какъ благимъ матомъ крикнулъ:

— Братцы мои, голубчики! душатъ кого-то здѣсь, душатъ!

И машинистъ отчаянно заколотилъ руками въ ставню. Человѣкъ десять послѣдовали его примѣру и, вскочивъ къ окнамъ, тоже заработали кулаками.

Толпа увеличивалась каждое мгновеніе, и произошла извѣстная памъ осада измайловского дома.

— Видѣть самъ, собственными моними глазами видѣть,—свидѣтельствовалъ надъ мертвымъ ѡедею машинистъ:—младенецъ лежалъ поверженъ на ложѣ, а они вдвоемъ душили его.

Сергѣя взяли въ часть въ тотъ же вечеръ, а Катерину Львовну отвели въ ея верхнюю комнату и приставили къ ней двухъ часовыхъ.

Въ домѣ Измайловыхъ быль нестерпимый холодъ: печи не топились, дверь на пяди не стояла: одна густая толпа любопытшаго народа смѣяла другую. Всѣ ходили смотрѣть на лежащаго въ гробу Федю и на другой большой гробъ, плотно закрытый по крылѣ широкою пеленою. На лбу у Феди лежалъ бѣлый атласный вѣничекъ, которымъ бытъ закрыть красный рубецъ, оставшійся послѣ вскрытия черепа. Судебно-медицинскимъ вскрытиемъ было обнаружено, что Федя умеръ отъ удушенія, и приведенный къ его трупу Сергій, при первыхъ же словахъ священника о страшномъ судѣ и наказаніи нераскаяннымъ, расплакался и чисто-сердечно сознался не токмо въ убийствѣ Феди, но и попросилъ откопать зарытаго имъ безъ погребенія Зиновія Борисыча. Трупъ мужа Катерины Львовны, зарытый въ сухомъ пескѣ, еще не совершенно разложился: его вынули и уложили въ большой гробъ. Свою участницею въ обоихъ этихъ преступленіяхъ Сергій называлъ, къ всеобщему ужасу, молодую хозяйку. Катерина Львовна на всѣ вопросы отвѣчала только: «я ничего этого не знаю и не вѣдаю». Сергія заставили уличить ее на очной ставкѣ. Выслушавъ его признанія, Катерина Львовна посмотрѣла на него съ изумленіемъ, но безъ гнѣва, и потомъ равнодушно сказала:

— Если ему охота была это сказывать, такъ мнѣ запираться нечего: я убила.

— Для чего же? — спрашивали ее.

— Для него, — отвѣчала она, показавъ на повѣсившаго голову Сергія.

Преступниковъ разсадили въ острогъ, и ужасное дѣло, обратившее на себя всеобщее вниманіе и негодованіе, было разрешено очень скоро. Въ концѣ февраля Сергію и купеческой третьей гильдіи вдовѣ Катеринѣ Львовнѣ объявили въ уголовной палатѣ, что ихъ решено наказать плетью на торговой площади своего города и сослать потомъ обоихъ въ каторжную работу. Въ началѣ марта, въ холодное морозное утро, палачъ отсчиталъ положенное число синебагровыхъ рубцовъ на обнаженной бѣлой спинѣ Катерины Львовны, а потомъ отбилъ порцію и на плечахъ Сергія и заштемпелевалъ его красивое лицо тремя каторжными знаками.

Во все это время Сергій почему-то возбуждалъ гораздо

болье общаго сочувствія, чѣмъ Катерина Львовна. Измазанный и окровавленный, онъ падаль, сходя съ чернаго эшафота, а Катерина Львовна сошла тихо, стараясь только, чтобы толстая рубаха и грубая арестантская свита не прилегли къ ея изорванной спинѣ.

Даже въ острожной больницѣ, когда ей тамъ подали ея ребенка, она только сказала: «ну, его совсѣмъ!»—и, отворотясь къ стѣнѣ, безъ всякаго стона, безъ всякой жалобы, повалилась грудью на жесткую койку.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Партія, въ которую попали Сергій и Катерина Львовна, выступала, когда весна значилась только по календарю, а солнышко еще, по народной пословицѣ, «ярко свѣтило, да не тепло грѣло».

Ребенка Катерины Львовны отдали на воспитаніе старушкѣ, сестрѣ Бориса Тимоѳеича, такъ какъ, считаясь законнымъ сыномъ убитаго мужа преступницы, младенецъ оставался единственнымъ наследникомъ всего теперь измайловскаго состоянія. Катерина Львовна была этимъ очень довольна и отдала дитя весьма равнодушно. Любовь ея къ отцу, какъ любовь многихъ слишкомъ страстныхъ женщинъ, не переходила никакою своею частію на ребенка.

Впрочемъ, для нея не существовало ни свѣта, ни тьмы, ни худа, ни добра, ни скуки, ни радостей; она ничего не понимала, никого не любила и себя не любила. Она ждала съ нетерпѣніемъ только выступленія партіи въ дорогу, гдѣ опять надѣялась видѣться съ своимъ Сережечкой, а о дитяти забыла и думать.

Надежды Катерины Львовны ее не обманули: тяжело окованый цѣпями, клейменый Сергій вышелъ въ одной съ нею кучкѣ за острожный ворота.

Ко всякому отвратительному положенію человѣкъ, по возможности, привыкаетъ и въ каждомъ положеніи онъ сохраняетъ, по возможности, способность преслѣдоввать свои скучные радости; но Катеринѣ Львовнѣ не къ чему было и приспособливаться: она видѣть опять Сергія, а съ нимъ ей и каторжный путь цвѣтеть счастіемъ.

Мало вынесла съ собою Катерина Львовна въ пестрядинномъ мѣшкѣ цѣнныхъ вещей, и еще того меньше наличныхъ денегъ. Но и это все, еще далеко не доходя до Ниж-

няго, раздала она этакнымъ ундерамъ за возможность идти съ Сергѣемъ рядышкомъ дорогой и постоять съ нимъ, обнявшись, часокъ темной ночью въ холодномъ закоулочкѣ узень-каго этакнаго коридора.

Только штемпелеванный дружокъ Катерины Львовны сталъ что-то до нея очень неласковъ: что ей ни скажетъ, какъ оторвешь; тайными свиданьями съ ней, за которыхъ та, не бывши и не пивши, отдастъ самой ей нужный четвертакъ изъ тощаго кошелька, дорожить не очень и даже не разъ говоривала:

— Ты, замѣсть того, чтобы углы-то въ коридорѣ выходить со мной обтирать, мнѣ бы эти деньги предоставила, что ундеру отдала.

— Четвертакъ всего, Сереженька, я дала, — оправдывалась Катерина Львовна.

— А четвертакъ нѣшь не деньги? Много ты ихъ на дорогѣ-то поднимала, этихъ четвертаковъ, а разсовала ужъ, чай, не мало.

— Зато же, Сережа, видались.

— Ну, легко ли, радость какая, послѣ этакой муки видаться-то! Жисть-то свою проклялъ бы, а не то что свиданіе.

— А мнѣ, Сережа, все равно: мнѣ лишь бы тебя видѣть.

— Глупости все это, — отвѣчалъ Сергѣй.

Катерина Львовна иной разъ до крови губы кусала при такихъ отвѣтахъ, а иной разъ и на ея неплаксивыхъ глазахъ слезы злобы и досады навертывались въ темнотѣ ночныхъ свиданій; но все она терпѣла, все молчала и сама себя хотѣла обманывать.

Такимъ образомъ въ этихъ новыхъ другъ къ другу отношеніяхъ дошли они до Нижнаго-Новгорода. Здѣсь партия ихъ соединилась съ партіею, слѣдовавшею въ Сибирь съ московскаго тракта.

Въ этой большой партіи въ числѣ множества всякаго народа, въ женскомъ отдѣленіи были два очень интересныя лица: одна — солдатка Фіона изъ Ярославля, такая чудесная, роскошная женщина, высокаго роста, съ густою черною косою и томными карими глазами, какъ таинственной фатой завѣшанными густыми рѣсицами; а другая — семнадцатилѣтняя востролиценъская блондиночка съ нѣжно-розовой кожей, крошечнымъ ротикомъ, ямочками на свѣжихъ

щечкахъ и золотисто-русыми кудрями, капризно выбѣгавшими на лобъ изъ-подъ арестантской пестрядинной повязки. Дѣвочку эту въ партии звали Сонеткой.

Красавица Фіона была права мягкаго и лѣниваго. Въ своей партии ее всѣ знали и никто изъ мужчинъ особенно не радовался, достигая у нея успѣха, и никто не огорчался, видя, какъ она тѣмъ же самымъ успѣхомъ дарила другого искателя.

— Тетка Фіона у насть баба добрѣющая, никому отъ нея обиды нѣть, — говорили шутя арестанты въ одинъ голосъ.

Но Сонетка была совсѣмъ въ другомъ родѣ.

Обѣй этой говорили:

— Вьюнъ: около руки вьется, а въ руки не дается.

Сонетка имѣла вкусъ, блюда выборъ и даже, можетъ-быть, очень строгий выборъ; она хотѣла, чтобы страсть приносили ей не въ видѣ сырбѣжки, а подъ пикантною, пряною приправою, съ страданіями и съ жертвами; а Фіона была русская простота, которой даже лѣпь сказать кому-нибудь: «прочь поди», и которая знаетъ только одно, что она баба. Такія женщины очень высоко цѣнятся въ разбойничихъ шайкахъ, арестантскихъ партіяхъ и петербургскихъ соціально-демократическихъ коммунахъ.

Появленіе этихъ двухъ женщинъ въ одной соединенной партии съ Сергеемъ и Катериной Львовной имѣло для послѣдней трагическое значеніе.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Съ первыхъ же дней вмѣстнаго слѣдованія соединенной партии отъ Нижняго къ Казани, Сергѣй сталъ видимымъ образомъ заискивать расположенія солдатки Фіоны и не пострадалъ безуспѣшно. Томная красавица Фіона не истомила Сергѣя, какъ не томила она, по своей добротѣ, никого. На третьемъ или четвертомъ этажѣ Катерина Львовна съ раннихъ сумерекъ устроила себѣ, посредствомъ подкупа, свиданіе съ Сережечкой и лежитъ не спить: все ждетъ, что вотъ-вотъ взойдетъ дежурный ундерокъ, тихонько толкнетъ ее и шепнетъ: «бѣги скорѣй!» Отворилась дверь разъ, и какая-то женщина юркнула въ коридоръ; отворилась и еще разъ дверь, и еще съ наръ скоро вскочила и тоже исчезла за провожатымъ другая арестантка; наконецъ, дернули за свиту, которой была по-

крыта Катерина Львовна. Молодая женщина быстро поднялась съ облощенныхъ арестантскими боками нары, накинула свиту на плечи и толкнула стоящаго передъ нею провожатаго.

Когда Катерина Львовна проходила по коридору, только въ одномъ мѣстѣ, слабо освѣщенномъ слѣпою плошкою, она цаткнулась на двѣ или три пары, не дававшія ничѣмъ себя замѣтить издали. При проходѣ Катерины Львовны мимо мужской арестантской, сквозь окошечко, прорѣзанное въ двери, ей послышался сдержанній хохотъ.

— Ишь, жирутъ, — буркнулъ провожатый Катерины Львовны и, придержавъ ее за плечи, ткнулъ въ уголочекъ и удалился.

Катерина Львовна напупала рукой свиту и бороду; другая ея рука коснулась жаркаго женскаго лица.

— Кто это? — спросилъ вполнолоса Сергѣй.

— А ты чего тутъ? съ кѣмъ ты это?

Катерина Львовна дернула впотьмахъ повязку съ своей соперницы. Та скользнула въ сторону, бросилась и, споткнувшись на кого-то въ коридорѣ, полетѣла.

Изъ мужской камеры раздался дружный хохотъ.

— Злодѣй! — прошептала Катерина Львовна и ударила Сергѣя по лицу концами платка, сорваннаго съ головы его новой подруги.

Сергѣй поднялъ-было руку; но Катерина Львовна легко промелькнула по коридору и взялась за свои двери. Хохотъ изъ мужской комнаты вслѣдъ ей повторился до того громко, что часовой, апатично стоявшій противъ плошки и плевавшій себѣ въ носокъ сапога, приподнялъ голову и рыкнулъ:

— Цыцъ!

Катерина Львовна улеглась молча и такъ пролежала до утра. Она хотѣла себѣ сказать: «не люблю жъ его», и чувствовала, что любила его еще горячѣе, еще больше. И вотъ въ глазахъ ея все рисуется, все рисуется, какъ ладонь его дрожала у той подъ ея головою, какъ другая рука его обнимала ея жаркія плечи.

Вѣдьная женщина заплакала и звала мимовольно ту же ладонь, чтобы она была въ эту минуту подъ ея головою и чтобы другая его же рука обняла ея истерически дрожавшія плечи.

— Ну, одначе, дай же ты мнъ мою повязку, — побудила ее утромъ солдатка Фиона.

— А, такъ это ты?..

— Отдай, пожалуйста!

— А ты зачѣмъ разлучаешь?

— Да чѣмъ же я васъ разлучаю? Нѣшь это какая любовь, или интересъ въ самомъ дѣлѣ, чтобы сердиться?

Катерина Львовна секунду подумала, потомъ вынула изъ подъ подушки сорванную ночью повязку и, бросивъ ее Фионѣ, повернулась къ стѣнкѣ.

Ей стало легче.

— Тфу, — сказала она себѣ: — неужели жъ-таки къ этой лоханкѣ крашеной я ревновать стану? Сгинь она! Мнѣ и примѣнять-то себя къ ней скверно.

— А ты, Катерина Ильвовна, вотъ что, — говорилъ идучи на завтра дорогую Сергѣй: — ты, пожалуйста, разумѣй, что одинъ разъ я тебѣ не Зиновій Борисычъ, а другое, что и ты теперь не велика купчиха: такъ ты не пышишь, сдѣлай милость. Козы рога у насть въ торгъ нейдуть.

Катерина Львовна ничего на это не отвѣчала, и съ неѣю она шла съ Сергѣемъ ни словомъ, ни взглядомъ не обмѣнявшись. Какъ обиженнная, она все-таки выдерживала характеръ и не хотѣла сдѣлать первого шага къ примиренію въ этой первой ея ссорѣ съ Сергѣемъ.

Междудѣньемъ, этой порою, какъ Катерина Львовна на Сергѣя сердилась, Сергѣй сталъ чепуриться и заигрывать съ бѣленькой Сонеткой. То раскланивается ей съ «нашимъ особеннымъ», то улыбается, то, какъ встрѣтится, норовить обнять да прижать ее. Катерина Львовна все это видитъ, и только пуще у нея сердце кипитъ.

— Ужъ помириться бы мнѣ съ нимъ, что ли? — разсуждаетъ, спотыкаясь и земли подъ собою не видя, Катерина Львовна.

Но подойти же первой помириться теперь еще болѣе, чѣмъ когда-либо, гордость не позволяетъ. А тѣмъ временемъ Сергѣй все неотступнѣе вяжется за Сонеткой, и ужъ всѣмъ сдается, что недоступная Сонетка, которая все выюномъ вилась, а въ руки не давалась, что-то вдругъ будто ручнѣть стала.

— Вотъ ты на меня плакалась, — сказала какъ-то Кате-

ринъ Львовнъ Фиона:—а я что тебѣ сдѣлала? Мой случай былъ, да и прошель, а ты вотъ за Сонеткой-то глядѣла бѣ.

«Пропади она, эта моя гордость: непремѣнио ионче же помириюсь», рѣшила Катерина Львовна, размышаяя ужъ только обѣ одномъ, какъ бы только ловчѣй взяться за это примиреніе.

Изъ этого затруднительного положенія ее вывѣль самъ Сергѣй.

— Ильвовна! — позвалъ онъ ее на привалъ. — Выдѣ ты ионче ко мнѣ на минуточку ночью: дѣло есть.

Катерина Львовна промолчала.

— Что жъ, можетъ, сердишься еще—не выйдешь?

Катерина Львовна опять ничего не отвѣтила.

Но Сергѣй, да и всѣ, кто наблюдалъ за Катериной Львовной, видѣли, что, подходя къ этапному дому, она все стала жаться къ старшему ундеру и сунула ему семнадцать копеекъ, собранныхъ отъ мірского подаянія.

— Какъ только соберу, я вамъ додамъ гривну, — упрашивала Катерина Львовна.

Ундеръ спряталъ за обшлагъ деньги и сказалъ:

— Ладно.

Сергѣй, когда кончились эти переговоры, крякнулъ и подмигнулъ Сонеткѣ.

— Ахъ, ты, Катерина Ильвовна! — говорилъ онъ, обнимая ее при входѣ на ступени этапнаго дома. — Супротивъ этой женщины, ребята, въ пѣломъ свѣтѣ другой нѣть.

Катерина Львовна и краснѣла, и задыхалась отъ счастья.

Чуть ночью тихонько пріотворилась дверь, она такъ и выскочила: дрожитъ и ищетъ руками Сергѣя по темному коридору.

— Катя моя! — произнесъ, обнявъ ее, Сергѣй.

— Ахъ ты, злодѣй ты мой! — сквозь слезы отвѣчала Катерина Львовна и прильнула къ нему губами.

Часовой ходилъ по коридору и останавливалась плеваль на свои салоги и ходилъ снова, за дверями усталые арестанты хранили, мышь грызла перо, подъ печью, взапуски другъ передъ другомъ, заливались сверчки, а Катерина Львовна все еще блаженствовала.

Но устали восторги и слышна неизбѣжная проза.

— Смерть больно: отъ самой отъ щиколотки до самаго

костьна кости такъ и гудутъ,—жаловался Сергѣй, сидя съ Катериной Львовной на полу въ углу коридора.

— Что же дѣлать-то, Сережечка? — разспрашивала она, ютясь подъ полу его свиты.

— Неншто только въ лазаретъ въ Казани попрошусь?

— Охъ, что-й-то ты, Сережа?

— А что жъ, когда, смерть моя, больно.

— Какъ же ты останешься, а меня погонять?

— А что-жъ дѣлать? третъ, такъ, я тебѣ говорю, третъ, что какъ въ кость вся цѣль не вѣдается. Развѣ когда бѣ шерстяные чулки, что ли, поддѣть еще,—проговорилъ Сергѣй спустя минутку.

— Чулки? у меня еще есть, Сережа, новые чулки.

— Ну, на что! — отвѣчалъ Сергѣй.

Катерина Львовна, ни слова не говоря болѣе, юркнула въ камеру, растормошила на нарахъ свою сумочку и опять торопливо выскочила къ Сергѣю съ парою толстыхъ синихъ болховскихъ шерстяныхъ чулокъ съ яркими стрѣлками сбоку.

— Этакъ теперь ничего будетъ,—произнесъ Сергѣй, прощаюсь съ Катериной Львовной и принимая ея послѣдніе чулки.

Катерина Львовна, счастливая, вернулась на свои нары и крѣпко заснула.

Она не слыхала, какъ послѣ ея прихода въ коридоръ выходила Сонетка и какъ тихо она возвратилась оттуда уже передъ самымъ утромъ.

Это случилось всего за два перехода до Казани.

ГЛАВА ПЯТИНАДЦАТАЯ.

Холодный, ненастный день съ порывистымъ вѣтромъ и дождемъ, перемѣшаннымъ со снѣгомъ, непривѣтно встрѣтился партію, выступавшую за ворота душнаго этапа. Катерина Львовна вышла довольно бодро, но только что стала въ рядъ, какъ вся затряслась и позеленѣла. Въ глазахъ у нея стало темно; всѣ суставы ея заныли и разслабѣли. Передъ Катериной Львовной стояла Сонетка въ хорошо знакомыхъ той синихъ шерстяныхъ чулкахъ съ яркими стрѣлками.

Катерина Львовна двинулась въ путь совсѣмъ неживая; только глаза ея страшно смотрѣли на Сергѣя и съ него не смаргивали.

На первомъ привалѣ она спокойно подошла къ Сергѣю, прошептала «подлецъ» и неожиданно плонула ему прямо въ глаза.

Сергѣй хотѣлъ на нее броситься; но его удержали.

— Погоди жь ты! — произнесъ онъ и обтерся.

— Ничего, однако, отважно она съ тобой поступаетъ, — трунили надъ Сергѣемъ арестанты, и особенно веселымъ хохотомъ заливалась Сонетка.

Эта интрижка, на которую сдалась Сонетка, шла совсѣмъ въ ея вкусѣ.

— Ну это жъ тебѣ такъ не пройдетъ, — грозился Катеринѣ Львовнѣ Сергѣй.

Умаявшись непогодою и переходомъ, Катерина Львовна съ разбитою душой тревожно спала ночью на нарахъ въ очередномъ этапномъ домѣ и не слыхала, какъ въ женскую казарму вошли два человѣка.

Съ приходомъ ихъ, съ пары приподнялась Сонетка, молча показала она вошедшемъ рукою на Катерину Львовну, опять легла и закуталась своею свитою.

Въ это же мгновеніе свита Катерины Львовны взлетѣла ей на голову, и по ея спинѣ, закрытой одною сурою рубашкою, загулялъ во всю мужичью мочь толстый конецъ вдвое свитой веревки.

Катерина Львовна вскрикнула; но голоса ея не было слышно изъ-подъ свиты, окутывающей ея голову. Она рванулась, но тоже безъ успѣха: на плечахъ ея сидѣлъ здоровый арестантъ и крѣпко держалъ ея руки.

— Пятьдесятъ, — сосчиталъ, наконецъ, одинъ голосъ, въ которомъ никому не трудно было узнать голосъ Сергѣя, и ночные посѣтители разомъ исчезли за дверью.

Катерина Львовна раскунатала голову и вскочила: никого не было; только невдалекѣ кто-то злорадно хихикалъ подъ свитою. Катерина Львовна узнала хохотъ Сонетки.

Обидѣ этой уже не было мѣры; не было мѣры и чувству злобы, закипѣвшей въ это мгновеніе въ душѣ Катерины Львовны. Она безъ памяти ринулась впередъ и безъ памяти упала на грудь подхватившей ее Фіоны.

На этой полной груди, еще такъ недавно тѣшившей сластю разврата невѣрнаго любовника Катерины Львовны, она теперь выплакивала нестерпимое свое горе и, какъ дитя къ матери, прижалась къ своей глупой и рыхлой

соперницѣ. Онѣ были теперь равны: онѣ обѣ были сравнены въ цѣнѣ и обѣ брошены.

Онѣ равны!.. подвластная первому случаю Фіона и совершающая драму любви Катерина Львовна!

Катеринѣ Львовнѣ, впрочемъ, было уже ничто не обидно. Выплакавъ свои слезы, она окаменѣла и съ деревяннымъ спокойствіемъ собиралась выходить на перекличку.

Барабанъ бьетъ: тахъ-тараraphъ-тахъ; на дворъ вываливаютъ скованные и нескованные арестантики, и Сергій, и Фіона, и Сонетка, и Катерина Львовна, и раскольникъ, скованный съ жidомъ, и полякъ на одной цѣни съ татариномъ.

Всѣ скучились, потомъ выровнялись кое въ какой порядокъ и пошли.

Безотраднѣйшая картина: горсть людей, оторванныхъ отъ свѣта и лишенныхъ всякой тѣни надеждъ на лучшее будущее, тонеть въ холодной черной грязи грунтовой дороги. Кругомъ все до ужаса безобразно: бесконечная грязь, сѣрое небо, обезлиственныйяя, мокрыя ракиты и въ растопыренныхъ ихъ сучьяхъ нахохлившаяся ворона. Вѣтеръ то стонеть, то злится, то воетъ и реветь.

Въ этихъ адскихъ, душу раздирающихъ звукахъ, которые довершаютъ весь ужасъ картины, звучать совѣты жены библейскаго Іова: «Прокляни день твоего рожденія и умри».

Кто не хочетъ вслушиваться въ эти слова, кого мысль о смерти и въ этомъ печальному положеніи не льстить, а пугаетъ, тому надо стараться заглушить эти воющіе голоса чѣмъ-нибудь еще болѣе ихъ безобразнымъ. Это прекрасно понимаетъ простой человѣкъ: онъ спускаеть тогда на волю всю свою звѣрицу простоту, начинаеть глупить, издѣваться надъ собою, надъ людьми, надъ чувствомъ. Не особенно нѣжный и безъ того, онъ становится золъ сугубо.

— Чѣмъ, купчиха? Все ли, ваше степенство, въ добромъ здоровье? — нагло спросила Катерину Львовну Сергій, чуть только партія потеряла за мокрымъ пригоркомъ деревню, гдѣ ночевала.

Съ этими словами, онъ, сейчасъ же обратясь къ Сонеткѣ, покрылъ ее своею полою и запѣлъ высокимъ фальцетомъ:

За окномъ въ тѣи мелькаетъ русая головка.
Ты не спиши, мое мученье, ты не спиши, плутовка.
Я полой теби прикрою, такъ что не замѣтить.

При этихъ словахъ Сергій обнялъ Сонетку и громко по-
цѣловалъ ее при всей партії...

Катерина Львовна все это видѣла и не видала: она шла
совсѣмъ ужъ неживымъ человѣкомъ. Ее стали поталкивать
и показывать ей, какъ Сергій безобразничаетъ съ Сонеткой.
Она стала предметомъ насмѣшкъ.

— Не троныте ее, — заступалась Фіона, когда кто-нибудь
изъ партіи пробовалъ подсмѣяться надъ спотыкающейся
Катериной Львовною. — Нешто не видите, черти, что жен-
щина больна совсѣмъ?

— Должно ножки промочила, — острилъ молодой арестантъ.

— Извѣстно, купеческаго роду: воспитанья нѣжнаго, —
отозвался Сергій.

— Разумѣется, если бы имъ хотя чулочки бы теплые:
оно бы ничего еще, — продолжалъ онъ.

Катерина Львовна словно проснулась.

— Змѣй подлый! — произнесла она, не стерпѣвъ: — па-
смѣхайся, подлецъ, насмѣхайся!

— Нѣтъ, я это совсѣмъ, купчиха, не въ насмѣшку, а
что вотъ Сонетка чулки больно гожіе продаетъ, такъ я
только думалъ: не кушить ли, моль, наша купчиха.

Многіе засмѣялись. Катерина Львовна шагала, какъ за-
веденный автоматъ.

Погода все разыгрывалась. Изъ сѣрыхъ облаковъ, по-
крывавшихъ небо, стала падать мокрыми хлопьями снѣгъ,
который, едва касаясь земли, таялъ и увеличивалъ невы-
лазную грязь. Наконецъ, показывается темная свинцовая
полоса; другого края ея не разсмотрѣшь. Эта полоса —
Волга. Надъ Волгой ходить крѣпковатый вѣтеръ и водить
вздѣлъ и впередъ медленно приподнимающіяся широкопа-
стистыя темные волны.

Партія промокшихъ и продрогнувшихъ арестантовъ ме-
дленно подошла къ перевозу и остановилась, ожидая па-
рома.

Подошелъ весь мокрый, темный паромъ; команда начала
размѣщать арестантовъ.

— На этомъ паромѣ, сказываютъ, кто-то водку держитъ, —
замѣтилъ какой-то арестантъ, когда, осыпаемый хлопьями

мокраго снѣга, паромъ отчалилъ отъ берега и закачался на валахъ расходившейся рѣки.

— Да, теперь бы точно, бездѣлицу пропустить ничего, — отзывался Сергій и, преслѣдуя для Сонеткиной потѣхи Катерину Львовну, произнесъ: — купчиха, а ну-ко, по старой дружбѣ угости водочкой. Не скучись. Вспомни, моя разлюбезная, нашу прежнюю любовь, какъ мы съ тобой, моя радость, погуливали, осенняя долги ночи просиживали, твоихъ родныхъ безъ поповъ и безъ дыakovъ на вѣчный спокой спровоживали.

Катерина Львовна вся дрожала отъ холода. Кромѣ холода, пронизывающаго ее подъ измокшимъ платьемъ до самыхъ костей, въ организмѣ Катерины Львовны происходило еще нечто другое. Голова ея горѣла какъ въ огнѣ; зрачки глазъ были расширены, оживлены блудящимъ, острымъ блескомъ и неподвижно вперены въ ходицій волны.

— Ну, а водочки и я бѣ ужъ вышила: мочи нѣть холодно, — прозвенѣла Сонетка.

— Купчиха, да угости, что-ль! — мозолилъ Сергій.

— Эхъ ты, совѣсть! — выговорила Фіона, качая съ упрекомъ головою.

— Не къ чести твоей совсѣмъ это, — поддержалъ солдатку арестантникъ Гордюшка.

— Хушь бы ты не противъ самой ея, такъ противъ другихъ за нее посовѣтился.

— Ну, ты, мірекая табакерка! — крикнулъ на Фіону Сергій. — Тоже — совѣститься! Чтѣ мнѣ тутъ еще совсѣмъ! я ее можетъ и никогда не любилъ, а теперь... да мнѣ вотъ стоптанный Сонеткинъ башмакъ милѣе ея рожи, кошки этакой ободранной: такъ что жъ ты мнѣ противъ этого говорить можешь? Пусть вонъ Гордюшку косорогато любить; а то... (онъ оглянулся на ёдущаго верхомъ сморчка въ буркѣ и въ военной фуражкѣ съ кокардой и добавилъ) а то вонъ еще лучше къ этаиному пусть поластится: у него подъ буркой по крайности дождемъ не пробираестъ.

— И всѣ бѣ офицершай звать стали, — прозвенѣла Сонетка.

— Да какъ же!.. и на чулочки-то бѣ шути бы достала, — поддержалъ Сергій.

Катерина Львовна за себя не заступалась: она все пристальнѣе смотрѣла въ волны и шевелила губами. Промежду

гнусныхъ рѣчей Сергѣя гуль и стонъ слышались ей изъ раскрывающихсяъ и хлопающихъ валовъ. И вотъ вдругъ изъ одного переломившагося вала показывается ей синяя голова Бориса Тимоѳеича, изъ другого выглянула и закачался мужъ, обнявшись съ поникшимъ головкой Федей. Катерина Львовна хочетъ припомнить молитву и шевельть губами, а губы ея шепчутъ: «какъ мы съ тобой погуливали, осенняя долги ночи просиживали, лютой смертью съ бѣла-свѣта людей спроваживали».

Катерина Львовна дрожала. Блудящій взоръ ея сосредоточивался и становился дикимъ. Руки разъ и два невѣдомо куда протянулись въ пространство и снова упали. Еще минута — и она вдругъ вся закачалась, не сводя глазъ съ темной волны, нагнулась, схватила Сонетку за ноги и однимъ махомъ перекинулась съ нею за бортъ парома.

Всѣ окаменѣли отъ изумленія.

Катерина Львовна показалась на верху волны и опять нырнула, другая волна вынесла Сонетку.

— Багорь! бросай багорь! — закричали на паромѣ.

Тяжелый багорь на длинной веревкѣ взвился и упалъ въ воду. Сонетки опять не стало видно. Черезъ двѣ секунды, быстро уносимая теченіемъ отъ парома, она снова вскинула руками; но въ это же время изъ другой волны почти по-поясь поднялась надъ водою Катерина Львовна, бросилась на Сонетку, какъ сильная щука на мягкотѣрую плотницу, и обѣ болѣе уже не показались.



ГРАБЕЖЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Шелъ разговоръ о воровствѣ въ орловскомъ банкѣ, дѣла которого разбирались въ 1887 году по осени.

Говорили: и тотъ былъ хороший человѣкъ, и другой казался хороши, но, однако, всѣ проворовались.

А случившійся въ компаніи старый орловскій купецъ говоритьъ:

— Ахъ, господа, какъ надойдетъ воровской часъ, то и честные люди грабятъ.

— Ну, это вы шутите.

— Нимало. А зачѣмъ же сказано: «со избранными избрањь будеши, а со строптивыми развратишися»? Я знаю случай, когда честный человѣкъ, на улицѣ, другого человѣка ограбилъ.

— Быть этого не можетъ.

— Честное слово даю — ограбилъ, и если хотите, могу это разсказать.

— Сдѣлайте ваше одолженіе.

Купецъ и рассказалъ намъ слѣдующую исторію, имѣвшую мѣсто лѣтъ за пятьдесятъ передъ этимъ въ томъ же самомъ городѣ Орлѣ, незадолго передъ знаменитыми орловскими истребительными пожарами. Дѣло происходило при покойномъ орловскомъ губернаторѣ князѣ Петрѣ Ивановичѣ Трубецкомъ.

Вотъ какъ это было разсказано.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Я орловский старожилъ. Весь нашъ родъ—все были не послѣдніе люди. Мы имѣли свой домъ на Нижней улицѣ, у Плаутина колодца, и свои ссыпные амбары, и свои барки; держали артель трепачей, торговали пенькой и вели хлѣбную ссыпку. Отчаяннаго большого состоянія не имѣли, по рублю на полтину никогда не ломали и слыши за людей честныхъ.

Отецъ мой скончался, когда мнѣ пошелъ всего шестнадцатый годъ. Дѣломъ всѣмъ правила матушки Арина Леонтьевна при старомъ приказчикѣ, а я тогда только присматривался. Во всемъ я, по волѣ родительской, былъ у матушки въ полномъ повиновеніи. Баловства и озорства за мною никакого не было, и къ храму Господню я имѣть усердіе и страхъ. Еще же жила при нась маменькина сестра, и моя тетенька, почтенная вдова Катерина Леонтьевна. Это—ужь совсѣмъ была святая богомолка. Мы были, по батюшкѣ, церковной вѣры и къ Покрову, къ препочтенному отцу Ефиму приходомъ чисились, а тетушка Катерина Леонтьевна прилежала древности: изъ своего особливаго стакана пила и ходила молиться въ Рыбные ряды, къ старовѣрамъ. Матушка и тетенька были изъ Ельца, и тамъ, въ Ельцѣ и въ Ливнахъ, очень хорошее родство имѣли, но рѣдко съ своими видѣлись, потому что елецкіе купцы любятъ передъ орловскими гордиться и въ компаніи часто бываютъ воители.

Домикъ у нась у Плаутина колодца былъ небольшой, но очень хорошо, по-купечески, обряженъ, и житѣе мы вели самое строгое. Девятнадцать лѣтъ проживши на свѣтѣ, я только и ходу зналъ, что въ ссыпные амбары, или къ баркамъ, на набережную, когда идетъ грузка, а въ праздникъ къ ранней обѣди, въ Покровъ,—и отъ обѣдни опять сей-часъ же домой, и чтобы въ доказательство разсказать маменькѣ, о чёмъ Евангеліе читали, или не говорилъ ли отецъ Ефимъ какую проповѣдь; а отецъ Ефимъ былъ изъ духовныхъ магистровъ, и, бывало, если проповѣдь постараётся, то никакъ ее не постигнешь. Театръ тогда у нась Турчаниновъ содержалъ послѣ Каменскаго, а потомъ Молотковскій, но мнѣ ни въ театръ, ни даже въ трактиръ «Вѣну» чай пить матушка ни за что не дозволяли. «Ни-

чего, дескать, тамъ въ «Вѣнѣ», хорошаго не услышишь, а лучшіе дома сиди и ѿнь моченія яблоки». Только одно полное удовольствіе мнѣ разъ или два въ зиму позволялось,—прогуляться и посмотрѣть, какъ квартальный Богдановъ, съ протодьякономъ, бойцовыхъ гусей спускаютъ, или какъ мѣщане и семинаристы на кулачки бются.

Бойцовыхъ гусей у насъ въ то время много держали и спускали ихъ на Кромской площади; но самый первый гусь былъ квартального Богданова: у другого бойца, у живого крыла отрывалъ; и чтобы этого гуси кто-нибудь не пакормилъ моченымъ горохомъ, или иначе какъ не повредилъ,—квартальный его, бывало, на себѣ въ плетушкѣ за спину носилъ: такъ любилъ его. У протодьякона же гусь былъ глинистый, и когда дрался—страшино гоготаль и шипѣль. Публики собирались множество. А на кулачки биться мѣщане съ семинаристами собирались или на ледѣ, на Окѣ, подъ мужскими монастыремъ, или къ Навугорской заставѣ, тутъ сходились и шли, стѣна на стѣну, во всю улицу. Бивались часто на отчаянность. Правило такое только было, чтобы бить въ подвздохъ, а не по лицу, и не класть въ рукавицы мѣдныхъ большихъ гривенъ. Но, однако, это правило не соблюдалось. Часто случалось, что стащутъ домой человѣка на рукахъ и отысковѣдывать не успѣютъ, какъ ужъ и преставился. А многие оставались, но чахли. Мнѣ же отъ маменьки позволеніе было только смотрѣть, но самому въ стѣну чтобы не становиться. Однако, я грѣшень бытъ, и въ этомъ покойной родительницѣ являлся непослушенъ: сила моя и удалъ нудили меня, и если, бывало, мѣщанская стѣна дрогнетъ, а семинарская стѣна на нее очень наваливается и гнать станетъ,—то я, бывало, не вытерплю и становился. Сила у меня съ раннихъ поръ такая состояла, что, бывало, чуть я въ гонимую стѣну вскочу, крикну: «Господи благослови! бей, ребята, духовенныхъ!» да какъ почну противъ себя семинаристовъ подавать, такъ всѣ и посыпятся. Но славы себѣ я не искалъ, и даже, бывало, всѣхъ объ одномъ только прошу: «Братцы! пожалуйста, сдѣлайте милость, чтобы по имени меня не называть»—потому что боялся, чтобы маменька не узнала.

Такъ я прожилъ до девятнадцати лѣтъ и быть здоровъ столь ужасно, что со мною стали обмороки, и кровь носомъ шила. Тогда маменька стали подумывать меня женить, чтобы

не началь на Съкерецкий заводъ ходить, или не стать съ перекрещенками баловаться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Начали къ намъ по этому случаю приходить въ салопахъ свахи, и съ Нижнихъ улицъ, и съ Кромской, и съ Каравеевской, и разныхъ матушкѣ для меня невѣсть предлагали. Отъ меня это все велось въ секретѣ, такъ что всѣ знали больше, чѣмъ я. Треначи наши подъ сараемъ и тѣ бывало говорить:

— Тебя, Михайло Михайлычъ, маменька женить собирается. Какъ же ты самъ на это, сколько согласенъ? Ты смотри—знай, что жена тебя послѣ вѣнца щекотать будетъ, но ты не робѣй,—ты ее самъ какъ можно щекочи въ бока, а то она тебя защекочеть.

Я, бывало, только краснѣю. Догадывался, разумѣется, что что-то до меня касается, но самъ никогда не слыхалъ, про какихъ невѣсть у маменьки съ свахами идуть разговоры. Какъ придется одна сваха, или другая,—маменька съ нею запрутся въ образнѣй, сидутъ ко крестамъ, самоваръ спросить и все наединѣ говорять, а потомъ сваха выйдетъ, погладить меня по головѣ, и обнадеживаетъ:

— Не тужи, молодчикъ Мининъка; вотъ ужъ скоро не будешь одинъ скучать, скоро мы тебя обрадуемъ.

А маменька даже, бывало, и за это сердится и говорить:

— Ему это совсѣмъ не надо знать; что я надѣю его головой рѣшу, то съ нимъ и быть должно. Это какъ въ писаніи.

Я и не тужилъ; мнѣ было все равно: жениться такъ жениться, а придется дѣло до щекотки, тогда увидимъ еще кто кого.

Тетушка же Катерина Леонтьевна шла противъ маменькинаго желанія и меня противъ ихъ научала.

— Не женись, говорила,—Миниа, на орловской,—ни за что не женись. Ты смотри: здѣшнія орловскія всѣ какъ переверчены—не то онѣ купчихи, не то благородныя. За офицеровъ выходятъ. А ты проси мать, чтобы она взяла тебѣ жену изъ Ельца, откуда мы сами съ ней родомъ. Тамъ въ купечествѣ мужчины гуляки, но невѣсты есть настоящія дѣвицы: не щепотницы, а скромныя,—на офи-

щеровъ ис смотрятъ, а въ платочекъ молиться ходить, и старымъ русскимъ крестомъ крестятся. На такой какъ женившись, то и благодать въ домъ приведешь, и самъ съ женой по-старому молиться начнешь, а я тебѣ тогда все свое добро откажу, а ей отдамъ свое Божіе благословеніе и жемчугъ окатный, и серебро, и пронизи, и парчевые шуги, и тѣлогрѣбы, и все болховское вязаніе.

И было у тетеньки съ маменькой на этотъ счетъ тихое между нихъ неудовольствіе, потому что маменька уже совсѣмъ были отъ старой вѣры отставши и по новымъ святымъ Варварѣ великомученицѣ акаѳистъ читали. Они жену мнѣ хотѣли взять изъ орловскихъ для того, чтобы у насть было обновленіе родства.

— По крайней мѣрѣ, говорили, чтобы на прощенные дни, передъ постомъ, было намъ къ кому на прощанье съ хлѣбами єздить и къ намъ чтобы было кому завитые хлѣбы привозить.

Маменька любили потому эти хлѣбы на сухари рѣзать и въ посту въ чай съ медомъ обмакивать, а у тетеньки надо совсѣмъ выше стояло ихъ древнее благочестіе.

Спорили опѣ спорили, а все дѣло сдѣлалось иначе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Подвернулся вдругъ самый нежданній случай.

Сидимъ мы разъ съ тетушкой, на святкахъ, послѣ обѣда у оконечка, толкуемъ что-то отъ божества и єдимъ въ посѣпѣ моченые яблоки, и вдругъ замѣчаемъ—у нашихъ воротъ на улицѣ, на снѣгу, стоять тройка ямскихъ коней. Смотримъ—изъ-подъ кибитки изъ-за кошмы вылѣзаетъ высокий человѣкъ въ калмыцкомъ тулуни, темнымъ сукномъ крытъ, алымъ кушакомъ подпоясанъ, зеленымъ гаруснымъ шарфомъ во весь поднятый воротникъ обверченъ, и длинные концы на груди жгутомъ свиты и за пазуху сунуты, на головѣ яломокъ, а на ногахъ телячи сапоги мѣхомъ вверхъ.

Всталъ этотъ человѣкъ и вытряхивается, какъ пудель, отъ снѣга, а потомъ, вмѣстѣ съ ямщикомъ, заѣхалъ изъ кибитки изъ-подъ кошмы другого человѣка въ бобровомъ картузѣ и въ волчьей шубѣ и держитъ его подъ руки, чтобы онъ могъ на ногахъ устояться, потому что ему скользко на подшивныхъ валенкахъ.

Тетенька Катерина Леонтьевна очень обезпокоилась, что это за люди и зачём у нашихъ воротъ высаживаются, а какъ волчью шубу увидала, такъ и благословила:

— Господи Иисусе Христе, помилуй насть, аминь! говорить.—Вѣдь это братецъ Иванъ Леонтьичъ, твой дядя, изъ Ельца пріѣхалъ. Чѣмъ это съ нимъ случилось? Съ самыхъ отцовъхъ похоронъ три года здѣсь не былъ, а тутъ вдругъ привалилъ на святкахъ. Скорѣе бери ключъ отъ воротъ, бѣжи ему встречу.

Я бросился искать маменьку, а маменька стали ключь искать и насили его нашли въ образникѣ, да пока я выѣждалъ къ воротамъ, да замокъ отпирать стали, да засовъ вытаскивать, тройка уже и отѣхала, и тотъ, что въ калмыцкомъ тулуниѣ былъ, уѣхалъ въ кибиткѣ, а дядя одинъ стоитъ, за скобку держится и сердится.

— Что это, говорить,—вы, какъ тетери, днемъ закупорились.

Маменька съ нимъ здравствуются и отвѣчаетъ:

— Развѣ вы, говорить,—братецъ, не знаете, какое у насъ орловское положеніе? Постоянно съ ворами, и день, и ночь отъ полиціи запираемся.

Дядя отвѣчаетъ, что это у всѣхъ одно положеніе: Орелъ да Кромы—первые воры, а Карабашъ на придачу, а Елецъ всѣмъ ворамъ отецъ.—И мы, говорить,—тоже отъ своей полиціи запираемся, но только на ночь, а па что же днемъ? Миѣ то и непріятно, что вы меня днемъ на улицѣ у воротъ оставили; у меня валенки кожей обшиты—идти нельзя, скользко,—а я пріѣхалъ по церковной надобности не съ пустыми руками. Помилуй Богъ, какой орловчинъ съ шен рванеть и уѣхжть, а миѣ догонять нельзя.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Мы всѣ извинились передъ дяденькой, отвели его въ комнату изъ дорожного платья пересодѣваться. Переобулся Иванъ Леонтьичъ изъ валенковъ въ сапоги, одѣлъ сюртукъ и сѣлъ къ самовару, а матушка стала его спрашивать: по какому онъ такому церковному дѣлу пріѣхалъ, что даже на праздничныхъ дняхъ побезпокоился, и куда его попутчикъ отъ нашихъ воротъ дѣлся?

А Иванъ Леонтьевичъ отвѣчаетъ:

— Дѣло большое. Развѣ ты не понимаешь, что я нынче

ктиоръ, а у насть на самый первый день праздника дьяконъ оборвался.

Маменька говорить:—Не слышали.

— Да вѣдь у васъ когда же о чѣмъ-нибудь интересномъ слышать! Такой ужъ у васъ городъ глухлый.

— Но какимъ же это манеромъ у васъ дьяконъ оборвался?

— Ахъ, это онъ, мать моя, пострадалъ черезъ свое усердіе. Сталь служить хорошо по случаю освобожденія отъ галловъ, и все громче, да громче, да еще громче, и вдругъ какъ возгласилъ о «спасеніи» — такъ ему жила и лопнула. Подступили его съ амвона сводить, а у него уже полопъ сапогъ крови напекло.

— Умеръ?

— Нѣть. Купцы не допустили: лѣкаря нанили. Наши купцы развѣ такъ бросятъ? Лѣкарь говорить: можетъ еще на поправку пойти, но только голоса уже не будетъ. Вотъ мы и прїѣхали сюда, съ напімъ съ первымъ прихожаниномъ, хлопотать, чтобы нашего дьякона отъ насть куда-нибудь въ женскій монастырь монашкамъ свели, а себѣ здѣсь должны выбрать у васъ промежду всѣхъ одного самаго лучшаго.

— А это кто же вашъ первый прихожанинъ и куда онъ отѣхалъ?

— Нашъ первый прихожанинъ называется Павелъ Миронычъ Мукомоль. На московской богачихѣ женатъ. Цѣлую недѣлю свадьбу праздновали. Очень ко храму привержентъ и службу всякую церковную лучше протодьякона знать. Затѣмъ его всѣ и упросили: побѣжжай, посмотри и выбери; чтѣ тебѣ полюбится — то и намъ будетъ любо. Его всякъ старъ и малъ почитаетъ. И онъ при огромномъ своемъ капиталѣ, что три дома имѣть и свѣтчной заводъ, и крупчатку, а сейчасъ послушался и для церковной надобности все оставилъ и полетѣлъ. Онъ пока въ Рѣчинской гостиницѣ номеръ возьметъ. Шалять у васъ тамъ, или честно?

Маменька отвѣчаютъ:—Не знаю.

— То-то вотъ и есть, что вы живете и ничего не знаете.

— Мы гостиницѣ боимся.

— Ну, да ничего; Павла Мироныча тоже не легко обидѣть: сильнѣй его ни въ Ельцѣ, ни въ Ливнахъ кулачника

иуть. Чѣдни бой—то два да три кулачника отъ его руки падаютъ. Онъ въ прошломъ году, постомъ, нарочно въ Тулуѣдилъ, и даромъ, что мукомоль, а тамъ двухъ самыхъ первыхъ самоварниковъ такъ сразу съ грыжей и сдѣлалъ.

Маменька и тетенька перекрестились.

— Господи! говорятъ: — зачѣмъ же ты такого къ намъ съ собой на святые вечера привезъ?

А дяденька смѣется:

— Чего, говорить, — вы, бабы, испугались! Нашъ прихожанинъ хороший человѣкъ, и по церковному дѣлу мнѣ безъ него обойтись невозможно: мы съ нимъ прѣѣхали на живую минуту, чтобы обобрать въ свою пользу чѣдни годится, и уѣхать.

Матушка съ тетей опять ахнули.

— Что ты это, братецъ, зачѣмъ такое страшное шутишь! Дядя еще веселѣе разсмѣялся.

— Эхъ вы, говорить,—вороны-сударыни, купчихи орловскій! У васъ и городъ-то не то городъ, не то пожарище,— ни на что не похожъ, и сами-то вы въ немъ всѣ какъ капчужки въ коробкѣ заглохи! Нѣть, далеко вамъ до нашего Ельца, даромъ что вы губернскіе. Нашъ Елецъ хоть уѣздъ-городокъ, да Москвы уголокъ; а у васъ чѣдни и есть хорошаго, такъ вы и то цѣнить не можете. Вотъ мы это-то самое у васъ и отберемъ.

— Что же это такое?

— Дьяконъ намъ хороший въ приходѣ нуженъ, а у васъ, говорятъ, есть два дьякона съ голосами: одинъ у Богоявленья, въ Ридахъ, а другой на Дьячковской части, у Никитѣя. Выслушаемъ ихъ во всѣхъ манерахъ, какъ Павель Миронычъ покажеть, чѣдни нашему, къ елецкому вкусу подходитшее, и котораго изберемъ, того къ себѣ сманимъ и уговоръ сдѣлаемъ; а который намъ не годится — тому во второй номерѣ: за беспокойство получай на рису деньгами. Павель Миронычъ теперь уже побѣжалъ собирать ихъ на пробу, а мнѣ сейчасъ надо идти къ Борисоглѣбскому собору; тамъ, говорятъ, у васъ есть гостинникъ, у котораго всегда пустая гостиница. Вотъ въ этой, въ пустой гостиницѣ, возьмемъ три номера насѣквозь и будемъ пробу дѣлать. Долженъ ты, братъ Мишутка, сейчасъ мени туда вести въ провожатыхъ.

Я спрашивала:

— Это вы, дяденька, ми́й говорите?

Онъ отвѣтчаетъ:

— Извѣстно, тебѣ. Кто же еще, кромѣ тебя, Мишутка? Ну, а если обижаешься, такъ, пожалуй, назову тебя Михайло Михайловичъ: окажи родственную услугу—проводи, сдѣтай милость, на чужой сторонѣ дядю родного.

Я откашилился и вѣжливо отвѣтчалъ:

— Это, дяденька, состоить не въ томъ расчисленіи: яничъ не обижаюсь и готовъ со всей моей радостью, но я самъ собой не владѣю, а какъ маменька прикажетъ.

Маменьку же это совершенно не понравилось:

— Зачѣмъ, говорить,—вамъ, братецъ, въ такую компанию съ собой Мишу брать? Можно сдѣлать, что вѣсть другой кто-нибудь проводитъ.

— Ми́й съ племянникомъ-то приличный ходить.

— Ну, что онъ еще знаетъ!

— Да, небось, все знаетъ. Мишутка, знаешь все?

Я застыдился.

— Нѣть, говорю,—я всего знать не могу.

— Почему же такъ?

— Маменька не позволяютъ.

— Вотъ такъ дѣло! А какъ ты думаешь: родной дядя всегда можетъ во всемъ племянникомъ руководствовать, или нѣтъ? Разумѣется, можетъ. Одѣвайся же сейчасъ и пойдемъ во всѣ слѣды, пока дойдемъ до бѣды.

Я то тронусь, то стою какъ пень: и его слушаю, и вижу, что маменька ни за что не хотятъ меня отпустить.

— У насть, говорить,—Миша еще младъ, и со двора онъ въ вечернее время никуда выходить не обыкъ. Зачѣмъ же тебѣ его непремѣнно? Теперь не оглянешься, какъ и сумерки, и воровской честь будетъ.

Но тутъ дядя на нихъ даже и покричала:

— Да полно вамъ, въ самомъ дѣлѣ, дурачиться! Что вы это парня въ бабьемъ рукавѣ парите! Малый выросъ такой, что вола убить можетъ, а вы его все въ дѣткахъ бережете. Это одна ваша женская глупость, а онъ у вѣсть отъ этого хуже будетъ. Ему надо развитіе силь жизни имѣть и утвержденіе характера, а ми́й онъ нуженъ потому, что, помилуй Богъ, на меня, въ самомъ дѣлѣ, въ темнотѣ или гдѣ-нибудь въ закоулкѣ ваши орловскіе воры нападутъ, или полиція обходомъ встрѣтится — такъ, вѣдь,

со мной вѣсъ наши деньги на хлопоты... Вѣдь сумма есть, чтобы и оборванного дьякона монашкамъ сбыть, и себѣ сманиить сильнаго... Неужели же вы, родныя сестры, столь безродственны, что хотите, чтобы меня, брата вашего, по головѣ ограбили, или въ полицію бы забрали, а тамъ бы я послѣ безо всего оказался?

Матушка говоритъ:

— Боже отъ этого сохрани — не въ одномъ Ельцѣ уважаютъ родственность! Но ты возьми съ собой приказчика или даже хоть двухъ молодцовъ изъ трепачей. У насть трепачи изъ кромчанъ, страсть, очень сильные, фунтовъ по восьми въ день одного хлѣба ѳдятъ безъ приварка.

Дядя не захотѣлъ.

— На что, говорить, — мнѣ годятся наемные люди. Это вамъ, сестрамъ, даже стыдно и говорить, а мнѣ съ ними идти стыдно и страшно. Кромчане! Хороши тоже люди называются! Они пойдутъ провожать, да сами же первые и убьютъ, а Миша мнѣ илемянникъ,—мнѣ съ нимъ, по крайней мѣрѣ, смѣло и прилично.

Сталь на своемъ и не уступаетъ.

— Вы, говорить,—мнѣ въ этомъ никакъ отказать не можете,—иначе я родства отрекаюсь.

Этого матушки съ тетенькой испугались и переглядываятся другъ на дружку: дескать, чтѣ намъ дѣлать — какъ быть?

Иванъ Леонтьич настаиваетъ:

— И то, говорить,—поймите: можете ли вы еще отказать для одного родства? Помните, что я его беру не для какой-нибудь своей забавы или для удовольствія, а по церковной надобности. Посовѣтуйтесь-ка, можно ли въ этомъ отказать? Это отказать — все равно, что для Бога отказать. А онъ, вѣдь, рабъ Божій и Богъ съ нимъ волентъ: вы его при себѣ хотите оставить, а Богъ возьметъ да и не оставитъ.

Ужасно какой быть на словахъ убѣдительный.

Маменька испугались.

— Полно тебѣ, пожалуйста, говорить такія страсти.

А дядя опять весело расхохотался.

— Ахъ, вороны-сударыни! Вы и словъ-то силы не понимаете! Кто же не рабъ Божій? А я вотъ вижу, что вамъ самимъ ни на что не рѣшиться, и я самъ его у васъ изъ подъ крыла выпибу...

И съ этимъ хватъ меня за плечо и говорить:

— Поднимайся сейчасъ, Миша, и одѣвай гостиное платье,— я тебѣ дядя, и старикъ, сѣдыхъ лѣтъ дожившій. У меня внуки есть, и я тебя съ собою беру на свое испеченіе и велю со мной слѣдоватъ.

Я смотрю на мать и на тетеньку, а самому мнѣ такъ на нутрѣ весело, и эта дяденькина елецкая развязка очень мнѣ нравится.

— Кого же, говорю,— я долженъ слушать?

Дядя отвѣчаетъ:

— Самаго старшаго надо слушать — меня и слушай. Я тебя не на вѣкъ, а всего на одинъ часъ беру.

— Маменька! вонію.—Чтѣ же вы мнѣ прикажете?

Маменька отвѣчаетъ:

— Что же... если всего на одинъ часъ, такъ ничего — одѣвай гостиное платье иди, проводи дядю; по больше одного часу ни одной минуты не оставайся. Минуту промедлишь — умру со страха!

— Ну, вотъ еще, говорю,—приключение! Какъ это я могу въ такой точности знать, что часъ уже прошелъ и что новая минута начинается, — а вы межъ тѣмъ станете беспокоиться...

Дядя хохочетъ.

— На часы, говорить,— па свои посмотришь и время узнаешь.

— У меня, отвѣчаю,—своихъ часовъ нѣть.

— Ахъ, у тебя еще до сей поры даже и часовъ своихъ нѣть! Плохо же твое дѣло!

А маменька отзываются:

— На что ему часы?

— Чтобы время знать.

— Ну... онъ еще младъ... ихъ заводить не сумѣсть... На улицѣ слышно, какъ на Богоявленіи и на дѣвичьемъ монастырѣ часы бьютъ.

Я отвѣчу:

— Вы развѣ не знаете, что на богоявленскихъ часахъ чера гиря сорвалась, и они не бьютъ.

— Ну, такъ дѣвичьи.

— А дѣвичьихъ никогда не слышно.

Дядя вмѣшился и говорить:

— Ничего, ничего: одѣвайся скорѣй и пе бойся про-

срочить. Мы съ тобою зайдемъ къ часовщику, и я тебѣ въ подарокъ часы куплю. Пусть у тебя за провожанье дядина память будетъ.

Я какъ про часы услыхалъ — весь возгорѣлся: скрѣе у дяди руку чмокъ, надѣлъ на себя гостиное платье и готовъ.

Маменька благословила и еще иѣсколько разъ сказала:
— Только на одинъ часъ!

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Дяденька былъ своего слова баринъ. Какъ только мы вышли, онъ говорить: — Свисти скрѣе живейнаго извозчика — пойдемъ къ часовщику.

А у насъ тогда, въ Орлѣ, путные люди на извозчикахъ по городу еще не ъздили. Ъздили только какіе-нибудь гуляки, а больши извозчики стояли для наемщиковъ, которые въ Орлѣ за другихъ во всѣ мѣста въ солдаты нанимались.

Я говорю:

— Я, дяденька, свистать умѣю, но не могу, потому что у насъ на живейникахъ наемщики ъздятъ.

Онъ говорить: «Дуракъ!» — и самъ засвисталъ. А какъ подѣхали, опять говоритъ:

— Садись безъ разговора! Шѣникомъ въ часъ оборотить къ твоимъ бабамъ не посигбемъ, а я имъ слово даль и мое слово олово.

Но я отъ стыда себя не помню и съ извозчика свѣнивалась.

— Что ты, говорить, — ерзаешь?

— Помилуйте, говорю, — подумаютъ, что я наемщикъ.

— Съ дядей-то?

— Васъ здѣсь не знаютъ; скажутъ: вотъ оно его уже катаетъ, по всѣмъ мѣстамъ обвезетъ, а потомъ закороводитъ. Маменьку стыдить будуть.

Дядя ругаться началь.

Какъ я ни упирался, а долженъ былъ съ нимъ рядомъ сидѣть, чтобы скандала не заводить. Ъду, а самъ не знаю, куда мнѣ глаза дѣть, — не смотрю, а вижу и слышу, будто всѣ кругомъ говорятъ: «Вонъ оно какъ! Арины Леонтьевны Минна-то ужъ на живейномъ ъдется — вѣрно въ хорошее мѣсто!» Не могу вытерпѣть!

— Какъ, говорю,—вамъ, дяденька, угодно, а только я долой соскочу.

А онъ меня прихватилъ и смеется.

— Неужели, говорить,—у васъ въ Орль уже всѣ подъ рядъ дураки, что будуть думать, будто старый дядя станетъ тебя куда-нибудь по дурнымъ мѣстамъ возить? Гдѣ у васъ тутъ самый лучший часовщикъ?

— Самый лучший часовщикъ у насть иѣмецъ Кернъ почитается; у него на окнахъ арапъ съ часами на головѣ во всѣ стороны глазами мигаетъ. Но только къ нему черезъ Орлицкій мостъ надо на Болховскуюѣхать, а тамъ въ магазинахъ знакомые купцы изъ оконъ смотрятъ; и мимо ихъ ни за что на живейномъ не поѣду.

Дядя все равно не слушаетъ.

— Пошелъ, говорить,—извозчикъ, на Болховскую, къ Керну.

Пріѣхали. Я его упросилъ, чтобы онъ хоть здѣсь отпустилъ извозчика,—что я назадъ ни за что въ другой разъ по тѣмъ же улицамъ не поѣду. На это онъ согласился. Меня назвалъ еще разъ дуракомъ, а извозчику даль пятиалтынный и часы миѣ купилъ серебряные съ золотымъ ободочкомъ и съ цѣпичкой.

— Такіе, говорить,—часы у насть, въ Ельцѣ, теперь самые модные; а когда ты ихъ заводить пріучишься, а я другой разъ пріѣду—я тебѣ тогда золотые куплю и съ золотой цѣпичкой.

Я его поблагодарилъ и часамъ очень радъ, но только прошу, чтобы все-таки онъ больше на извозчикахъ со мною не єздилъ.

— Хорошо, хорошо, говорить,—веди меня скорѣе въ Борисоглѣбскую гостиницу; памъ надо тамъ сквозной померъ наянть.

Я говорю:

— Это отсюда рукой подать.

— Ну, и пойдемъ. Намъ здѣсь у васъ въ Орль прохлаждаться некогда. Мы зачѣмъ пріѣхали? Себѣ голосистаго дьякона выбрать сейчасъ;—это и дѣлать. Время терять не-когда. Проведи меня до гостиницы и самъ ступай домой къ матери.

Я его проводилъ, а самъ поскорѣе домой.

Прибѣжалъ такъ скоро, что всѣго часа еще не прошло, какъ вышелъ, и своимъ дядинъ подарокъ, часы, показываю.

Маменька посмотрѣла и говоритъ:

— Что жъ... очень хороши, — повѣсь ихъ у себя надъ кроватью на стѣнку, а то ты ихъ потеряешь.

А тетенька отнеслась еще съ критикой:

— Зачѣмъ же это, говорить, — часы серебряные, а ободокъ желтый?

— Это, отвѣчаю, — самое модное въ Ельцѣ.

— Пустяки какіе, говорить, — у нихъ въ Ельцѣ выдумываютъ. Старики умираютъ въ Ельцѣ жили — все носили одного званія: серебряные часы такъ серебряные, а золотые такъ золотые; а это на что одно съ другимъ совокуплено настолько, что Богъ разно по землѣ разсѣялъ.

Но маменька помирели, что даровому коню въ зубы не смотрять, и опять сказали:

— Поди въ свою комнату и повѣсь надъ кроваткой. Я тебѣ, въ воскресенье, подъ нихъ монашкамъ закажу вышить подушечку съ бисеромъ и съ рыбными чешуйками, а то ты какъ-нибудь въ карманѣ стекло раздавишь.

Я весело говорю:

— Починить можно.

— Какъ чинить понадобится, тогда часовщикъ сейчасъ магнитную стрѣлку на камень въ серединѣ перемѣнить, и часы прошли. Лучше поди скорѣе повѣсь.

Я, чтобы не спорить, вбѣль надъ кроваткой гвоздикъ и повѣсила часы, а самъ прилегъ на подушку и гляжу на нихъ, любуясь. Очень мнѣ пріятно, что у меня такая благородная вещь. И какъ они хорошо, тихо тикаютъ: тикъ-тикъ-тикъ-тикъ... Я слушаю, слушаю да и заснуль. Пробуждаюсь отъ громкаго разговора въ залѣ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Раздается за стѣною и дядинъ голосъ, и еще чай-то другой, незнакомый голосъ; а тоже слышно, что и маменька съ тетенькой тутъ находятся.

Незнакомый разсказывать, что онъ былъ уже у Богоявленія и тамъ дьякона слушалъ, и у Никиты тоже былъ, но «надо, говорить, — ихъ вровняхъ ровно поставить и подъ свой камертонъ слушать».

Дядя отвѣчаетъ:

— Что же, действуй; я въ Борисоглѣбской гостиницѣ все приготовилъ. Сквозь всѣ комнаты открыты будуть. Пріѣзжихъ никого нѣть, — кричите сколько хотите, обижаться будетъ некому. Отличная гостиница: туда только одни приказные изъ палатъ ходятъ съ челобитчиками, пока присутствіе; а вечеромъ совершенно никого нѣть, и даже передъ окнами какъ лѣсь стоять оглобли да лубки на Полѣнѣской площади.

Незнакомый отвѣтъ:

— Это намъ и нужно, а то у нихъ тоже нахальные любители есть и непремѣнно соберутся мой голосъ слушать и пересмѣшивать.

— А ты развѣ боишься?

— Я не боюсь, а за нахальство разсержусь и побью.

А у самого у него голосъ какъ трубы.

— Я имъ, говорить,—на свободѣ всѣ примѣры объясню, какъ въ нашемъ городѣ любятъ. Послушаемъ, какъ они подведутъ и покажутъ себя на всѣ лады: какъ ворчкомъ при облаченіи, какъ середину, какъ многолѣтній верхъ, какъ «во блаженномъ успеніи» воипль пустить и памятную заловую сдѣлать. Вотъ и вся недолга.

И дядя согласился:

— Да, говорить,—надо ихъ сравнять и тогда для всѣхъ безобразное решеніе сдѣлать. Который къ нашему елецкому фасону больше потрафить, — о томъ станемъ хлопотать и къ себѣ его сманимъ, а который слабже выйдетъ, — тому дадимъ на рису за беспокойство.

— Бери деньги съ собою,—а то у нихъ крадутъ.

— Да и ты тоже свои съ собой бери.

— Хорошо.

— Ну, а теперь ты иди уставляй угощеніе, а я за дьяконами поѣду. Они просили, чтобы въ сумерки, — потому что нашъ народъ, говорять, шельма: все пронюхасть.

Дядя и на это отвѣтъ согласно, но только говорить:

— Я вотъ этихъ сумерекъ-то у нихъ въ Орлѣ боюсь, а теперь скоро совсѣмъ стемнѣеть.

— Ну, я, отвѣтъ незнакомый,—ничего не боюсь.

— А какъ ихній орловскій подлѣтъ съ тебя шубу стащить?^{*)}

^{*)} «Подлѣтъ» — по стар. орловски то же, что въ Москвѣ «жуликъ», или въ Петербургѣ «мазурикъ» (см. «Историч. оч. г. Орла» Насецкаго, 1874 г.).

— Ну, какъ же. Такъ-то онъ съ меня и стащить! Лучше пусть не попадется, а то я, пожалуй, и самъ съ него все стащу.

— Хорошо, что ты такъ силенъ.

— А ты съ илемянникомъ ступай. Парнище такой, что кулакомъ вола ушибить можетъ.

Маменька отзыается:

— Миша слабъ,—гдѣ ему защищаться!

— Ну, пусть мѣдныхъ пятаковъ въ перчатку возьметъ, тогда и крѣпкость сдѣлается.

Тетенька отзыается:

— Ишь, что выдумаетъ.

— Ну, а чѣмъ я худо сказалъ?

— На все у васъ въ Ельцѣ, видно, свое правило.

— А то какъ же? У васъ губернаторъ правила устанавливаетъ, а у насъ губернатора нѣть,—вотъ мы зато и сами себѣ даемъ правило.

— Какъ бить человѣка?

— Да, и какъ бить человѣка есть правила.

— А вы лучше до воровскаго часу не оставайтесь, такъ ничего съ вами и не приключится.

— А у васъ въ Орлѣ въ которомъ часу настаетъ воровской часъ?

Тетушкина отвѣчаетъ изъ какой-то книги:

— «Егда люди потрапезуютъ и помолятся уснуть, въ той часъ возстаютъ татіе и исходя грабятъ».

Дядя съ незнакомымъ разсмѣялись. Имъ это все, что маменька съ тетенькой говорили, казалось будто невѣроятно или неразсудительно.

— Чего же, говорять,—у васъ въ такомъ случаѣ полицмейстеръ смотрѣть?

— Тетенька опять отвѣчаетъ отъ Писанія:

— «Аще не Господь хранить домъ — всуе бдить стрѣгій». Полицмейстеръ у насъ есть съ названіемъ Цыганокъ. Онъ свое дѣло и смотрѣть, хочетъ имѣнья купить. А если кого ограбить, онъ говорить: «Зачѣмъ дома не спаль? И не ограбили бъ».

— Онъ бы лучшіе чаше обходы посыпалъ.

— Ужъ посыпалъ.

— Ну, и что же?

— Еще хуже стали грабить

— Отчего же такъ?

— Нензвѣстно. Обходъ пройдеть, а подлѣты за нимъ
всегдѣ—и грабить.

— А можетъ-быть не подлѣты, а сами обходные и грабили.

— Можетъ-быть и они грабили.

— Надо съ квартальнымъ.

— А съ квартальнымъ еще того хуже, — на него, если
пожалуешься, такъ ему же и за безчестье заплатишь.

— Экій городъ несуразны! — вскричалъ Павель Миронычъ (я догадался, что это былъ онъ), и простился и вышелъ, а дядя пошевеливается и еще разсуждаетъ:

— Нѣть, и виравду, говорить, — у насъ въ Ельцѣ лучше.
Я на живейномъ пойду.

— Не ѿди на живейникъ! Живейный тебя обереть, да
и съ санокъ долой скинетъ.

— Ну, такъ какъ хотите, а я опять племянника Мину
съ собой возьму. Насъ съ нимъ вдвоемъ никто не обидить.

Маменька сначала и слышать не хотѣла, чтобы меня от-
пустить, но дядя стала обижаться и говорить:

— Что же это такое: я же ему часы съ ободкомъ пода-
рилъ, а онъ неужели будетъ ко мнѣ неблагодарный и пустой
родственной услуги не окажетъ? Не могу же я теперь все
дѣло разстроить. Павель Миронычъ вышелъ при моемъ
полномъ обѣщаніи, что я съ ними буду и все приготовлю,
а теперь вмѣсто того что же, я долженъ, наслушавшись ва-
шихъ страховъ, дома, что ли, оставаться, или одинъ на вѣр-
ную ногибель идти?

Тетенька съ маменькой притихли и молчать.

А дядя настаиваетъ:

— Ежели бъ, говорить, — моя прежняя молодость, когда
мнѣ было хоть сорокъ лѣтъ, — такъ я бы не побоялся под-
лѣтовъ, а и мужъ въ лѣтахъ, мнѣ шестьдесятъ пятый годъ,
и если съ меня далеко отъ дому шубу долой стащутъ, то
я пока безъ шубы приду, непремѣнно воспаленіе плечъ по-
лучу, и тогда мнѣ надо молодую рожечницу кровь оттянуть,
или я тутъ у вѣсъ и околѣю. Хороните меня тогда здѣсь
на свой счетъ у Ивана Крестителя, и пусть надъ моимъ
гробомъ вспомнятъ, что твой Минка своего дядю родного,
въ своемъ отечественномъ городѣ, безъ родственной услуги
оставилъ, и одинъ разъ въ жизни проводить не пошелъ...

Тутъ мнѣ стало такъ его жалко и такъ совѣтно, что я сразу же выскочилъ и говорю:

— Нѣть, маменька, какъ вамъ угодно, но я дяденьку безъ родственной услуги не оставлю. Неужели я буду неблагодарный, какъ Альфредъ, котораго ряженые солдаты по домамъ представляютъ? Я вамъ въ ножки кланяюсь и прошу позволенія, не заставьте меня быть неблагодарнымъ, дозвольте мнѣ дядюшку проводить, потому что они мнѣ родной и часы мнѣ подарили, и мнѣ будетъ отъ всѣхъ людей совѣтно ихъ безъ своей услуги оставить.

Маменька, какъ ни смущались, должны были меня отпустить, но только ужъ зато строго-престрого наказывали, чтобы и не пиль, и по сторонамъ не смотрѣть, и никуда не заходить, и поздно не запаздывался.

Я ее всячески успокоиваю.

— Что вы, говорю, — маменька: зачѣмъ по сторонамъ, когда есть прямая дорога. Я при дядѣ.

— Все-таки, говорятъ, — хоть и при дядѣ, а до воровскаго часу не оставайся. Я спать не буду, пока вы домой обратите.

А потомъ стала меня за дверью крестить и шепчетъ:

— Ты на своего дяденьку Ивана Леонтьевича не очень смотри: они въ Ельцѣ всѣ колобродники. Къ нимъ даже и въ дома-то ихъ ходить страшно: чиновниковъ зазовутъ уговаривать, а потомъ въ ротъ силой льютъ, или выливаютъ за воротъ, и шубы сирячатъ, и ворота запрутъ, и запоютъ: «Кто не хочетъ пить — того будемъ бить». Я своего братца на этотъ счетъ знаю.

— Хорошо-стъ, отвѣчаю, — маменька; хорошо, хорошо! Во всемъ за меня будьте покойны.

А маменька все свое:

— Сердце мое, говорятъ, — чувствуетъ, что это у васъ добромъ не кончится.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Наконецъ, вышли мы съ дяденькой наружу за ворота и пошли. Что такое съ нами подлѣты двумя могутъ сдѣлать? Маменька съ тетенькой, извѣстно, домосѣдки и не знаютъ того, что я одинъ по десяти человѣкъ на одинъ кулакъ колотилъ въ бою. Да и дяденька еще, хоть и пожилой человѣкъ, а тоже за себя постоять могутъ.

Побѣжали мы туда-сюда, въ рыбный лавки и въ репковые погреба, всего накупили и все посыпаемъ въ Борисоглѣбскую, въ номера, съ большими кульками. Сейчасъ самовары грѣть заказали, закуски раскрыли, вино и ромъ разставили и хозяина, борисоглѣбского гостинника, въ компанію пригласили и просимъ.

— Мы ничего нехорошаго дѣлать не будемъ, но только желаніе наше и просьба,—чтобы никто чужой не слыхалъ и не видаль.

— Это, говорить,—сдѣлайте милость; клопъ одинъ развѣ въ стѣнѣ услышить, а больше некому.

А самъ такой соя—все со сна ротъ крестить.

Вскорѣ же и Павель Миронычъ пріѣхалъ и обоихъ дьяконовъ съ собой привезъ: и богоявленского, и отъ Никитія. Закусили сначала кое-какъ, на черно, балычка да икорки, и сейчасъ поблагословились за дѣло, чтобы пробовать.

Три верхніе номера всѣ сквозь въ одно были отворены. Въ одномъ, на кроватяхъ, одежду склали, въ другомъ, крайнемъ, закуску уставили, а въ среднемъ—голоса пробовать.

Прежде Павель Миронычъ посрединѣ комнаты сталь и показалъ, что главное у нихъ въ Ельцѣ купечество отъ дьяконовъ любить. Голосъ у него, я вамъ говорилъ, престрашный, даже какъ будто по лицу бѣть и въ окнахъ на стеклахъ трещить.

Даже гостинникъ очнулся и говорить:

— Вамъ бы самому и первымъ дьякономъ быть.

— Мало ли что!—отвѣчаетъ Павель Миронычъ:—мнѣ, при моемъ капиталѣ, и такъ жить можно, а я только люблю въ священномъ служеніи громкость слушать.

— Этого кто же не любить!

И сейчасъ послѣ того, какъ Павель Миронычъ прокричалъ, начали себя показывать дьяконы: сначала одинъ, а потомъ другой одно и то же самое взглашать. Богоявленский дьяконъ былъ черный и мягкий, весь какъ на ватѣ стеганъ, а никитской рыжий, сухой, что есть хрѣновый корень, и бородка маленькая, смычкомъ; а какъ пошли кричать, выбрать невозможно, который лучше. Въ одномъ родѣ у одного лучше выходить, а въ другомъ у другого пріятнѣе. Сначала Павель Миронычъ представить, какъ у нихъ въ Ельцѣ любить, чтобы издали ворчанье раздавалось. Прорвичъ «Достойно есть», и потомъ «Прободи владыко» и

«Пожри владыко», а потомъ это же самое сдѣлали оба дьякона. У рыжаго ворчокъ вышелъ лучше. Въ чтеніи Павель Миронычъ съ такого съ низа взялъ, что ниже самаго низкаго, какъ будто издалека вѣтромъ наносить: «Во время онно». А потомъ началь выходить все выше да выше и, наконецъ, сдѣлалъ такое воскликновеніе, что стекла зазвѣнѣли. И дьякона въ-ровняхъ съ нимъ не отставали.

Ну, потомъ, такимъ же манеромъ, и все прочее, какъ икатеною вести и какъ ее надо пѣвчимъ въ тонъ подводить, потомъ радостное многолѣтіе «и о спасеніи»; потомъ заунывное—«вѣчный покой». Сухой никитскій дьяконъ за войкою такъ всѣмъ понравился, что и дядя, и Павель Миронычъ начали плакать и его цѣловать и еще упрашивать, нельзя ли развести отъ всего своего естества еще поужаснѣе.

Дьяконъ отвѣчаетъ:

— Отчего же нѣть: мнѣ это религія допускаеть, но надо бы чистымъ ямайскимъ ромомъ подкрѣпиться — отъ него раскатъ въ грудяхъ шире идетъ.

— Сдѣлай твоё одолженіе — ромъ на то изготовленъ: хочешь изъ рюмки пей, хочешь изъ стакана хлеци, а еще лучше обороти бутылку да и перелей все сразу изъ горлышка.

Дьяконъ говорить:

— Нѣть, я больше стакана за разъ не обожаю.

Подкрѣпились—дьяконъ и началъ сниза «во блаженномъ успеніи вѣчный покой» и пошелъ все поднимать вверхъ и все съ густымъ подвоемъ «всѣмъ усопшимъ владыкамъ орловскимъ и сѣвскимъ, Аполлосу же и Досифею, Іоанну же и Гавріилу, Никодimu же и Иннокентію», и какъ доинъ до «с-о-т-т-в-о-о-р-р-и имъ», такъ даже весь кадыкъ клубкомъ въ горлѣ выпятилъ и такую завойку взвыть, что ужасъ сталъ нападать, и дяденька началь креститься и подъ каровать ноги подсовывать, и я за нимъ то же самое. А изъ подъ каровати, вдругъ, что-то башь на насъ по буддажкамъ,—мы оба вскрикнули и вразъ на середину комнаты выскочили и трясемся...

Дяденька въ испугѣ говорить:

— Ну васъ совсѣмъ! Оставьте ихъ... не зовите ихъ больше... они ужъ и такъ адѣсь подъ кроватью толкаются.

Павель Миронычъ спрашивается:

— Кто подъ кроватю можетъ толкаться?

Дядя отвѣтаетъ:

— Покойнички.

Павель Миронычъ, однако, не оробѣлъ: схватилъ свѣчку съ огнемъ, да подъ кровать, а на свѣчку что-то дунуло и подсвѣчникъ изъ рукъ вышибло, и лѣзеть оттуда въ видѣ гакъ будто наигрь купецъ отъ Николы, изъ Мясныхъ рядовъ.

Всѣ мы, кромѣ гостинника, въ разныи стороны кинулись и твердимъ одно слово:

— Чурь нась! чурь!

А за этимъ, изъ-подъ другой кровати, еще другой купецъ выползаетъ. И мнѣ кажется, что и этотъ будто тоже изъ Мясныхъ рядовъ.

— Что же это значитъ?

А эти купцы оба говорятъ:

— Пожалуйста, это ничего не значитъ... Мы просто любимъ басы слушать.

А первый купецъ, который нась съ дядей по ногамъ ударилъ и у Павла Мироныча свѣчу вышибъ, извиняется, что мы его сами сапогами зашибли, а Павель Миронычъ свѣчкою чуть лицо не подпалилъ.

Но Павель Миронычъ разсердился на гостинника и стала его обвинять, что если за номера деньги запложены, такъ не надо было стороннихъ людей безъ спроса подъ кровать накладывать.

А гостинникъ будто все спаль, но оказался сильно вынужденъ.

— Эти хозяева, говорить,—мнѣ оба родственники: я имъ хотѣлъ родственную услугу сдѣлать. Я въ своемъ домѣ, что хочу—все могу.

— Нѣть, не можешьъ.

— Нѣть, могу.

— А если тебѣ запленено?

— Такъ что же, что запленено? Это домъ мой, а мнѣ мои родные всякой платы дороже. Ты побыть здѣсь и уѣдешь, а они здѣсь всегдаши: вы ихъ не пятками ткать, ни глаза имъ жечь огнемъ не смѣете.

— Не нарочно мы ихъ пятками ткали, а только ноги свои подвели,—говорить дядя.

— А вы ногъ бы не подводили, а прямо сидѣли.

— Мы подвели съ ужаса.

— Ну, такъ, что за бѣда. А они къ лерегіи привержены и желали слушать...

Павель Миронычъ вскипѣль.

— Да это нешто, говорить, — лерегія? Это одинъ примеръ для образованія, а лерегія въ церкви.

— Все равно,—говорить гостинникъ:—это все къ одному и тому же касается.

— Ахъ, вы, поджигатели!

— А вы бунтовщики.

— Какіе?

— Дохлымя мясомъ у себя торговали. Засѣдателя на ключь заперли!

И пошли въ этомъ родѣ безконечная глупости. И вдругъ все возмутилось, и уже гостинникъ кричитъ:

— Ступайте вы, мукомолы, вонъ изъ моего заведенія, я съ своими мясниками самъ продолжать буду.

Павель Миронычъ ему и погрозилъ.

А гостинникъ отвѣчаетъ:

— А если грозиться, такъ я, сейчасъ, такихъ орловскихъ молодцовъ кликну, что вы ни одного не переломленаго ребра домой въ Елецъ не привезете.

Павель Миронычъ, какъ первый елецкій силачъ, обидѣлся.

— Ну, что дѣлать, говорить,—зови, если съ мѣста встанешь, а я вонъ изъ номера не пойду; у насъ за вино деньги нючены.

Мясники захотѣли уйти, — вѣрно вздумали людей кликнуть.

Павель Миронычъ ихъ въ кучу, и кричитъ:

— Гдѣ ключь? Я ихъ всѣхъ запру.

Я говорю дядѣ:

— Дяденька! Бога ради! Вотъ мы до чего досидѣлись! Тутъ можетъ убийство выйти! А дома теперь маменька и тетенька ждутъ... Что онѣ думаютъ!.. Какъ беспокоятся!

Дядя и самъ устрашился.

— Хватай шубу, говорить,—пока отперто, и уйдемъ.

Выскочили мы въ другую комнату, захватили шубы, и рады, что на вольный воздухъ выкатились; но только тьма вокругъ такая густая, что и зги не видно, и снѣгъ мокрый-премокрый цѣлыми хлопками такъ въ лицо и лѣпить, такъ глаза и застилаетъ.

— Веди,— говорить дядя:— я что-то вдругъ все забыть—
гдѣ мы, и ничего разсмотрѣть не могу.

— Вы, говорю,— ужъ только скорѣй ноги уносите.

— Павла Мироныча не хорошо что оставили.

— Да, вѣдь, что же съ нимъ дѣлать?

— Такъ-то оно такъ... но первый прихожанинъ.

— Онъ силачъ; его не обидѣть.

А снѣгъ такъ и слѣпить, и какъ мы изъ духоты выскочили, то ни вѣсть чтѣ кажется, будто кто-то со всѣхъ сторонъ вылѣзаетъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Я, разумѣется, дорогу отлично зналъ, потому что го-
родъ нашъ небольшой и я въ немъ родился и выросъ, но
эта темнота и мокрый снѣгъ прямо изъ комнатнаго жара,
да изъ свѣта, точно у меня память отуманили.

— Позвольте, говорю, — дяденька, сообразить, гдѣ мы
находимся.

— Неужели же ты въ своемъ городѣ примѣтъ не знаешь?

— Нѣть, знаю, моль;— первая примѣта у насть два со-
бора! одинъ новый, большой, а другой старый, маленький,
и намъ надо промежду ихъ взять направо, а я теперь за
этимъ снѣгомъ не вижу ни большого собора, ни малаго.

— Вотъ тебѣ и разъ! Этакъ и въ самомъ дѣлѣ съ насть
шубы снимутъ или даже совсѣмъ раздѣнутъ, и нельзя
знать будетъ, куда бѣжать голымъ. На-смерть просту-
диться можно.

— Авось, Богъ дастъ, не раздѣнутъ.

— А ты знаешь этихъ купцовъ, которые изъ-подъ по-
стелей вылѣзли?

— Знаю.

— Обоихъ знаешь?

— Обоихъ знаю, одинъ называется Ефросинъ Ивановъ,
а другой Агафонъ Петровъ.

— И что же—они въ самдѣлѣ купцы?

— Купцы.

— У одного рожка-то мнѣ совсѣмъ не понравилась.

— Чѣмъ?

— Язовитское въ немъ обращеніе.

— Это Ефросинъ: онъ и меня разъ испугалъ.

— Чѣмъ?

— Мечтаниемъ. Я одинъ разъ ишелъ, вечеромъ, ото всепочной мимо ихъ лавокъ и стала противъ Николы помолиться, чтобы пронесъ Богъ, — потому что у нихъ въ рядахъ злыхъ собаки; а у этого купца Ефросина Иваныча въ лавкѣ соловей свищетъ и сквозь заборные доски лампада передъ иконой свѣтится... Я прилегъ къ щелкѣ подглядѣть и вижу: онъ стоитъ съ ножомъ въ рукахъ надъ бычкомъ, — бычокъ у его ногъ зарѣзанъ и связанными ногами брыкается, головой вскидывается; голова мотается на перерѣзанномъ горлѣ и кровь такъ и хлещеть; а другой телокъ въ темномъ углѣ ножа ждетъ, не то мычить, не то дрожать, а надъ парной кровью соловей въ клѣткѣ яростно свищетъ, и вдали за Окою громъ погромыхиваетъ. Страшно мнѣ стало. Я испугался и крикнулъ: Ефросинъ Иванычъ! Хотѣлъ его просить меня до лавъ проводить, но онъ какъ вздрогнетъ весь... Я и уѣжалъ. И сейчасъ это въ памяти.

— Зачѣмъ же ты теперь такую страшность разсказываешь?

— А что же такое? развѣ вы боитесь?

— Не боюсь, да не надо про страшное.

— Вѣдь это хорошо кончилось. Я ему на другой день говорю: такъ и такъ, — я тебя испугался. А онъ отвѣчаетъ: а ты меня испугалъ, потому что я стоялъ, соловья заслушавшись, а ты вдругъ крикнулъ.

Я говорю: зачѣмъ же ты такъ чувствительно слушаешь?

— Не могу, отвѣчаетъ, — у меня часто сердце захочится.

— Да ты силенъ или нѣть? — вдругъ перебилъ дядя.

— Хвалиться, говорю, — особенной силой не стану, а если пятака три-четыре старинныхъ въ кулакъ зажму, то могу какого хотите подлѣта треснуть прямо на поминъ души.

— Да хорошо, говорить, — если онъ будетъ одинъ.

— Кто?

— Ну, кто, подлѣть-то! А если они двое или въ цѣлой компанії?..

— Ничего, моль: — если и двое, такъ сиравимся — вы поможете. А въ большой компаніи подлѣты не ходятъ.

— Ну, ты на меня не много надѣйся: я, братъ, старъ сталъ. Прежде, точно, я бываль во славу Божію такъ, что по Ельцу знали и въ Ливнахъ...

Но не успѣлъ онъ это проговорить, какъ вдругъ, слышимъ, сзади насть будто кто-то идетъ и еще поспѣвасть.

— Позвольте, говорю,—мнѣ кажется, какъ будто кто-то идетъ.

— А что? И я слышу, что идетъ,—отвѣчаетъ дядя.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Я молчу, дядя мнѣ шепчетъ:

— Остановимся и впередъ его мимо себя пропустимъ.

А было это уже какъ разъ на спускѣ съ горы, гдѣ лѣтомъ къ Балашевскому мосту ходятъ, а зимой черезъ ледъ между барками.

Тутъ изстари мѣсто самое глухое. На горѣ мало было домовъ и тѣ заперты, а внизу, вправо, на Орликѣ, дрянныи бани да пустая мельница, а сверху сюда обрывъ, какъ стѣна, а съ правой садъ, гдѣ всегда воры прятались. А полицмейстеръ Цыганокъ здѣсь будку построилъ, и народъ сталъ говорить, что будочникъ ворамъ помогаетъ... Думаю: кто это ни подходитъ—подѣтъ или иѣть, а въ самомъ дѣлѣ лучшіе его мимо себя пропустимъ.

Мы съ дядей остановились... И что же вы думаете: тотъ человѣкъ, который сзади шелъ, тоже, должно-быть, сталъ,—шаговъ его сдѣлалось не слышно.

— Не ошиблись ли мы,—говорить дядя: — можетъ-быть никто не шелъ.

— Иѣть, отвѣчая,—я явственно слышала шаги и очень близко.

Постояли еще,—ничего не слышно; но только-что дальние поняли,—слышимъ онъ опять за нами поспѣвасть... Слышно даже, какъ слѣпнить и тяжело дышнить.

Мы убавили шаги и идемъ тише,—и онъ тише; мы опять прибавимъ шагу — и онъ опятьшибче подходить и вотъ-вотъ въ самый нашъ слѣдъ врѣзается.

Толковать больше нечего: мы явственно поняли, что это подѣтъ насть слѣпнить и слѣпнить какъ есть съ самой гостицѣ; значитъ, онъ насть поджидалъ, и когда я на обходѣ запутался въ снѣгу между большимъ соборомъ и малымъ—онъ насть и взялъ на примѣтъ. Теперь, значитъ, не миновать чemu-нибудь случиться. Онъ одинъ не будетъ.

А снѣгъ, какъ на зло, еще сильнѣй повалилъ; идешъ,

точно будто въ горшкѣ съ простоквашей мѣшаешь: бѣло и мокро,—всѣ облиши.

А впереди теперь у насть Ока надо на ледъ сходить; а на льду пустыя барки, и чтобы къ намъ домой на ту сторону перейти, надо сквозь эти барки тѣсными проходами пробираться. А у подлѣта, который за нами слѣдить, вѣрно тутъ-то гдѣ-нибудь и его воровскіе товарищи спрятаны. Имъ всего способнѣе на льду между барокъ грабить—и убить, и подъ воду спустить. Тутъ ихъ притонъ, и днемъ всегда можно видѣть ихъ мѣста. Логовища у нихъ наложены съ подстилкою изъ костры и изъ соломы, въ которыхъ они лежать, покуриваются и дожидаются. И особыя женки кабацкія съ ними тутъ тоже привитали. Лихія бабенки. Бывало, выкажутъ себя, мужчину подманиять и заведутъ, а ужъ тѣ грабить, а эти опять на караулѣ каравулять.

Больше всего нападали на тѣхъ, кто изъ мужскаго монастыря отъ всенощной возвращался, потому что наши пѣвчихъ любили, и былъ тогда удивительный бастъ Струковъ, ужаснаго обличья: черный, три хохла на головѣ и нижняя губа какъ будто откидной передокъ въ фаэтонѣ отваливалась. Пока онъ реветь—она все откинута, а потомъ захлопнется. Если же кто хотѣлъ цѣль отъ всенощной воротиться, то приглашали съ собой провожатыми приказныхъ Рябыкина или Корсунскаго. Оба силачи были и ихъ подлѣты боялись. Особливо Рябыкина, который былъ съ бѣльмомъ и по тому дѣлу находился, когда приказанаго Соломку въ Щекатихинской рощѣ на майскомъ гуляньѣ убили...

Я рассказываю все это дядѣ для того, чтобы ему о себѣ не думалось, а онъ перебиваеть:

— Постой, ты меня совсѣмъ уморилъ. Все у васъ убиваютъ: отдохнемъ, по крайней мѣрѣ, передъ тѣмъ, какъ на ледъ сходить. Вотъ у меня еще есть при себѣ три мѣдныхъ пятака. Бери-ка ихъ тоже къ себѣ въ перчатку.

— Пожалуй, давайте,—у меня рукавичка съ варежкой свободная, три пятака еще могу захватить.

И только-что хочу у него взять эти пятаки, какъ, вдругъ, кто-то прямо мимо насть изъ темноты выросъ и говорить:

— Что, добрые молодцы, кого ограбили?

Я думалъ: такъ и есть—подлѣтъ, но узналъ по голосу, что это тотъ мясникъ, о которомъ я сказывалъ.

— Это ты, говорю,—Ефросинъ Иваныч? Пойдемъ, братъ, съ нами вмѣстѣ заодно.

А онъ второняхъ проходитъ, какъ будто съ снѣгомъ смѣшился, и на ходу отвѣчаетъ:

— Нѣть, братцы, гусь свинъ не товарищъ: вы себѣ свой дуванъ дуваньте, а Ефросина не трогайте. Ефросинъ теперь голосовъ наслышался, и въ немъ сердце въ груди запечинись... Щелкану—и живъ не останешься...

— Нельзя, говорю,—его остановить; — видите, онъ на паникъ счетъ въ ошибкѣ: онъ нась за воровъ почитается.

Дядя отвѣчаетъ:

— Да и Богъ съ нимъ, съ его товариществомъ. Отъ него тоже не знаешь, живъ ли останешься. Пойдемъ лучше, что Богъ дастъ, съ одною съ Божьей помощью. Богъ не выдастъ—свинья не сѣсть. Да теперь, когда онъ прошелъ, такъ стало и смыло... Господи помилуй! Никола, мценскій застунникъ, Митрофаній воронежскій, Тихонъ и Іосафъ... Брысы! Что это такое?

— Что?

— Ты не видаль?

— Что же тутъ можно видѣть?

— Вродѣ какъ будто коника подъ ноги.

— Это вамъ показалось.

— Совсѣмъ какъ арбузъ покатился.

— Можетъ быть съ кого-нибудь шапку сорвало.

— Ой!

— Что вы?

— Я про шапку.

— А чѣмъ такое?

— Да вѣдь ты же самъ говоришь: «сорвали»... Вѣрно тамъ, на горѣ, кого-нибудь тормошатъ.

— Нѣть, вѣрно просто вѣтеръ сорвалъ.

И мы съ этими словами стали оба спускаться къ баркамъ на ледь.

А барки, повторю вамъ, тогда ставили просто, безъ всякаго порядка, одна около другой, какъ остановятся. Нагромождено, бывало, такъ страшно тѣсно, что только между ними самые узкіе коридорчики, гдѣ насили можно пролѣзть и все туда да сюда загогулями заворачивать надо.

— Ну, тутъ, говорю,—дяденька, я отъ васъ скрывать не хочу,—здѣсь и есть самая опасность.

Дядя замеръ,—ужъ и святымъ не молится.

— Идите, говорю,—теперь вы, дяденька, впередъ.

— Зачѣмъ же, шенчеть,—впередъ?

— Впереди безопаснѣе.

— А отчего безопаснѣе?

— Оттого, что если подлѣтъ на васъ налетить, то вы сейчасъ на меня взадъ подадитесь, а я васъ тогда поддержу, а его сѣзжку. А сзади мнѣ вѣсъ не видно: подлѣтъ вѣсъ можетъ рукою или скользкою мочалкою ротъ захватить,—а я и не услышу... идти буду.

— Нѣть, ты не иди... А какія же у нихъ есть мочалки?

— Скользкія такія. Женки ихъ изъ-подъ башнъ собираются и имъ приносятъ рты затыкать, чтобы голосу не было.

Вижу, дядя все это разговариваетъ, потому что впереди идти боится.

— Я, говорить,—впереди идти опасаюсь, потому что онъ можетъ меня по лбу гирей стукнуть, а ты тогда и застучиться не успѣшишь.

— Ну, а позади вѣсъ еще страшнѣе, потому что онъ можетъ васъ въ затылокъ свайкой свистнуть.

— Какой свайкой?

— Что же это вы спрашиваете: развѣ вѣсъ неизвѣстно, что такое свайка?

— Нѣть, я знаю: свайка для игры дѣлается,—желѣзная, вострая...

— Да, вострая.

— Съ круглой головкой?

— Да, фунта въ три, въ четыре, головка шарикомъ.

— У насть въ Ельцѣ на это носятъ кистени; но чтобы свайкой,—я это въ первый разъ слышу.

— А у насть въ Орлѣ первая самая любимая мода — по головѣ свайкой. Такъ черепъ и треснетъ.

— Однако, пойдемъ лучше рядомъ подъ-ручки.

— Тѣсно вдвоемъ между бароками.

— А какъ это... свайкой-то, въ самомъ дѣлѣ!.. Лучше какъ-нибѣть тискаться будемъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Но только мы взялись подъ-локотки и по этимъ коридорчикамъ, между барокъ, тискаться начали,—слышимъ, и толь-

задній опять отъ насть не отсталь, опять онъ сзади за пами лѣзть.

— Скажи, пожалуй, говорить дядя:—вѣдь это, значитъ, не мясникъ былъ?

Я только плечами двинула и прислушиваюсь.

Шуршитъ, слышно какъ боками лѣзть и вотъ-вотъ сей-часъ меня рукою сзади схватить... А съ горы, слышно, еще другой бѣжитъ... Ну, видимо дѣло, подлѣты,—надо уходить. Рванулись мы впередъ, да нельзя скоро идти, потому что и темно, и тѣсно, и ледышки торчкомъ стоять, а этотъ ближній подлѣтъ совсѣмъ ужъ за моими плечами... дынить.

Я говорю дядѣ:

— Все равно, нельзя миновать—оборотимся.

Думаль такъ, что-либо пусть онъ мимо насть пройдетъ, либо ужъ лучше его самому кулакомъ съ пятаками въ лицо встрѣтить, чѣмъ онъ сзади стукнеть. Но только-что мы къ нему передомъ оборотились, — онъ какъ пригнется, бездѣльникъ, да какъ котъ между насть шаркъ!..

Мы оба съ дядей такъ съ ногъ долой и срѣзались.

Дядя кричить мнѣ:

— Лови, лови, Минутка! Опъ съ меня бобровый карптузъ сорвалъ.

А я ничего не вижу, но про часы вспомнилъ, и хватъ себя за часы. А вообразите, моихъ часовъ уже нѣть... Сорвалъ, бестія!

— Съ меня съ самого, отвѣчаю,—часы сняты!

И я, себя позабывши, кинулся за этимъ подлѣтомъ изо всей мочи и на свое счастье впопыхахъ тутъ же его за баркою изловилъ, ударила его изо всей силы по головѣ пятаками, сбила съ ногъ и сѣль на него:

— Отдавай часы!

Онъ хоть бы слово въ отвѣтъ; но зубами меня, подлецъ, за руку тянула.

— Ахъ ты, собака! говорю.—Ишь какъ кусается! — И треснула его хорошенъко во-усысь, да обшлагомъ рукава ему ротъ заткнула, а другою рукою прямо къ нему за пазуху и сразу часы нашель и вытащилъ.

Тутъ же, сейчасъ, и дядя подскочилъ:

— Держи его, держи, говорить:—я его разутюжу.

И начали мы его уложить и по-елецки, и по-орловски. Жестоко его отколошматили, до того, что онъ только вы-

рвался отъ насъ, такъ и не вскрикнуть, а словно заяцъ ударился; и только ужъ когда за Плаутинъ колодецъ забѣжалъ, такъ оттуда закричалъ «карауль»; и сейчасъ же опять кто-то другой по ту сторону, на горѣ, закричалъ «карауль».

— Каковы разбойники!—говорить дядя.—Сами людей грабить и сами еще на обѣ стороны карауль кричать!.. Ты часы у него отнялъ?

— Отнялъ.

— А что жь ты мой картузъ не отнялъ?

— У меня, отвѣчаю,—про вашъ картузъ совсѣмъ изъ головы вышло.

— А вотъ миѣ теперь холодно. У меня пѣнинъ.

— Надѣните мою шапку.

— Не хочу я твоей. Мой картузъ у Фалеева пятьдесятъ рублей данъ.

— Все равно, говорю,—теперь не видно.

— А ты же какъ?

— Я такъ, въ простыхъ волосахъ дойду. Да ужъ и близко,—сейчасъ за уголъ завернуть и напѣть домъ будетъ.

Моя шапка, однако, вышла дядѣ мала. Онъ вынуль изъ кармана носовой платокъ и платкомъ повязался.

Такъ домой и приѣжали.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Маменька съ тетенькой еще не ложились спать: обѣ чулки вязали—насъ дожидались. И какъ увидали, что дядя вошелъ весь въ сиѣгу вываленъ и по-бабьему носовымъ платкомъ на головѣ повязанъ, такъ обѣ разомъ ахнули и заговорили:

— Господи! что это такое!.. Гдѣ же зимний картузъ, который на васъ былъ?

— Прощай, братъ, мой зимний картузъ!.. Нѣть его,—отвѣчаетъ дядя.

— Владычица наша Пресвятая Богородица! Гдѣ же онъ дѣлается?

— Ваши орловскіе подлѣты на льду сняли.

— То-то мы слышали, какъ вы «карауль» кричали. Я и говорила сестрицѣ: вышли трепачей — я будто невинный Мишинъ голось слышу.

— Да! Пока бы твои трепачи проснулись да вышли —

оть насъ и звания не осталось... Нѣть, это не мы «карауль» кричали, а воры; а мы сами себя оборошили.

Маменька съ тетенькой вскипѣли.

— Какъ? Неужели и Миша силой усиливался?

— Да Миша-то и все главное дѣло сдѣлалъ,—онъ только воть мою шапку упустилъ, а зато часы отнялъ.

Маменька, вижу, и рады, что я такъ поправился, но говорять:

— Ахъ, Миша, Миша! А я же, вѣдь, тебя какъ просила: не пей ничего и не сиди до поздняго, воровскаго часу. Зачѣмъ ты меня не слушалъ?

— Простите, говорю,—маменька,—я пить ничего не пилъ, а никакъ не смѣль одного дяденьку тамъ оставить. Сами видите, если бы они одни возвращались, то съ ними какая могла быть большая непріятность.

— Да все равно, и теперь картузъ сняли.

— Ну, теперь еще что!.. Картузъ дѣло паживное.

— Разумѣется,—слава Богу, что ты часы снялъ.

— Да-съ, маменька, снялъ. И ахъ какъ снялъ! — сшибъ его въ одну минуту съ ногъ, ротъ рукавомъ заткнулъ, чтобы онъ не кричалъ, а другою рукою за пазухой обвелъ и часы вынуль и тогда его вмѣстѣ съ дяденькой колотить начали.

— Ну, ужъ это напрасно.

— А нѣть-съ! Пусть, шельма, помнить.

— Часы-то не испортились?

— Нѣть-съ, не должно быть,—только, кажется, цѣпочку оборвалъ...

И съ этимъ словомъ вынимаю изъ кармана часы и разматриваю цѣпочку, а тетенька всматриваются и спрашиваютъ:

— Да это чьи же такие часы?

— Какъ чьи? Разумѣется, мои.

— А вѣдь твои были съ ободочкомъ.

— Ну, такъ что же?

А самъ смотрю — и вдругъ вижу: въ самомъ дѣлѣ, на этихъ часахъ золотого ободочка нѣть, а вмѣсто того на серебряной дощечкѣ пастушка съ пастушкомъ, и у ихъ ногъ—овечка...

Я весь затрясся.

— Что же это такое??! Это не мои часы!

И все стоять, не понимаютъ.

Тетенька говоритъ:

— Вотъ такъ штука!

А дяденька успокаиваетъ:

— Постойте, говорить, — не пужайтесь; вѣрио онъ Мишуткины часы съ собой захватилъ, а эти съ кого-нибудь съ другого еще раныше снялъ.

Но я вынырнула эти вынутые часы на столъ, и чтобы ихъ не видѣть, бросился въ свою комнату. А тамъ, слышу, на стѣнкѣ, надъ кроватью, мои часы потякиваютъ: тикъ-такъ, тикъ-такъ, тикъ-такъ.

Я подскочила со свѣчой и вижу — они самые, мои часы съ ободочкомъ... Висятъ, какъ святые, на своемъ мѣстѣ!

Тутъ я треснула себя со всей силы ладонью въ лобъ и уже не заплакалъ, а завыль...

— Господи! да кого же это я ограбилъ?

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Маменька, тетенька, дядя — все испугались, прибѣжали, трясутъ меня.

— Что ты, что ты? Успокойся!

— Отстаньте, говорю, — пожалуйста! Какъ мнѣ можно успокоиться, когда я человѣка ограбилъ!

Маменька заплакали.

— Онъ, говорятъ, — помѣшился, — онъ увидаль, что ли, что-нибудь страшное!

— Разумѣется, увидаль, маменька!.. Что тутъ дѣлать!!

— Что же такое ты увидаль?

— А вотъ это самое, посмотрите сами.

— Да что? гдѣ?

— Да вотъ, вотъ это! Смотрите! Или вы не видите, что это такое?

Они поглядѣли на стѣнку, куда я имъ показаль, и видѣть: на стѣнкѣ висятъ и преспокойно тикаютъ подаренные мнѣ дядей серебряные часы съ золотымъ ободочкомъ...

Дядя первый образумились.

— Святъ, святъ, святъ! говорить: — вѣдь это *твои* часы?

— Ну да, конечно, мои!

— Ты ихъ, значитъ, вѣрио, и не надѣвали, а здѣсь оставилъ?

— Да ужъ видите, что здѣсь оставилъ.

— А тѣ-то... тѣ-то... Чыи же это, которые ты сняль?

— А я почемъ знаю, чыи они!

— Что же это! Сестрицы мои, голубушки! Вѣдь это мы съ Мишай кого-то ограбили!

Маменька такъ съ ногъ долой и срѣзалась: какъ стояла, такъ вскрикнула и на томъ же мѣстѣ на поль сѣла.

Я къ ней, чтобы поднять, а она гиѣвно:

— Прочь, грабитель!

Тetenыка же только крестить во всѣ стороны и приговариваетъ:

— Святы, святы, святы!

А маменька схватились за голову и шепчутъ:

— Избили кого-то, ограбили и сами не знаютъ кого!

Дядя ее поднялъ и успокаиваетъ:

— Яда ужъ успокойся, не путнаго же кого-нибудь избили.

— Почему вы знаете? Можетъ-быть и путнаго; можетъ-быть кто-нибудь отъ больного посланъ за лѣкаремъ.

Дядя говорить:

— А какъ же мой картузъ? Зачѣмъ опять картузъ сорвалъ?

— Богъ знаетъ, что такое вашъ картузъ и гдѣ вы его оставили.

Дядя обидѣлся, но матушка его оставила безъ вниманія, и опять ко мнѣ.

— Берегла сынка столько лѣтъ въ страхѣ Божиѣмъ, а опять вотъ къ чему уготовался: тать не тать, а на ту же стать... Теперь за тебя послѣ этого во всемъ Орлѣ ни одна путная дѣвушка и замужъ не пойдетъ, потому что теперь всѣ, всѣ узнаютъ, что ты самъ подлѣтъ.

Я не вытерпѣлъ и громко сказалъ:

— Помилуйте, маменька! Какой же я подлѣтъ, когда это все по ошибкѣ!

Но она не хотѣть и слушать, а все ткнѣть меня косточками перстовъ въ голову, да причитываетъ причтою по горю-злосчастію:

— Учила: живи, чадо, въ незлобіи, не ходи въ игры и въ братчины, не пей двѣ чары за единій вздохъ, не ложись въ мѣсто заточное, да не сняли бъ съ тебя драгіе порты, не доспѣть бы тебѣ стыда-срама великаго, и черезъ тебя племени укору и попосу бездѣльного. Учила: не ходи,

чадо, къ корыстямъ и къ корчемникамъ, не думай какъ бы украсти-ограбити, но не захотѣлъ ты матери покориться; снимай теперь съ себя платье гостиное и накинь на себя гуинку кабацкую *) и дожидайся, какъ сейчасъ будошники застучать въ ворота, и самъ Цыганокъ въ нашъ честный домъ ввалится.

И все сама причитаетъ, а сама меня костишкой пристукиваетъ въ голову.

А тетенька, какъ услыхала про Цыганка, такъ и вскрикнула:

— Господи! Избавь насъ отъ мужа кровей и отъ Арида!

Боже мой! То-есть это настоящій адъ въ домѣ сдѣлался.

Обнялись тетенька обѣ съ маменькой и, обнявшись, обѣ плачуши удалились. Остались только мы вдвоемъ съ дядей.

Я сѣль, облокотился обѣ столъ и не помню, сколько часовъ просидѣлъ, все думалъ: кого же это я ограбилъ? Можетъ-быть это французъ Сенвенсанъ съ урока ишель, или у предводителя Страхова въ домѣ опекунскій секретарь жилъ... Каждаго жалко. А вдругъ, если это мой крестный Кулабуховъ съ той стороны отъ палатскаго секретаря шелъ!.. Хотѣлъ — потихоньку, чтобы не видали съ кулѣчкомъ, а я его тутъ и обработалъ... Крестники!.. своего крестнаго!

— Пойду на чердакъ и повѣшусь. Больше мнѣ ничего не остается.

А дядя только ожесточенню чай пилъ, а потомъ какъ-то — я даже и не видаль, какъ — подходить ко мнѣ и говорить:

— Полно сидѣть, повѣся нось, надо дѣйствовать.

— Да что же, отвѣчаю, — разумѣется, если бы можно узнать, съ кого я часы снялъ...

— Ничего; вставай поскорѣе и пойдемъ вмѣстѣ, сами во всемъ объявимся.

— Кому же будемъ объявляться?

— Разумѣется, самому вашему Цыганку и объявимся.

— Срамъ какой сознаваться!

— А что же дѣлать? Ты думаешь мнѣ ѿхота къ Цыганку?.. А все-таки лучше самимъ повиниться, чѣмъ онъ насъ разыскивать станетъ: бери обои часы и пойдемъ.

Я согласился.

Взялъ и свои часы, которые мнѣ дядя подарилъ, и тѣ,

*) Гуин — стариинное слово; значитъ: обносокъ, рубище. Въ Оргѣ 50 лѣтъ назадъ еще говорили «гуин».

которые ночью съ собой принесъ и, не здоровавшись съ маменькою, пошли.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Пришли въ полицію, а Цыганокъ сидить уже въ присутствіи передъ зеркаломъ, а у его дверей стоитъ молодой квартальный, князь Солицевъ-Засѣкинъ. Роду былъ знаменитаго, а таланту неважнаго.

Дядя увидалъ, что я съ этимъ княземъ поклонился и говорить:

— Неужели онъ правду князь?

— Ей-Богу, поистинѣ.

— Поблести ему чѣмъ-нибудь между пальцевъ, чтобы онъ выскочилъ на минутку на лѣстницу.

Такъ и сдѣлалось: я повергъ полуполтинникъ — князь на лѣстницу и выскочилъ.

Дядя далъ ему полуполтинникъ въ руку и просить, чтобы насть какъ можно скорѣе въ присутствіе пустить.

Квартальный сталъ сказывать, что нонче, говорятъ, ночью у насть въ городѣ произошло очень много происшествіевъ.

— И съ нами тоже происшествіе случилось.

— Ну, да вѣдь какое? Вы вотъ оба въ своеемъ видѣ, а тамъ на рѣкѣ одного человѣка подъ ледъ спустили; два куница на Полѣнѣской площади всѣ оглобли, слеги и лубки повалили; одинъ человѣкъ безъ памяти подъ корытомъ найденъ, да съ двоихъ часы сняли. Я одинъ и остаюсь при дежурствѣ, а всѣ прочие бѣгаютъ, подлѣтовъ ищутъ...

— Вотъ, вотъ, ты и доложи, что мы пришли дѣло объяснить.

— Вы подравшились, или по родственной непріятности?

— Нѣть, ты только доложи, что мы по секретному дѣлу; намъ обѣ этомъ дѣлѣ при людяхъ объяснить совсѣстно. Получи еще полмонетки.

Князь спряталъ полтинникъ въ карманъ и черезъ пять минутъ кличть насть:

— Пожалуйте.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Цыганокъ такой былъ хохоль приземистый — совсѣмъ какъ черный тараканъ; усы торчкомъ, а разговоръ самый грубый, хохлацкій.

Дядя по-своему, по-елецки, захотѣлъ-было къ нему близко, но онъ закричалъ:

— Говорите здѣлача.

Мы остановились.

— Что у васъ за дѣло?

Дядя говорить:

— Перво-на-перво—вотъ.

И положилъ на столъ барабашка въ бумажкѣ. Цыганокъ прикрылъ.

Тогда дядя сталъ рассказывать.

— Я елецкій купецъ и церковный староста, прѣѣхалъ сюда вчерашній день по духовной надобности; присталъ у родственницъ за Плаутинъмъ колодцемъ...

— Такъ это вѣсть, что ли, ионче ночью ограбили?

— Точно такъ; мы возвращались съ племянникомъ въ одиннадцать часовъ и за нами слѣдовала неизвѣстный человѣкъ; а какъ мы стали переходить черезъ ледъ между берокъ, онъ...

— Постойте... А кто же съ вами былъ третій?

— Третьяго съ нами никого не было, окромѣ этого вора, который бросился...

— Но кого же тамъ почью утопили?

— Утопили?

— Да!

— Мы обѣ этомъ ничего неизвѣстны.

Полицмейстеръ позвонилъ и говорить квартальному:

— Взять ихъ за клинъ!

Дядя взмолился.

— Помилуйте, ваше высокоблагородіе! Да здѣ что же вѣсть.. Мы сами пришли разсказать...

— Это вы человѣка утопили?

— Да мы даже ничего и не слышали, ни о какомъ утопленіи. Кто утонулъ?

— Неизвѣстно. Бобровый картузъ изгаженный у проруби найденъ, а кто его носилъ—неизвѣстно.

— Бобровый картузъ!?

— Да; покажите-ка ему картузъ, чтѣ онъ скажеть:

Квартальный досталъ изъ шкафа дядинъ картузъ.

Дядя говорить:

— Это мой картузъ. Его вчера съ меня на льду воръ сорвалъ.

Цыганокъ глазами захлопалъ.

— Какъ воръ? Что ты врешь! Воръ не шапку снялъ, а воръ часы укралъ.

— Часы? Съ кого, ваше высокоблагородіе?

— Съ никитского дьякона.

— Съ никитского дьякона!

— Да; и его очень избили, этого никитского дьякона. Мы, знаете, такъ и обомлѣли.

Такъ вотъ это кого мы обработали!

Цыганокъ говорить:

— Вы должны знать этихъ мошенниковъ.

— Да, отвѣчаетъ дядя:—это мы сами и есть.

И рассказалъ все, какъ дѣло было.

— Гдѣ же теперь эти часы?

— Извольте—вотъ одни часы, а вотъ другіе.

— И только?

Дядя пустилъ еще барашка и говорить:

— Вотъ это еще къ сему.

Прикрылъ и говорить:

— Привести сюда дьякона!

ГЛАВА ШЕСТЬНАДЦАТАЯ.

Входить сухощавый дьяконъ, весь избитъ и голова перевязана.

Цыганокъ на меня смотрить и говорить:

— Видишь?!

Кланяюсь и говорю:

— Ваше высокоблагородіе, я все претерпѣть достоинъ, только отъ дальніаго мѣста помилуйте. Я одинъ сынъ у матери.

— Да иѣть, ты христіанинъ или иѣть? Есть въ тебѣ чувство?

Я вижу этакій разговоръ несоответствіенныи и говорю:

— Дяденька, дайте за меня барашка, вамъ дома отадутъ.

Дядя подаль.

— Какъ это у васъ происходило?

Дьяконъ сталъ рассказывать, что были, говорить, мы цѣлой компаніей въ борисоглѣбской гостиницѣ и очень все было хорошо и благородно, но потомъ гостинникъ постороннихъ слушателей подъ кровать положилъ за мага-

рычъ, а одинъ елецкій купецъ обидѣлся и вышла колотвока. Я тихо одѣлся и самъ вышелъ, но какъ обогнуль присутственныя мѣста, вижу, впереди меня два человѣка подкарауливаютъ. Я остановлюсь, чтобы они ушли дальше, и они остановятся; я пойду — и они идутъ. А вдругъ между тѣмъ издали слышу еще меня кто-то сзади настигаетъ... Я совсѣмъ испугался, бросился, а тѣ два обернулись ко мнѣ въ узкомъ проходѣ, между барокъ, и дорогу мнѣ загородили... А задній съ горы совсѣмъ нагоняетъ. Я поблагословился въ умѣ: Господи благослови! да пригнулся, чтобы сквозь этихъ двухъ проскочить, и проскочилъ, но они меня нагнали, съ ногъ свалили, избили и часы сорвали... Вотъ и цѣпочки обрывокъ.

— Покажите цѣпочку.

Сложилъ обрывочекъ цѣочки съ тѣмъ, что при часахъ остался, и говоритъ:

— Это такъ и есть. Смотрите, ваши эти часы?

Дьяконъ отвѣчаетъ:

— Это самые мои, и я ихъ желаю въ-обратъ получить.

— Этого нельзя, они должны остаться до разсмотрѣнія.

— А какъ же, говорить, — за что я избитъ?

— А вотъ это вы у нихъ спросите.

Тутъ дядя вступилъ.

— Ваше высокородіе! Что же насть спрашивать понапрасну. Это въ дѣйствительности наша вина, это мы отца дьякона били, мы и исправимся. Вѣдь мы его г҃ь себѣ въ Елецъ беремъ.

А дьяконъ такъ обидѣлся, что совсѣмъ и не въ ту сторону.

— Нѣть, говорить, — позвольте еще, чтобы я въ Елецъ согласился. Богъ съ вами совсѣмъ: только упросили и сей-часъ же на первый случай такое надо мной обхожденіе.

Дядя говорить:

— Отецъ дьяконъ, да вѣдь это въ ошибкѣ все дѣло.

— Хороша ошибка, когда мнѣ шею нельзя повернуть.

— Мы тебя вылѣчимъ.

— Нѣть, я, говорить, — вашего лѣченія не хочу, меня всегда у Финогенча банщикъ лѣчить, а вы мнѣ заплатите тысячу рублей на отстройку дома.

— Ну и заплатимъ.

— Я вѣдь это не вѣштку; меня бить нельзя... на мнѣ сань.

— И сань удовлетворимъ.

И Цыганокъ тоже дядѣ помогать сталъ:

— Елецкіе, говорить, — купцы удовлетворять... Кто тамъ еще за клиномъ есть?

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Вводятъ борисоглѣбскаго гостинника и Павла Мироныча. На Павлѣ Миронычѣ сюртукъ изодранъ и на гостинникѣ тоже.

— За что дрались? — спрашиваетъ Цыганокъ.

А они оба кладутъ ему по барабашку на столъ и отвѣ чаются:

— Ничего, говорятъ, — ваше высокоблагородіе не было, мы опять вѣ полной пріязни.

— Ну, прекрасно, если за побои не сердитесь — это ваше дѣло; а какъ же вы смѣли сдѣлать безпорядокъ вѣ городѣ? Зачѣмъ вы на Полѣнѣской площади всѣ корыты и лубяя, и оглобли повалили?

Гостинникъ говорить, что по нечаянности.

— Я, говорить, — его хотѣль вести ночью вѣ полицію, а онъ — меня; другъ дружку тянули за руки, а мясникъ Агафонъ мнѣ поддерживалъ; вѣ снѣгу сбились, на площадь попали — никакъ не пролѣзть... все валяться пошло... Со страху кричать начали... Обходъ взялъ... часы пропали...

— У кого?

— У меня.

Павелъ Миронычъ говорить:

— И у меня тоже.

— Какія же доказательства?

— Для чего же доказательства? Мы ихъ не ищемъ.

— А мясника Агафона кто подъ корыто подсунулъ?

— Этого знать не можемъ, — отвѣчаетъ гостинникъ: — не иначе какъ корыто на него повалилось и его прихлопнуло, а онъ заснулъ подъ нимъ хмельной. Отпустите нась, ваше высокоблагородіе, мы ничего не ищемъ.

— Хорошо, — говоритъ Цыганокъ: — только надо другихъ кончить. Введите сюда другого дьякона.

Пришелъ черный дьяконъ.

Цыганокъ ему говорить:

— Вы это зачём же ночью будку разбили?

Дьяконъ отвѣтствуетъ:

— Я, говорить, — ваше высокоблагородіе, былъ очень испугавшись.

— Чего вы могли испугаться?

— На льду какіе-то люди стали громко «караулъ» кричать; я назадъ бросился и прошусь къ будонику, чтобы онъ меня отъ подлѣтковъ спрятать, а онъ гонить: я, говорить, не встану, я подметки подъ сапоги отдать подкинуть. Тогда я съ перепуга на дверь понакеръ, дверь сломалась. Я виноватъ — силомъ вскочилъ въ будку и заснулъ, а утромъ всталъ, смотрю: ни часовъ, ни денегъ нѣть.

Цыганокъ говорить:

— Что же, елецкіе? Видите, и этотъ дьяконъ черезъ васъ пострадалъ, и у него часы пропали.

Павель Миронычъ и дядя отвѣтствуютъ:

— Ну, ваше высокоблагородіе, намъ издо домой сходить занять у знакомцевъ, здѣсь при насъ больше нѣту.

Такъ и вышли всѣ, а часы тамъ остались. И скоро въ этомъ во всемъ утѣшились, и много еще было смѣху и поѣхали, и напился я тогда съ ними въ первый разъ въ жизни пьянъ въ борисоглѣбской и ѿхалъ по улицѣ на извозчикѣ, платкомъ махаль. Потомъ они денегъ въ Оргѣ заняли и ѿѣхали, а дьякона съ собой не увезли, потому что онъ ихъ очень заботился. Какъ ни просили — не поѣхали.

— Я, говорить, — очень радъ, что мнѣ Господь даровалъ съ вами за мою обиду тыщу рублей получить. Я теперь домикъ обстрою и здѣсь хорошее мѣсто у секретаря выхлопочу, а вы, елецкіе, какъ я вижу, очень дерзки.

Для меня же настало испытанье ужасное. Маменька отъ гиба на меня такъ занемогла, что стали близко гробу. Унылость во всемъ домѣ стала повсемѣстная. Лѣкаря Дениша не хотѣли: боялись, что онъ будетъ обо всемъ состояніи здоровья разспрашивать. Обратились къ религіи: въ девичьемъ монастырѣ тогда жила мать Евникия, у которой была юорданская простиныя, какъ Евникия въ Йорданѣ рѣкѣ омочилась, такъ ею потому отерлась. Этой простиныей маменьку окрывали. Не помогло. Каждый день въ семи церквяхъ съ семи крестовъ воду спускали. Не помогло. Мужикъ — леженка былъ, Есафейка, — все лжнемъ лежалъ, ничего не работалъ, — ему картузъ яблочной рѣзаніи по-

слали, чтобы молился. То же самое и отъ этого помочи не было. Только, цаконецъ, когда онъ вмѣстѣ съ сестрой въ Финогеевичевы бани пошли и тамъ имъ рожечница крови сколола, только тогда она чѣмъ-нибудь распоряжаться стала. Йорданскую простыню Евникеѣ велѣла отдать назадъ, а себѣ стала искать взять въ домъ сиротку воспитывать.

Это свахино было наученіе. Своихъ дѣтей у нея много было, но она еще до сиротъ была очень милая — все ихъ пріучала и маменьку стала говорить:

— Возьми въ домъ чужое дитя изъ бѣдности. Сейчасъ все у тебя въ своеѣ домѣ перемѣнится: воздухъ другой сдѣлается. Господа для воздуха разставляютъ цветы, конечно, худа нѣть; но главное, для воздуха это, чтобы были дѣти. Отъ нихъ который духъ идетъ и тотъ ангеловъ радуется, а сатана — скрежещетъ... Особено въ Пушкинной теперь одна дѣвка: такъ она съ дитемъ бьется, что даже подъ орлицкую мельницу уже топить посила.

Маменька проговорила:

— Скажи, чтобы не топила, а мнѣ подкинула.

Въ тотъ же день у нась дѣвочка Маврутка и запищала, и пошла кулачокъ сосать. Маменька ею занялась и перемѣна въ нихъ началась. Стали мнѣ оказывать язвительность.

— Тебѣ, говорять, — къ велику-дни вѣдь обновы изъ падо: ты теперь пьюцій, тебѣ довольно гуныку кабацкую.

Я уже все терялъ дома, но и на улицу мнѣ тоже нельзя было глаза показать, потому что рядовичи какъ увидятъ, дразнятся:

— Съ дьякона часы снять.

Ни дома не жить, ни со двора пройтись.

Одна только сирота Маврутка мнѣ улыбалась.

Но сваха Матрена Терентьевна меня спасла и выручила. Простая была баба, а такая душевная.

— Хочешь, говорить, — молодецъ, чтобъ тебѣ голову на плечи поставить? Я такъ поставлю, что если кто надъ тобой и смѣяться будетъ — ты и не почувствуешь.

Я говорю:

— Сдѣлайте милость, мнѣ жить противно.

— Ну, такъ ты, говорить, — меня одну и слушай. Пойдемъ мы съ тобою во Мценскъ — Николѣ угоднику усердно

помолимся и ослонную свѣчу поставимъ; и женю я тебя на
край написанной, съ которой ты будешь вѣкъ-вѣковать,
Бога благодарить, да меня вспоминать, и сиротъ бѣдныхъ
жаловать, потому я къ сиротамъ милосердная.

Я отвѣчаю, что я сиротъ и самъ сожалѣю, а замужъ за
меня теперь которая же хорошая дѣвушка пойдетъ.

— Отчего же? Это ничего не значить. Она умная. Ты
вѣдь не со двора вынесъ, а къ себѣ принесъ. Это надо
различать. Я сй прикажу понять, такъ она все въявь пой-
метъ и очень за тебя выйдетъ. А мы съѣздимъ какъ хорошо
къ Николѣ во все свое удовольствіе: лошадка въ телѣжкѣ
идти будетъ съ клажею, съ самоваромъ, съ провизіей, а мы
втроемъ пѣшикомъ пойдемъ по протуварчику, для угодника
погрудимся: ты, да я, да она, да я себѣ для компаний си-
ротку возьму. И она, моя лебедка, Алѣнушка, тоже сиротъ
сожалѣть. Ее со мной во Мценскъ отпускаютъ. И вы тутъ
съ ней пойдете-пойдете, да сядете, а посидите-посидите,
да опять по дорожкѣ пойдете, и разговоритесь, а разгово-
рите да слюбитесь, и какъ вкусишь любви, такъ увидишь
ты, что въ ней вся наша и жизнь, и радость, и желаніе
прожить въ семейной тихости. А на всѣ людскія рѣчи тебѣ
тогда будетъ плевать, да и лица не взворачивать. Такъ
все добро и пойдетъ, и былая шалость забудется.

Я и отпросился у маменьки къ Николѣ, чтобы душу свою
исцѣлить, а остальное все стало какъ сваха Терентьевна
сказывала. Подружился я съ дѣвицей Алѣнушкой и поза-
былъ я про всѣ про исторіи; и какъ я на ней женился и
пошелъ у насть въ домъ дѣтскій духъ, такъ и маменька
успокоилась, а я и о сю пору живу и все говорю: Благо-
словенъ еси, Господи!

АНТУКА.

(РАЗСКАЗЪ).

«En-tout-cas»—зонтикъ на всякую погоду.
(Изъ моднаго прейс-куранта).

На скромъ поѣздѣ между чешской Прагой и Вѣной я очутился vis-à-vis съ неизвѣстнымъ мнѣ славянскимъ братомъ, съ которымъ мы вступили по дорогѣ въ бесѣду. Предметомъ нашихъ суждений былъ «нашъ вѣкъ и современный человѣкъ». И я, и мой собесѣдникъ находили много странного и въ вѣкѣ, и въ человѣкѣ; но чтобы не впадать въ отчаяніе, я привель на память слово Льва Толстого и сказалъ:

— Образуется!

Собесѣдникъ понялъ значеніе этого слова и продолжалъ:

— Это вѣрно; но только *что* образуется-то! Было пре-обладающее впечатлѣніе свирѣпства, злости, бездушія или слабости и распущенности, и все-таки можно было предвидѣть, какъ жизнь перетолчется это въ своей ступѣ и что изъ этого образуется. А теперь преобладаетъ во всемъ какой-то фасонъ «антукѣ»—что-то готовое на всякий случай и годное для всякой погоды: отъ дождя и отъ солнца. Меня поражаетъ эта удивительная приспособительность, которую я замѣчаю во всѣхъ слояхъ общества и повсюду. Недѣля тому назадъ какъ я видѣлъ такой экземпляръ въ этомъ родѣ, что прямо въ печать просится.

Я его попросилъ разскать, и онъ мнѣ рассказалъ слѣдующее.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Недавно мнѣ привелось побывать въ соляныхъ копяхъ въ Галиціи. Оттуда, когда выйдешь на землю, представляются два мѣста для отдыха и подкрепленія: можно идти позавтракать при буфетѣ на желѣзнодорожной станції, а можно то же самое сдѣлать и въ ближайшей «старой корчмѣ». Въ корчмѣ укромнѣе, проще и теплѣе, чѣмъ на станції. Здѣсь въ сырое время можно и обсушиться, и обогрѣться, потому что тутъ есть огромный кирпичный каминъ, и чуть холодновато — всегда тлѣть толстый обрубокъ дерева, а вокруга него весело потрескиваетъ и издаетъ здоровый, смолистый запахъ зеленый верескъ.

Тамъ, на «бангофѣ» — Европа, а здѣсь, въ корчмѣ — еще «stara Polska».

Я бываю въ той мѣстности раза два въ годъ и знаю тамошнюю корчму много лѣтъ назадъ. Когда тутъ не было желѣзнодорожного «бангофа», корчма была единственнымъ пріютомъ для путниковъ, а теперь она занимаетъ второе мѣсто, но и ей все-таки вѣренъ.

Лѣта мало измѣнили корчму. Тотъ же низенький, старопольскій фасадъ и тотъ же грязноватый ходъ черезъ сѣни съ вытоптанымъ кирпичнымъ поломъ, большая зала съ пависшимъ потолкомъ и съ тяжелыми столами, покрытыми не совсѣмъ чистыми ширинками грубой ткани. Въ огромномъ каминѣ и теперь пылаетъ огонь, въ сторонѣ перегородка, и въ ней квадратное оконце, за которымъ находится главное мѣсто хозяина. Передъ оконцемъ полка и на ней пеизысканная выставка закусокъ: жареный гусь, обложененный кисло-сладкой капустой; бигость изъ колбасъ и капусты; зразы съ капшой, съ хлѣбомъ и капустой; капустнякъ съ фаршемъ; жареная серна и мелкая дичь, прошипованная саломъ, и, вдобавокъ, щука по-жидовски съ шафраниномъ. Въ графинахъ водка, наливки разныхъ цвѣтовъ, боченокъ съ пивомъ и нашъ добрый красный гольдекъ въ полубутилкахъ. Впрочемъ, надъ прилавкомъ есть надпись, что здѣсь еще можно имѣть старый медъ, и тутъ же иллюстрированный прейс-курантъ, въ которомъ значится нѣсколько названий венгерскихъ винъ, между которыми подчеркнутъ «маслачъ». Патронъ большой краковской корчмы это вино особенно рекомендуется.

Но самое замечательное здесь собственно въ самомъ патронѣ, и съ него начинается дѣло. И корчма, и медь, и бигось—это все старого типа, а въ патронѣ есть обновление во вкусѣ «антукѣ». Нынѣшний патронѣ здѣсь съ прошлаго года и онъ мнѣ не знакомъ, но предмѣстникъ его внушилъ мнѣ большія симпатіи. Это былъ пожилой, сухощавый и очень медлительный въ своихъ движеніяхъ полякъ. Его звали панъ Игнацій. Онъ былъ человѣкъ задумчивый, точно онъ несъ на себѣ судьбы міра и по дорогѣ зашелъ въ корчму, присѣть у прилавка, пригорюнился и началъ хозяйствовать, но совсѣмъ безъ удовольствія, такъ какъ это не его дѣло. Въ такомъ грустномъ, но благородномъ настроеніи онъ здѣсь состарѣлся и умеръ, все размыслия о Польшѣ и о «ракушанскихъ швабахъ». Теперь вмѣсто почтеннаго Игнація за буфетомъ не сидить, а мотается новый арендаторъ—человѣкъ болѣе молодой и несравненно болѣе подвижный, даже черезчуръ подвижный и говорливый. Зовутъ его панъ Морицъ или «геръ Морицъ»,—кому какъ угодно,—онъ на все откликается. (Игнацій никогда на «геръ» не откликался).

Между паномъ Игнаціемъ и Морицемъ во всемъ огромная и страшная разница: они и по характеру, и по темпераменту, и по воспитанію совсѣмъ разные типы.

Игнацій представлялъ изъ себя нѣчто поэтическое и вдохновительное,—особенно для нашего брата-славянина: это былъ матерой, чистокровный полякъ,—«шляхтичъ на огородѣ равнинъ воеводѣ». Онъ ходилъ въ темной чепаркѣ изъ довольно грубаго, но зато настоящаго, «хозяйственнаго», польского сукна, въ панталонахъ, заправленныхъ въ сапоги, которые называются «бутами», и въ поясѣ съ бляхой. Лицо онъ имѣлъ красивое, смуглое, съ таинственнымъ и мрачнымъ выраженіемъ. Высокий лобъ его осѣнялъ высокий же съ просѣдью черный чубъ, а надъ устами его простирались огромные черные съ просѣдью усы. Въ глубокихъ карихъ глазахъ Игнація жила какая-то поэтическая, съ нимъ навѣки умершая тайна. Онъ мнѣ очень нравился, и я остаюсь въ томъ убѣждѣніи, что снѣдавшая его тайна была въ своемъ родѣ что-то благородное и грустное.

Теперешній принципіаль корчмы, панъ Морицъ, съ первого взгляда производитъ совсѣмъ иное, какъ будто легко-мысленное впечатлѣніе. Онъ среднаго роста, проворенъ,

вертлявъ, съ тонкими чертами лица, голубыми глазами и точно выточенныемъ тонкимъ носомъ, на которомъ у него ловко сидитъ маленькое стальное ринце-пез безъ шнурка. Въ лицѣ и фигурѣ Морица не отпечатлѣлся никакой национальный типъ. Онъ съ одинаковыемъ удобствомъ можетъ быть принятъ за поляка, какъ и за чеха или за вѣнскаго пѣмца. Повидимому, национальность даже нимало и не занимаетъ Морица: онъ даже, можетъ-быть, нарочно устроилъ себѣ такой туалетъ, чтобы въ немъ не было никакой цѣльности. Онъ весь человѣкъ сборный. Во-первыхъ, у него на головѣ, покрытой густыми русыми волосами, красуется французская бархатная ермолка, расшитая шелками и бисеромъ (бархать довольно просаленъ, а шитье мѣстами осыпалось), потомъ ринце-пез въ дрянной стальной оправѣ, надѣтое безъ шнурочки. Это ринце-пез у него соскачивается съ переносицы отъ одного движенія бровями и всегда непремѣнно падаетъ къ нему прямо въ руки. Потомъ на Морица сѣрая пражская куртка съ зелеными выпушками и съ пуговицами неполированнаго оленыаго рога, а подъ нею поддѣть длинный коричневый жилетъ, спитый камзоломъ, въ стилѣ Фридриха II. Изъ кармана свѣшивается часовая цѣпочка изъ фальшиваго золота и торчатъ два огромные желѣзныя ключа.

Нижній этажъ фигуры Морица напоминаетъ танцмейстера. На немъ легонькія панталонцы изъ самаго тонкаго свѣтленькаго трико, а изъ-подъ нихъ внизу видны красные шерстянные носки и туфли изъ моржовой кожи шерстью на-верхъ.

Что содержится на умѣ у Морица и какое у него прошлое—это на его лицѣ ничѣмъ не выражено.

Морицъ говоритъ съ одинаковою бойкостью и свободою какъ по-польски, такъ и по-нѣмецки, и притомъ не выказываетъ ни къ одному изъ этихъ языковъ никакого предпочтенія. Повидимому, ему то и другое совершиенно все равно. Съ удовольствиемъ и улыбкою онъ только произносить нѣкоторыя фразы по-французски.

Фразы эти Морицъ, по собственной его откровенности, усвоилъ въ Парижѣ, гдѣ онъ побывалъ, состоя барабанщикомъ при одномъ изъ «побѣдоносныхъ региментовъ», повергшихъ Францію въ лапы прусского орла, черезъ «нѣожиданный оборотъ милостию Божией».

Морицъ—познанскій полякъ; онъ затесался къ австрійкамъ какъ-то случайно, а можетъ быть и умышленно—тоже, чтобы сдѣлать «обороть милостію Божію».

Человѣкъ, одаренный особенно счастливо пропицательностью и внимательно всматриваясь въ его лицо, можетъ быть, подумалъ бы, что Морицъ изрядный плутъ, способный вести довольно сложную и отвѣтственную игру, но въ немъ тоже бездна болтливости и легкомыслія, съ которыми плутни вести неудобно. Прежній задумчивый патріотъ Игнацій непремѣнно вспоминается и въ сравненіи съ Морицомъ представляеть какое-то поэтическое олицетвореніе «оныхъ минувшихъ рыцарскихъ вѣковъ». Морицъ—выжига, но зато онъ ни надъ чѣмъ не задумается и нигдѣ не потеряетъся.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Когда я взошелъ въ корчму, въ ней было всего только три человѣка: охотникъ съ ружьемъ, сидѣвшій въ углу за газетой и за кружкой пива, да очень старый еврей въ шелковомъ капотѣ. Этотъ помѣщался у маленькаго столика, на которомъ передъ нимъ стояла горячая вода, маленький фланкічикъ гольдека и корзинка съ поджареннымъ бѣлымъ хлѣбомъ. Онъ представляѣть изъ себя застывающую жизнь и отогревался теплымъ виномъ съ водою. Въ окнѣ стояль и въ упоръ смотрѣть на меня въ рінсе-пез панъ Морицъ. Онъ стоялъ неподвижно всего одну минуту, но зато такъ стойко, какъ будто это былъ портретъ, вставленный въ раму.

Я сейчасъ же замѣтилъ, что имѣю дѣло съ человѣкомъ новаго духа.

Игнацій никогда не находился въ такой бойкой и проницающей позиції. Тотъ, бывало, всегда сидѣлъ на особливомъ эtablisманѣ, обитомъ черною кожею, и ни за что не обезпокоивалъ себя, чтобы смотрѣть на входящаго посѣтителя и опредѣлять себѣ, коего духа входящій? Это было бы слишкомъ много чести для всякаго. Игнацій держалъ свою задумчивую голову опустивъ лицо на грудь, или положивъ щеку на руку.

Входящій гость—кто бы онъ ни былъ, все равно, чортъ его возьми,—самъ прежде долженъ былъ сказать Игнацію первое привѣтствіе, и только тогда онъ могъ ожидать къ

себѣ отъятнаго вниманія. Но теперь, едва я переступилъ порогъ, какъ Морицъ уже залепеталъ мнѣ навстрѣчу:

— Бонжуръ мосье! Мете ву пласти!

И главное: «мете!» Отъ кого онъ это слышалъ въ Парижѣ? Вѣрою это ему такъ перешло за барабаннымъ боемъ.

Но еще я не собрался ему ни слова отвѣтить, какъ онъ уже далъше зачастить:

— Командъ са ва? Кѣ дезире ву?

Съ этимъ онъ выскочилъ изъ-за перегородки, шаркнуль своими туфлями и, подвинувъ мнѣ стулъ къ одному изъ столовъ, проговорилъ:

— Асеѣ ву. Ну завонь кельке шозъ а вотрь сервизъ.

Вместо отвѣта я вручилъ ему карточку моего краковскаго знакомца, которымъ былъ сюда адресованъ и котораго я долженъ былъ здѣсь дожидаться.

Морицъ взглянулъ, сказалъ: «тре бѣнъ» и сдѣлалъ такое движение бровями, отъ котораго пенснѣ спало и моментально прямъ съ носа слетѣло въ открытую лѣвшую руку. И замѣчательная вещь: какъ пенснѣ соскочило съ лица Морица, такъ словно спалъ съ него и весь его прежний шельмоватый видъ; онъ точно нашелъ, что меня не стойти разматривать съ особенно серьезной точки зрѣнія, и началъ пошаливать: во-первыхъ, онъ сразу упростился въ выраженіи и заговорилъ по-польски.

— Чѣмъ же смѣю потчивать, пока придетъ вашъ пріятель? Есть у меня, пане добродѣю, гусь, и самый прекрасный гусь, кормленый чистымъ хлѣбомъ. Въ буфетъ на бангоффъ берутъ гусей у мазуровъ, но я не беру. Важныхъ пановъ, которые кушаютъ на бангоффѣ, можно начинять чѣмъ угодно, лишь бы было соусъ съ каэнной, но у меня собирается почтеннага шляхта, — люди хозяйственны, которые знаютъ, что такое мазурская домашня итица. Ихъ гуси, откровенно сказать, всегда пахнутъ травою. Есть утка свѣтская и утка дикая. Дикая — свѣжкохонькая, вчера только застрѣленная, и самъ стрѣлокъ здѣсь налицо: вотъ онъ, панъ Целестинъ, который читаетъ газеты и проникаетъ во всѣ тайны соображенія Бисмарка. Я ни у кого не покупаю утокъ, кроме пана Целестина. Есть также бигось съ капустою до услугъ панскихъ; есть зразы, есть воловья печень, или, чѣмъ уже могу показать я, есть добрая полендица; но есть также и шинка, — настоящая польская, а не пѣ-

мецкая шинка — и жидовской щупакъ съ шафраномъ... Что? Какъ вамъ это нравится? Щупакъ отлично приготовленъ. Знаете — шука въ своей кожѣ. Я вамъ особенно рекомендую эту штуку. Вотъ ребя Фола, — израэлить, а и онъ сейчасъ бы скушалъ при благословеніи Божиемъ, но не смѣеть, потому что боится своихъ почтеннѣйшихъ израэлитовъ. Онь еще наблюдаетъ «кошеръ»

Старый еврей, услыхавъ свое имя, посмотрѣль и глухо повторилъ:

— Кошеръ.

— Кожа съ этой шуки снята безъ одной дырочки, какъ чулокъ съ ножки красивой панинки, и вы лучшей шуки не найдете даже въ самой чешской Прагѣ на жидовскомъ базарѣ.

Я попросилъ дать мнѣ кусочекъ жареной дичи.

Морицъ одобрилъ.

— Да, — сказалъ онъ. — Это я понимаю! Я говорю пачесть дичи. Шука и вообще всякая рыба — это тоже хорошо, но не то... Отъ рыбы всегда есть что-то... отдастъ сыростью; но пернатая, легкая дичь благородный, и притомъ она легко варится въ желудкѣ. А я вамъ услужу такою дичью, какой вы, можетъ-быть, еще и не ъѣдали, да даже и навѣрно не ъѣдали. Если только вы не бывали въ забраномъ краѣ за Гродномъ, въ Бѣловѣжской пущѣ, то и не могли быть. Дичь для меня стрѣляетъ Целестинъ, — человекъ съ философскимъ настроениемъ и добрый патріотъ. Это чего-нибудь стоять.

Морицъ просыпалъ все это скоро, словно дробь на барабанѣ, и, повернувшись на каблучкѣ, опять очутился на своемъ мѣстѣ, въ одинъ за перегородкою. Тутъ онъ постучалъ черенкомъ ножа по выставочной доскѣ и на этотъ знакъ за его спиной тотчасъ же, какъ изъ земли, выросли молодой чумазый хлопецъ въ курткѣ и баба въ очинкѣ.

Морицъ мановеніемъ чела отославъ бабу назадъ, откуда она пришла, а хлопцу вѣдѣль подать мнѣ приборъ и порцию дичины.

Дичина оказалась сухою и безвкусною.

Морицъ это замѣтилъ и посовѣтовалъ мнѣ смочить ее гольдекомъ, чтѣ я и принялъ къ исполненію.

Вино оказалось нѣсколько лучше кушанья и послужило темою для разговора о разныхъ винахъ: рейнскихъ, венгерскихъ и французскихъ.

Морицъ имѣлъ обо всемъ этомъ достаточныя понятія и особенно одобрялъ французскія вина, которыхъ онъ, по его словамъ, выпилъ «чертовски много».

Морицъ сказалъ мнѣ, что тотъ, кого я ожидаю, придетъ черезъ часъ и я еще успѣю у него отдохнуть и хорошенько пообщаться, прилемъ обѣщалъ дать мнѣ отличный борщъ съ уткой «изъ двѣнадцати элементовъ». Такое обилие «элементовъ» меня удивило; Морицъ, чтобы убѣдить меня, начальбыло ихъ перечислять, какъ вдругъ былъ прерванъ раздавшимся изъ-подъ стола неожиданнымъ и злобнымъ рычаніемъ охотничьей собаки.

Морицъ сейчасъ же обратилъ на это вниманіе и проговорилъ:

— Ага! Это ничего... Это идетъ пань бель-бась! Бутько всегда его удивительно слышитъ.

Въ отвѣтъ на это охотникъ молча кивнулъ головою и толкнулъ ногою свою собаку.

— Вы, пань Целестинъ, напрасно съ Бутько взыскиваете,—замѣтилъ Морицъ.—Бутько добрый и даже почтенный песь: повѣрьте, что онъ знаетъ, какой духъ въ человѣкѣ.—И, обратившись ко мнѣ, добавилъ:—Собака никогда не смѣшаетъ честнаго человѣка съ мерзавцемъ, и вотъ этотъ Бутько ни за что не пропустить, чтобы не зарычать на пана Гонората.

— А кто это пань Гоноратъ?

— А это... вотъ вы его сейчасъ увидите: шельма ужасная, нопринесенный собесѣдникъ. Я его умѣю заводить и сейчасъ заведу.

— Еще что!—пробурчалъ Целестинъ.

— Нѣть, отчего же... Правда, что онъ, шельма, вретъ часто...

— Не часто, а всегда.

— Эхъ, пане Целестинъ, да гдѣ пынче взять людей, которые не врутъ! А въ компаніи Гоноратъ—соловей, у него есть анекдотъ на всикій случай и... знаете... иногда есть любопытное и поучительное.

— Чтобы чортъ побралъ его душу, —тихо прошипѣлъ Целестинъ и снова углубился въ газеты.

Въ сѣняхъ послышались тяжелые шаги и раздался сильный толчокъ въ дверь.

Отворявшаяся внутрь дверь широко распахнулась и въ просвѣтѣ ея, какъ въ рамѣ, показалась интересная фигура.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Пришедший быть тучный человѣкъ среднихъ лѣтъ съ коротко остриженною красно-рыжею головою и съ совершенно краснымъ лицомъ, на которомъ виднѣе всего выступающей большой выпуклой лобъ съ сильно развитыми глазными иззухами. Вся физіономія гостя была круглая, носъ картошкой, пухлые чувственныя губы и крошечные стрѣмые глазки съ веселымъ, задорнымъ и въ одно и то же время глуповатымъ, но хитрымъ выраженіемъ. Незнакомецъ быть одѣть въ красивое и очень удобное форменное платье, состоявшее изъ коричневой суконной блузы, подпоясанной кожанымъ поясомъ съ бляхой; на головѣ высокая тирольская шляпа съ чернымъ перомъ. За плечами у него была винтовка, а въ лѣвомъ ухѣ серыга съ бирюзою. Серыга сидѣла точно заклещка и бросалась въ глаза съ первого взгляда.

Словомъ, по лицу и по всѣмъ пріемамъ это быть Фальстафъ, а по мундиру—австрійскій жандармъ.

Для довершения сходства съ Фальстафомъ, онъ быть въ веселомъ расположениѣ духа и сразу началь шутки. Онъ не переступалъ порога, а, отворивъ дверь, остановился, заложа руки за поясъ, и покатился со смѣху, показывая глазами на охотника.

Морицу не нравилось, что въ открытый двери уходить тепло, и онъ просилъ жандарма войти.

— Просимъ, просимъ вѣсъ, пане капитане, пожалуйте, не ступите бѣдной шляхетской хаты.

Жандармъ принималъ величаніе, но продолжалъ смѣяться, глядя на охотника.

Морицъ вспыхнулъ.

— Входите сейчасъ въ комнату, почтенный капитанъ, или я выйду и захлопну мою дверь передъ самымъ вашимъ высокопочтеннымъ краснымъ носомъ.

— А ты, высокопочтенный прусскій барабанщикъ, если боишься замерзнуть, то все-таки постараися говорить съ уваженіемъ о моемъ носѣ, — отвѣчалъ хриплымъ голосомъ жандармъ.— Я остановился и стою потому, что хочу издали налюбоваться великимъ дипломатомъ, напимъ тонкимъ политикомъ, паномъ Целестиномъ, котораго я видѣть сегодня на зарѣ, какъ онъ сидѣлъ, глядя на копецъ королевы Боны.

— Чортъ возьми вашу милость, вы все отлично видите,

но вы можете палюбоваться паномъ Целестиномъ подойдя къ нему ближе!—воскликнулъ Морицъ и въ одно мгновеніе выскочилъ изъ-за своей перегородки, впихнувшись жандарма въ корчму и заперъ за нимъ дверь, а потомъ, оборотясь ко мнѣ, возгласилъ комически важнымъ тономъ:—Имѣю честь представить вамъ, мосье, высокопочтеннаго пана Гонората. Самый храбрый вояка и добрый товарищъ за бутылкою чужого вина; до сихъ поръ чиномъ не вышелъ, но первый кандидатъ въ капитаны жандармеріи его пресвѣтлаго величества нашего наинсийшаго цезаря.

— Болтай, болтай, прусский барабанщикъ и первый кандидатъ на висѣлицу,—отшутился Гоноратъ и, снявъ съ себя перевязь и винтовку, началъ располагаться въ кресль передъ каминомъ.

Усѣвшись, онъ вытянулъ къ огню ноги и сейчасъ же задалъ насмѣшилій вопросъ Целестину: что панирутъ про политику и что думаетъ Бисмаркъ въ Берлинѣ и генералъ Милорадовичъ въ Петербургѣ?

Охотникъ сдѣлалъ гримасу и сквозь зубы отвѣтилъ, что онъ на умѣ у Бисмарка не бывалъ, а Милорадовича никакого не знаетъ.

— Какъ же не знаешь?.. Милорадовичъ—руsskій фельдмаршалъ?

— Нѣть такого фельдмаршала.

— Ну, Суварова!

— Перестаньте говорить глупости. Нѣть Суворова.

— Кто же у нихъ вмѣсто Суворова?

Целестинъ не отвѣчалъ, а Морицъ замѣтилъ:

— Вамъ, какъ жандарму, стыдно не знать, кто вмѣсто Суворова.

— Ага! И ты опять меня хочешь стыдить! Лучше молчи!

— Передъ вами?

— Да, именно передо мною.

Морицъ сдѣлалъ презрительную гримасу.

— Ага!

— Я васъ не боюсь, господинъ капитанъ.

— А не хочешь ли ты, я тебѣ разскажу кое-что постыднѣе, чѣмъ не знать про Суворова?

— Очень радъ послушать, что вы скажете.

— Совру! Нѣть, мой милейший! Я не совру: ты увидишь, что твои укоризны напрасны, и что я, какъ жандармъ, кое-что зналъ.

Морицъ приложилъ руки къ виску и субординационно отвѣтилъ:

— Извините, господинъ капитанъ!

— То-то и есть, пріятель! Я знаю даже очень незначительный мелочи, и если хочешь, я сейчас же представлю тебѣ на это доказательство.

— Очень желаю! Какъ же... очень желаю, господинъ капитанъ.

— Третьаго дня, вотъ въ такой же счастливый часъ свободы между двумя дорожными поѣздами, я пошелъ въ проходку, и когда проходилъ мимо дома одного здѣшниаго обычавателя, то, какъ ты думаешь, на чѣо я наткнулся?

— Чортъ васъ знать, на что вы наткнулись.

— Я увидалъ, какъ его сынишка рѣзаль звѣздочками морковь для супа и пѣть преглупую пѣсенку: «Нашъ шановній бапъ налилъ воды въ жбанъ». Ты знаешь эту пѣсенку?

— Не знаю, но слыхалъ.

— Да; но вѣдь это у тебя, если не ошибаюсь, третьаго дня въ супѣ плавали морковныя звѣздочки?

— Вы все знаете и ни въ чемъ не ошибаетесь, капитанс.

— Такъ, мой милый Морицъ, я все знаю, а за то, что ты знаешь, что я все знаю,—я совсѣмъ тебѣ сейчас же пойти въ свои комнаты и хорошенъко выпороть твоего Яську.

— О, капитане, я это уже сдѣлалъ.

— Вотъ это прекрасно! Теперь ты можешь надѣяться, что это будетъ извѣстно въ Вѣнѣ.

Морицъ щелкнулъ туфлями и поклонился.

— И что же?.. Ты, надѣюсь, стегаль и причитываль, и можетъ-быть добился отъ Яськи: кто его этой пѣснѣ выучилъ?

— Узналъ все, какъ на ладонкѣ.

— Кто же его научилъ?

— Вашъ Стаська, мой добрый капитанъ.

Гонорать оборотился въ сторону Морица, посмотрѣлъ на него и, расхохотавшись, воскликнулъ:

— Ты шельма!

— Покорно васъ благодарю.

— Нѣть, ей-Богу!.. Ты, мой любезный Морицъ, не обижайся... Я тебѣ это откровенно говорю, что ты шельма! И ты знаешь...

— Что еще позволите знать, капитане?

— Ты, конечно, знаешь, что «шельма» это не значитъ то, что... шельма, а это значитъ, что ты *молодецъ*.

— О, я молодецъ! Мнѣ это еще раньше вѣсъ говорили, капитане.

— Я тебя за это такъ и люблю. Я не люблю рохлей.

— Фу! И я ихъ терпѣть не могу, пане капитане.

— Я больше всего уважаю въ человѣкѣ находчивость, чтобы человѣкъ всегда и вездѣ быть умень и находчивъ. И я для находчиваго человѣка все готовъ сдѣлать.

— Но случалось ли такъ, чтобы вы что-нибудь для кого-нибудь дѣлывали?

— А ты развѣ въ этомъ сомнѣваешься?

— Признаюсь вамъ, что даже вовсе не вѣрю.

— Онъ не вѣрить! Ахъ ты, прусскій барабанщикъ! Да! Я дѣлалъ, и много, Морицъ, дѣлалъ. Въ моей жизни бывали самые ужасные, такие ужасные случаи, когда ты бы навѣрно совсѣмъ не сумѣлъ найтись, а я нашелся.

— Ей-Богу не знаю, какъ вамъ и сказать, высокомощный капитане, вы знаете, что всѣмъ любопытно и прелюбопытно вѣсъ слушать.

— Я тебѣ, пожалуй, и разскажу одну исторію. Это страшно, но зато это совершенно справедливо, а ты, вѣдь, любишь въ страшномъ родѣ?

— Какъ вамъ сказать?—молвилъ Морицъ и сдѣлалъ гри-
масу:—я люблю и страшное, но...

— Говори откровенно.

— Больше я люблю *гемютлихъ!*

— Ахъ, гемютлихъ! Ну, тутъ будешь и гемютлихъ.

— Вѣстѣ?

— Да,—и страшное, и гемютлихъ.

— Клянусь, что это что-нибудь изъ вашей повстанской службы.

— Непремѣнно такъ! Ты отгадалъ! Но ты мнѣ за это прежде вспѣниши большую кружку пива и велиши подать кусокъ брыззы.

— Съ восторгомъ, мой капитане!

Кружка съ пивомъ была подана, и Морицъ объявилъ:

— Господа! вниманье! Панъ Гонорать будеть рассказывать страшное пополамъ съ гемютлихъ. Онъ всегда такъ откровененъ, что даже за это помилованъ: грѣхи его прощены, но онъ много видѣлъ страшнаго... Да-съ, онъ даже самъ вѣшалъ людей своими собственными руками.

— Да; я вѣшалъ людей,—отвѣчалъ Гонорать:— и вотъ

объ этомъ-то самомъ я и буду рассказывать, потому что при этомъ и съ ихъ стороны, и съ нашей было выказано много ума.

— А всего больше, я думаю, подлости, — прошипѣлъ Целестинъ.

— Морицъ! Попроси этого господина замолчать.

— Помолчите, Целестинъ! Чѣмъ вамъ за охота все со-крушасться о подлостяхъ! У Гонората, павѣрно, есть очень занимателная исторія, а ваши газеты, по правдѣ сказать, очень скучны.

— Скучны!

Целестинъ махнулъ головою и уткнулъ носъ въ газету, — дескать: «Пусть врѣть, я не буду слушать».

И вотъ наступило не то вранье, не то правда, — какъ хотите, такъ и думайте.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Гоноратъ началъ съ того, какъ онъ былъ въ повстаньѣ, въ отдѣлѣ у какого-то пана Цезарія, и очень его хвалилъ. Молодой, говорить, былъ вояка, по страсть какой храбрый. Учился воевать по-настоящему въ Парижѣ, у французовъ въ академіи, и могъ всякаго побѣдить по всѣмъ правиламъ; но безъ правиль сражаться не могъ и потому у насъ не тодился. Разныя вещи съ собой привезъ въ чемоданѣ: и бусоли, и планы, и даже молоденъка адъютанта французской природы, а только все это не пошло впрокъ. Всѣ эти вещи адъютантъ растерялъ, и самъ заболѣлъ, потому что совсѣмъ быть слабый, какъ барышня, даже и груденка впередъ коробочкомъ вышерлась, будто какъ зобъ у птички. Говорили, что это такъ и есть, — что это барышня-француженка. Онъ все съ ней сидѣлъ и ъль курку съ масломъ въ палаткѣ, а всѣмъ провіантъ отпускалъ ксендзъ Флоріанъ. И стали они оба въ лицѣ мѣняться: Цезарій сталь отходить, а ксендзъ Флоріанъ усилился. Началась деморализація... Ты, барабашникъ, понимаешь, что называется деморализаціей?

— Понимаю, капитане; только у насъ въ Пруссахъ ея не было.

— Ты правъ, у васъ не было. У васъ вѣдь гороховой колбасой кормили, — и то не жириб. А мы тогда сначала пришли съ охоты, и стали скучать, что Цезарій въ палаткѣ пѣлуетъ, и многіе тоже начали подумывать: какъ бы

и себѣ улизнуть домой, да тоже бы курку съ масломъ ёсть, да пѣловаться.

Ксендзъ Флоріанъ это замѣтилъ и говорить:

— Я долженъ командовать отрядомъ, а не Цезарій.

Ему говорятъ:

— Цезарій отъ высшей власти назначенъ.

А ксендзъ Флоріанъ отвѣчаетъ:

— Это ничего не мѣшаетъ: его высшая власть назначила, а я видѣлъ Остробрамскую Божію Матерь, она мнѣ приказываетъ. Соберитесь-ка, говорить, — всѣ на берегъ рѣки, когда солице сядеть, и вы сами увидите за рѣкою, какъ она меня благословляетъ. Со мною непремѣнно будетъ побѣда. Только, чтобы видѣть это, вы должны весь этотъ день попоститься и съ утра ничего не ёсть.

И приказалъ намъ ничего не давать.

Мы говоримъ:

— Хоть хлѣба!

— Нѣть, говорить, — ничего не надо: чтобы чудесное увидать надо быть совсѣмъ не євшими.

Мы очень проголодались и собрались, чуть стало смеркаться. Стоимъ и смотримъ за рѣку, а Флоріанъ пришелъ и послѣ насъ и сѣлъ на скамейку.

Спрашивается:

— Что, хлощи, видите?

Мы отвѣчаемъ:

— Нѣть, отче, ничего не видимъ.

— Какъ ничего не видите! — А туманъ?

— Только и видимъ одинъ туманъ.

— А въ туманѣ Матерь Божія въ огненному сіянніи все свѣтится и вся благословляетъ. Видите?

— Нѣть, не видимъ.

— Ну, такъ это оттого, что вы еще со вчерашнаго дня очень наївшись. Вы недостойны. Не ѿште еще сегодня на ночь и завтра не ѿште до вечера, тогда вы увидите, а теперь ступайте спать — вы недостойны.

Не велѣль опять давать никому ни водки, ни хлѣба и прогналь спать; а на другой день опять привель на берегъ и спрашивается:

— Видите?

Мы то же самое ничего не видѣли, и такъ и отвѣчали.

А онъ говоритъ:

— Ну, такъ еще одинъ день не ѿште, тогда увидите.

Тутъ между нами одинъ мазуръ нашелся и говорить:

— Позвольте-ка, отче, позвольте минуточку: я какъ будто начинаю что-то замѣтать...

— Ага! говорить,—это хорошо: всматривайся, всматривайся и говори, что ты замѣчашь?

— Минѣ въ туманѣ, дѣйствительно... какъ будто огонекъ показывается.

— Вотъ, вотъ, вотъ! Смотри еще попристальнѣе! Все въ одну точку смотри, да читай въ умѣ молитву, непремѣнно болыше увидишь!—А вы, капевары, собирайтесь разводить здѣсь огонекъ подъ котломъ: нынче, кажется, вамъ Матерь Божія покажется, и вы будете ѿсть лозанки съ сыромъ.

Тотъ, который началъ видѣть, какъ услыхалъ это, такъ и вскрикнулъ:

— Вотъ, вотъ, въ самомъ дѣлѣ: какъ я стала читать молитву, такъ и вижу Божію Матерь!

Ксендзъ отвѣтчаетъ:

— Ну, если ты ее видишь, то ты уже можешь ужинать. Тутъ и всѣ увидали.

Флоріантъ говоритъ:

— Вотъ и молодцы, — только это и надо, чтобы вы всѣ были удостоены. Теперь присягните передъ крестомъ, что видѣли. Ходить далеко не нужно: крестъ со мною, присягайте сейчасъ и пойдете пить водку и ужинать.

Мы всѣ присягнули и другъ-другу болыше ничего не сказали; а Флоріантъ сказалъ Цезарію: «уѣзжай за границу съ своимъ адъютантомъ», а самъ сталъ командовать.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

При Флоріанѣ сразу пошло совсѣмъ другое дѣло. Флоріантъ былъ не то, что Цезарій. Въ Парижѣ не учился, а былъ молодчикъ: онъ весь свой вѣкъ все пѣлъ въ каплицѣ да дома сливы мариновалъ съ экономкою, а однако знать весь трончики въ поляхъ и всѣ лѣсные входы и выходы. Онъ какъ утвердился, такъ сейчасъ и объявили, что я, говоритъ, никому не дамъ спуску,—и чужого, и своего сейчасъ повѣши.

— Я, говоритъ,—по глазамъ умѣю читать: кто въ лицѣ станетъ мѣняться — значитъ собирается улизнуть домой курку съ масломъ ѿсть,— я его сейчасъ и повѣшу.

Мы всѣ его стали бояться. Скажетъ: «вижу въ твоихъ глазахъ, ты въ лицѣ мѣняешься» — и повѣсить. Стали всѣ притворяться какъ можно болѣе веселыми.

Но напала на насъ на всѣхъ робость. Какъ встанемъ, пойдемъ къ ручейку умываться и смотримся: не мѣняемся ли въ лицѣ. Помилуй Богъ мѣняешься — сейчасъ повѣсить. И всѣ мы какъ другъ на друга взглянемъ — кажется, какъ будто всѣ въ лицахъ перемѣняемся, потому что боимся Флоріана до смерти, и надо, чтобы онъ этого въ глазахъ не прочиталъ. А онъ читаетъ. Многіе стали въ умѣ мѣшаться и путаться. Быть у насъ мой крестовый братъ мазуръ, Якубъ, преогромный, а между тѣмъ началь плакать. Безъ всякой причины стоить и плачеть. Ему говорятъ: «Смотри, скучать нельзя!» Онъ говорить: «Я не скучаю, я даже теперь очень весель, а только я про жалостное вспомнилъ». — «Что же такое жалостное?» — «А вотъ, говорить, когда я дома поросята стерегъ, такъ у одной свиньи было двадцать поросята, а какъ одного изъ нихъ закололи, такъ всѣ его остальные коллежки захрюкали». И опять плачеть, а на Якуба глядючи, молоденький еврей, напыч Гершко, который за наше дѣло воевать присталъ, также сталъ плакать.

— О чѣмъ? говоримъ. — Ну, Якубъ вспомнилъ про поросчихъ коллегъ, а тебѣ что такое? У васъ свинины не щдятъ и жалѣть не о чѣмъ.

А онъ отвѣчаетъ:

— Минѣ, говорить, — что такое поросяты... тѣфу! Я даже таты и мамы не жалѣю, а слезы у меня такъ... я не знаю отчего... Можетъ-быть, отъ вѣтра льются.

— Смотри, моль, — отворачивайся, подъ вѣтерокъ становись, а то Флоріанъ въ глазахъ прочитаетъ и вразъ повѣсить.

Всѣ лежимъ кучкою у угольковъ, картофель печемъ и тихонько обѣ этомъ разговариваемъ, а сами думаемъ: вотъ только чтобы обѣ этомъ Флоріанъ не узналъ! Да какъ ему узнать! Его вѣдь здѣсь нѣтъ, онъ не услышитъ, о чѣмъ мы говорили. А кто-то напомнилъ: «А вѣдь онъ, говорить, завтра по глазамъ можетъ прочесть». Тѣфу ты, чортъ возьми, положеніе! Всѣ и стали сокрываются, — кто полой голову накроетъ, будто спитъ, кто подъ фирмаку отползть и тоже будто заснетъ, а другимъ и это страшно кажется — зачѣмъ другіе отползаютъ. И такъ вся ночь-то ни въ тѣхъ, ни въ сѣхъ прошла; а когда на зарѣ стали под-

ниматься—смотримъ, ни свинаря Якуба, ни паныча Гершкі несть... Гдѣ ни искали по всему обозу—нигдѣ несть!

Флоріантъ какъ узналъ объ этомъ, такъ и заколотился. И плюеть, и топочеть, и кричить: «Чтобъ разысканы были, а то всѣхъ повѣши! Они нась выдать могутъ». И всѣ подумали: и вправду, они попадутся,—ихъ станутъ пытать и они нась выдаадутъ.

Послаль за ними въ погоню искать ихъ по лѣсу и по ярамъ двадцать человѣкъ, и все по-двоемъ, а Флоріантъ всѣхъ передъ тѣмъ осмотрѣль и сказалъ: «Смотрите, ворочайтесь и ихъ приведите, а то я васъ по глазамъ вижу».

Пошли наипи и два дня никого не было, а наконецъ двое идутъ и ведутъ свинаря Якуба, а двое паныча Гершку, а остальные шестнадцать человѣкъ и сами не воротились.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Флоріантъ говоритъ: «Я такъ ихъ и по глазамъ видѣль, что они не воротятся. Теперь намъ здѣсь прохладжаться некогда: сей-часъ надъ этими судь сдѣлаемъ по старинному обозному правилу и уйдемъ въ походъ на другое мѣсто искать непріятеля».

Обернулся къ Якубу и къ Гершкѣ и говоритъ:

— Васть сейчасъ судить.

Гершко заплакаль, а Якубъ сѣль на землю у фурманки, къ колесу прислонилъся и говорить:

— Мнѣ все равно, я теперь не боюсь,—а самъ сомлѣль.

Сомлѣль и панычъ Гершко и пересталъ плакать. Оба ужъ они очень отошли въ лѣсу, оборвались и измучились.

Флоріантъ торопился судить.

— Они, говорить,—дезертиры и шпіоны, они бѣжали съ поля и хотѣли нась выдать: за это ихъ должно повѣсить. Снимите съ двухъ фурманокъ вожжи, поднимите вверхъ дышла и замотайте ихъ крѣпко у передковъ, чтобы дышла не качались. Вотъ такъ... Теперь хорошо... Такъ велитъ старый обозный обычай. Теперь кто желаетъ быть палачомъ?.. А?.. Никто? Прекрасно! Ничего не значить. Мы узнаемъ сей-часъ, кто будетъ палачъ. Это сейчасъ будетъ показано. Пусть каждый изъ васъ закачаетъ себѣ рукавъ выше локтя. Вотъ такъ!.. Теперь раскройте одинъ мѣшокъ съ овсомъ.

Мы закачали рукава и мѣшокъ развязали.

— Берите каждый по очереди горстъ зеренъ въ руки и мнѣ показывайте.

Мы стали захватывать зерна горстю. Первый захватил горсть и раскрыл передъ ксендзомъ. Флоріанъ говорить:

— Отходи, на тебя нѣть указанія.

Взялъ слѣдующій. И на этого нѣть.

Дошло до меня. Я разжалъ передъ Флоріаномъ горсть, счѣ говорить:

— По указанію судьбы, ты обозный палачъ.

Я обомлѣль, говорю:

— Помилуйте, гдѣ же указаніе?

— А вотъ, видишь, говорить, — у тебя въ горсти два черныхъ зерна. Это и есть указаніе: два зерна и два человѣка — ты двухъ долженъ повѣсить.

Я ему началъ кланяться въ землю.

— Отецъ святой!.. Я боюсь!.. Я не могу!

Но онъ и слушать не хочетъ.

— Если бы, говорить, — ты не могъ, такъ на тебя указанія не было бы. Или ты, можетъ-быть, ослушникъ вѣры? Такъ мы въ такомъ разѣ тебя и самого удавимъ. Хлонцы, говорить, — я долженъ его немножко исповѣдывать, а вы не завязывайте мѣшка; можетъ-быть, придется доставать не два, а три зерна — кажется, надо будетъ троихъ вѣшать.

Я подумалъ себѣ: Э, нѣть, братку! Знаю я, что ты за птица. Ты меня станешь по глазамъ читать и нивѣсть что на меня скажешь! Нѣть, я лучше такъ, просто, безъ исповѣди согласенъ.

— Нѣть, не нужно, говорю, — отче; меня исповѣдывать не нужно. Я нынѣшний годъ исповѣдовался и сообщался... Я повѣши... сколько угодно и кого угодно повѣши.

— Хоть и самого ксендза повѣсили бы! — перебилъ Морицъ.

— Онь, я думаю, и отца съ матерью повѣсить бы, — вставилъ Целестинъ.

— Очень можетъ быть, — отвѣчалъ Гоноратъ: — но я обѣ этомъ сталъ бы разсуждать только съ тѣмъ, кто имѣль несчастіе вынуть изъ мѣшка черное зерно при дѣйствіи старого обознаго обычая. А съ такою дрянью, которая стоять въ корчмѣ за стойкою или читаетъ газеты, мнѣ обѣ этомъ разсуждать непристойно. Я продолжаю. Я согласился, но я стоять не живой и не мертвый, потому что давить людей, повѣрте... это не гемютихъ, а это чортъ знать что такое! А хлонцы, по ксендзову приказу, живо сдвинули двѣ фурманки, поставили ихъ передокъ къ передку, дышла свя-

зали, ремень ветчинным саломъ помазали и наверху въ кольцо петлю пропустили.

— Пожалуйте, палачъ, на свою позицію!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Подвесили свинярия Якуба и поставили подъ петлю на переднюю ось изъ-подъ другой фурманки. А ксендзъ Флоріанъ говорить мнѣ:

— Надѣтай на него петлю и смотри, чтобы испремѣнно пришлось выше косточки.

У меня руки трясутся,—весь растерялся.

— Какая тутъ у черта косточка!

Флоріанъ говоритъ:

— А, ты не знаешь косточки?

— Не знаю. Я изъ простыхъ людей.

— Это ничего не стоитъ, говоритъ:—простого человѣка сейчасъ можно все сразу понять заставить.—Да съ этимъ какъ сожметъ меня пальцами за горло, такъ что я, было, задохся.

— Вотъ, говоритъ,—гдѣ бываетъ косточка. Понять?

А у меня ужъ и духу въ горлѣ не стало.

— Понять,—просипѣль я безъ голоса.

Ксендзъ толкнулъ меня сзади ногою въ спину.

— Дѣлай!

Я взялъ за ремень и стала по шеѣ гладить — искать косточку, гдѣ надѣвать. А Якубъ, вообразите, вдругъ оба глаза себѣ къ носу свѣль! Какъ это онъ могъ!. И, кромѣ того, темя у него на головѣ, представьте, вдругъ все вверхъ поднимается... Такая гадость, что я весь задрожать и петлю бросилъ. Флоріанъ опять мнѣ дать затрещину пребольно... Тогда я надѣлъ петлю.

Тутъ самъ Флоріанъ говоритъ мнѣ:

— Палачъ! Подожди!

Оборотился лицомъ ко всѣмъ и говорить:

— Пашы-братья! По старому обозному обычаю, людей такъ не казнили, какъ ихъ теперь казнятъ. Кое-что въ старину было лучше. Вы это сейчасъ же увидите. По старому обозному обычаю, осужденному на смерть человѣку оказывали милость: у осужденного спрашивали, чтѣ онъ хочетъ, не имѣть ли онъ предсмертной просьбы? И если человѣкъ объявлялъ предсмертную просьбу, то исполняли, чего бы онъ ни попросилъ. Такъ и мы поступимъ.

Всѣ похвалили.

— Ахъ, какъ хорошо!

А ксендзъ Флоріанъ спрашивается:

— Не имѣешь ли ты предсмертной просьбы, Якубъ?
Якубъ молчитъ.

— Ты напрасно не пользуешься тѣмъ, что тебѣ предо-
ставляетъ нашъ старый обычай; а то и такъ повѣсимъ.

Якубъ говоритъ:

— Мнѣ все равно, мнѣ только пить хочется.

— Экій дуракъ!—говорить Флоріанъ:—ничего не умѣль
выдуматъ. Дайте ему пива!

Подали Якубу пива, а онъ—было началь губами пѣну
раздувать, а потомъ говоритъ:

— Не надо, не хочу.

Флоріанъ говоритъ:

— Выдерни изъ-подъ него передокъ.

Дернули изъ-подъ него передокъ, онъ и закачался... Что-
то щелкнуло.

Всѣ отворотились, и тихо-тихо стало все; только свя-
занныя дышла подрагивали. А когда мы опять оборотились
лицомъ, такъ ужъ Якубъ только помаленьку сучился на
вожжахъ, и глаза отъ носа въ раскосъ шли, а лицо, пред-
ставьте себѣ, оплевалось.

Ксендзъ Флоріанъ сказалъ:

— Это ничего, давайте жида на его мѣсто.

— Гдѣ же будетъ гемютлихъ?—спросилъ Морицъ.

— Погодите.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Панычъ Гершко оказался противъ Якуба находчивый.
Онъ, какъ только увидалъ мертваго Якуба, самъ началъ
про просьбу кричать:

— Я имѣю просьбу... Ай, я имѣю большую предсмерт-
ную просьбу!

Ксендзъ говоритъ:

— Хорошо, хорошо! Ты ее скажешь. Но только я впе-
редъ тебѣ долженъ одно сказать: пожалуйста не просись въ
христіанскую вѣру.—Это у васъ такая привычка, но теперь
тебѣ это не поможетъ, а ты только поставишь насъ въ не-
приятное положеніе.

— Ой, пѣть, пѣть!—говорилъ панычъ Гершко:—я теперь

въ христіанскую вѣру проситься не буду. Я совсѣмъ другое... Совсѣмъ простое прошу.

— Ну, простое проси.

— Я прошу не вѣшать меня за шею!

Гоноратъ остановилъ разсказъ и воскликнулъ:

— Вы понимаете, въ чемъ тутъ штука?

Морицъ молча кивнулъ головой, а реби Фола вскричалъ:

— Разумно!

Гоноратъ бросилъ на него презрительный взглядъ и продолжалъ:

— Разумно!.. А вотъ же ты увидишь, къ чему это повело!

Ксендзъ разсердился.

— Ахъ ты, говорить,—каналья! Такъ-то ты за деликатность платишь! Развѣ это можно выдумывать!

— Отчего же не можно?

— Да за что же мы тебя повѣсимъ?

А Гершко отвѣтчаетъ:

— Мнѣ все равно... Хоть ни за что не вѣшайте.

Флоріанъ только плечами пожалъ и говоритьъ:

— Нѣть, братцы, жиды такой народъ, что съ ними, дѣйствительно, ничего невозможнo.

И Гершку повѣсили.

— За что же?—перебилъ Морицъ.

— Ну, конечно за шею.

Вышла пауза.

Морицъ побарабанилъ пальцами и, вздохнувъ, сказалъ:

— Да, это гемютихъ... Сколько вы, капитане, въ самомъ дѣлѣ, пережили ужаснаго!

— Не мало, Морицъ, не мало.

— Но вы, все-таки, хорошо нашлись.

— Какъ кажется. Иначе мнѣ самому висѣть бы на дышль.

— Конечно; но если по правдѣ судить, то изъ всѣхъ изъ вѣсъ жидъ, все-таки, былъ всѣхъ находчивѣй.

— Почему же? Развѣ онъ остался въ живыхъ, а не я?

— Конечно, конечно! — замѣтилъ Целестинъ. — Нельзя спрѣтъ, что всѣхъ находчивѣе выпили ксендзъ съ Гоноратомъ. Они ли не молодцы! Сами, чортъ знаетъ, выдумали откуда-то какой-то старинный обозный обычай, сами предсмертную просьбу учредили и сами же все это уничтожили: удавили людей какъ тетеревятъ, а сами живутъ спокойно.

Гонорать посмотрѣлъ на Целестина и, покачавъ головою, вздохнулъ и молвилъ:

— Почтенный панъ Целестинъ, вы не можете судить чужую душу. Теперь я спокоенъ, но меня это долго мутило, и я не находилъ покоя даже постѣ того, какъ насть тогда скоро разсѣяли и я принесъ покаяніе, и меня простили...

— А вы, капитане, чистосердечно раскаялись? — спросилъ Морицъ.

— Это что за вопросъ? Разумѣется, чистосердечно.

— То-то... какъ добрый католикъ.

Гонорать покачалъ головою.

— Любезнѣйшій Морицъ! Какъ это глупо!

— Да я ничего.

— Нѣть, не «ничего». А я это для твоей же пользы... Я перемѣнилъ свой образъ мыслей, и надѣль вѣрь эту жандармскую шляпу съ казеннымъ перомъ, Морицъ, — это всякий можетъ видѣть; но я долго не зналъ покоя въ жизни.

Целестинъ сдѣлалъ презрительную гримасу и проѣдилъ:

— Отчего же это?

— Да, вѣрь именно «отчего»? Тебѣ, почтенный Целестинъ, будеть непонятно, потому что ты не полякъ.

— Почему же это я не полякъ?

— Потому что ты лютеръ или кальвинъ, а не католикъ, и у тебя черствое сердце. Ты — вѣдь я тебя знаю... ты не вѣришь...

— Вы все должны знать.

— Да не перебивай! Ты вѣрь Бога не вѣришь.

— Вы врете.

— Возьми свое слово назадъ. Твоя вѣра, какова она есть, это все равно, что ея и нѣть. Ты хлопочешь о томъ, что всѣго меныше стѣбить. Не отпираися: ты внушаешь молодымъ людямъ, что поэзія вздоръ, и хлопочешь только о томъ, чтобы всѣ занимались работой, чтобы процвѣтать трудъ и ремесла, какъ будто вѣтомъ для насть все и дѣло; а я — добрый католикъ; я люблю поэзію и имѣю чувствительное сердце: мнѣ дорого то, что ждеть насть постѣ смерти. Да; мнѣ всегда приходитъ на память, что всѣмъ надо умереть... И когда мнѣ это придетъ на умъ, и я подумаю, что я тоже умру, то всякий разъ ясно вижу передъ собою это... какъ у нихъ были глаза... оба къ носу... и темя

шевелилось. Я увѣряю тебя, что это престрашио, и это со мною долго продолжалось.

— Но, однако, прошло?

— Да, прошло.

— Отчего же?

— Отъ одного ужаснаго случая, отъ котораго я чортъ знаетъ какъ уцѣлѣть на свѣтѣ.

— Какой же это случай? — спросилъ Морицъ.

— Это, Морицъ, былъ чертовскій случай, — это адская сцена, на которую опять выходить отецъ Флорианъ.

Реби Фола потянулъ ухо къ Морицу и прошепталъ:

— Такъ это было на сценѣ!

— Да, реби Фола, — молчите, — все это было на сценѣ.

— Хорошо, хорошо!

Геноратъ продолжалъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Это я могъ бы говорить только для вѣрующихъ, но все равно. Прошелъ слухъ въ народѣ, что подъ Злочевомъ въ тѣсу на пасѣкѣ поселился человѣкъ святой жизни. Онъ звалъ пчель, давалъ людимъ лѣкарства и ни отъ кого ничего за это не бралъ. Бѣдные глупые русины прозвали его между собою «пчелиный королекъ». Стали къ нему ходить отовсюду; онъ исцѣлялъ всѣхъ, у кого бы какая болѣзнь ни случилась. Если у кого было нехорошо на сердце отъ сердечныхъ мыслей — и тѣ тоже къ нему приходили. И я тоже пошелъ, чтобы его видѣть. До Львова я доѣхалъ и все держалъ постъ дорожной, а дальше пошелъ пѣшкомъ, чтобы какъ можно лучше себя приготовить къ бесѣдѣ съ святымъ человѣкомъ. Нашелъ его очень легко: живетъ въ лѣсу — одинъ... старый, весь обросъ бородой, въ бѣлой свиткѣ, и даже пахнетъ отъ него прекрасно святостью, — медомъ и воскомъ... А глаза — такъ насквозь всего человѣка и проницаютъ. Посмотрѣль онъ на меня и говоритъ:

— Тебѣ надо покой, — иди отдохни у меня въ халупкѣ, а завтра съ тобой будемъ бесѣдоватъ.

Положилъ меня въ халупку и заперъ на ключь, а утромъ вывелъ и говоритъ:

— Теперь ты мнѣ можешь открыться.

Я ему сталъ исповѣдываться и все, все рассказалъ, и что тогда дѣлалъ, и что теперь дѣлаю, и прошу:

— Отпусти мнѣ, отче!

Онъ говорить:

— Для того, чтобы отпустить раба, есть въ Библіи правило. Я тебя могу отпустить, но только по этому правилу. Я согласился. Онъ похвалилъ.

— Вотъ, говорить, — хорошо, милый сынъ мой (такъ и называлъ: *милый сынъ*); пойдемъ теперь къ двери, я тебя отпущу, какъ должно, по закону.

И тутъ, господа, вдругъ и совершенно неожиданно разыгралась вторая удивительная и невѣроятная сцена.

Реби Фола разинулъ ротъ и уронилъ сухарь.

— У васъ худой ротъ, реби Фола! — крикнулъ Морицъ.

— Нѣть, я слушаю, что было на сценѣ.

Гоноратъ продолжалъ:

— А по закону, — сказалъ королекъ: — когда надобно отпускать раба, то надобно его вотъ какъ. Подходи, братъ, сюда... Стань вотъ здѣсь на порогѣ у притолки, прислонись къ притолкѣ... Такъ!.. Еще плотнѣ!

Я стала и прислонился, а онъ, подлецъ, вдругъ какъ хватить меня сзади шиломъ, такъ сквозь ухо къ притолкѣ и пришипилъ...

— Это такъ и надо! — оживился Фола. — Такъ слѣдовало!

— Почему же такъ слѣдовало?

— По Второзаконію.

— Второзаконіе! Чортъ бы тебя взялъ со всею твою раввинскою ученостью, — закричалъ на него Гоноратъ и досказалъ, что пустынникъ, пригвоздивший его шиломъ къ притолкѣ, оказался не кто иной, какъ бывшій ксендзъ Флоріанъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

— Вы, можетъ-быть, ошиблись, капитанъ?

— Я не могъ ошибиться, Морицъ! Да и, наконецъ, вѣдь мы объяснились.

— Объяснились?

— Какъ же! Когда онъ ушипилъ меня шиломъ къ притолкѣ... вѣдь это было такъ больно, что я закричалъ во всю мочь и никуда не могъ тронуться... А онъ — чтобы ему околѣть — сталъ передо мною, снялъ съ себя бѣлый парикъ, подперъ руки въ бока и спрашивается:

— Узнаешь ли ты меня, наконецъ, противная собака въ

австрійскомъ ожерелѣ? Ты, негодай, пришелъ сюда, чтобы за мною шпіонить, а я тебя сейчасъ и разгадалъ; и вотъ за это ты простоянъ здѣсь приколотый къ притолокѣ до тѣхъ поръ, пока издохишь голодной смертью, а я уйду въ такое мѣсто, гдѣ меня другая такая собака, какъ ты, не отыщетъ.

И съ этимъ онъ досталь изъ-подъ пола кису съ дельгами, показалъ мнѣ шинкъ и ушелъ, а меня заперъ.

— Вотъ такъ гемютлихъ! — воскликнулъ Морицъ.

— Да! И представь себѣ, другъ мой Морицъ, что вѣдь я, дѣйствительно, такъ и стоялъ приколоченный цѣлья сутки. Чѣмъ это была за мѣка! Я тебѣ и сказать не могу. Отъ боли я не могъ вынуть шила. А ухо!.. Описать нельзѧ, что сдѣлалось съ моимъ ухомъ... Оно у меня пухло, какъ широгъ на опарѣ, а при этомъ шла ужасная стрѣльба во всей головѣ и ко всему этому сѣсть невозможно. Я, Морицъ, молился, жарко молился... и какъ я плакалъ!..

Въ этомъ мѣстѣ разсказа въ голосѣ Гонората задрожали слезы, и онъ торопливо выташилъ изъ кармана платокъ и закрылъ свое лицо.

Целестинъ посмотрѣлъ на него чѣрезъ очки и прошипѣлъ:

— Мерзавецъ!

Черезъ минуту Гоноратъ продолжалъ:

— Я думалъ, что я непремѣнно тамъ и умру голодною смертью; но Богъ бываетъ добръ ко всѣмъ, Морицъ! Онъ и надо мною смиловался, вѣроятно за то, что никогда не разсуждалъ на ученый манеръ, а всегда во все вѣрилъ какъ добрый католикъ. На другой день пришли къ домику благочестивые люди, чтобы просить у Флоріана благословенія. Они стали стучать. Вообрази, какъ я обрадовался! Но я не могъ имъ отпереть. Я спасъ себя только тѣмъ, что стала пѣть потихоньку. «Подъ Твою милость прибѣгаемъ». И хорошо, что я могъ это пѣть такъ жалостно, что благочестивые люди не могли разобрать моего голоса и подумали, что это поетъ самъ Флоріанъ. И Богъ Милосердный такъ сдѣлалъ, что мой голосъ издали быть совсѣмъ какъ Флоріановъ голосъ, и благочестивые люди подумали, что это Флоріанъ кончается, и отбили запертую дверь. О, какое это было благополучіе! Они сняли меня съ шила и начали меня бить палками, подозрѣвая, что я раз-

бойникъ и былъ съ товарищами, которые убили или увезли въ изгнаніе Флоріана. Я ихъ упросилъ, чтобы меня отвели къ комиссару. Комиссаръ отправилъ меня въ Вѣну. Въ Вѣнѣ хотѣли мнѣ ухо отрѣзать, но, къ счастью, отлично вылечили не рѣзавши — только вотъ эта дырка отъ шила осталась.

Гоноратъ показалъ на свою бирюзовую заклепку и, вздохнувъ, добавилъ:

— И вотъ только съ тѣхъ поръ мнѣ легче вспомнить и про Якуба, и про паныша Гершку, потому что не одни они, а и я тоже пострадалъ отъ отца Флоріана.

— Только вы нѣсколько меныше, а они больше, — замѣтилъ Морицъ.

— Это правда; но знаешь, вѣдь тутъ много зависитъ оттого, какъ смотрѣть на дѣло.

— Конечно, ксендзъ Флоріанъ сначала сдѣлалъ изъ вашей милости препоганаго палача, а потомъ преогромнаго дурака; но, однако, какъ ни смотри, вы все-таки живы.

— Да, я живъ... это правда.

— И ѓдите курку съ масломъ.

— Ёмъ... иногда... А тебѣ завидно?

— И служите австрійскимъ жандармомъ, — подсказалъ Целестинъ.

— Да, и служу австрійскимъ жандармомъ... А все-таки вы мою душу не знаете и не можете судить: лучше мнѣ или не лучше, чѣмъ Якубу и Гершѣ.

— Нѣть, лучше, лучше! — заметился реби Фола.

— Ты почему знаешь?

— По Писанію, — отвѣчалъ реби Фола, и, поднявъ передъ собою въ лѣвой рукѣ сухарь, онъ точно читалъ съ нимъ подъ указку слова изъ Кагелота: «Псу живому лучше чѣмъ льву умершему».

Морицъ и Целестинъ расхохотались. Реби Фола не понималъ въ чѣмъ дѣло и увѣрялъ, что у Кагелота, действительно, такъ написано: «Псу живому лучше, чѣмъ льву умершему».

Гоноратъ всталъ, вздохнулъ, поглядѣлъ на свои часы и проговорилъ ко всѣмъ безразлично:

— Всѣ вы — безчувственные животныя, и я еще не теряю надежды, что когда-нибудь мнѣ придется вѣсть повѣстъ.

— Въ чай же бенефисъ, панъ капитанъ, вы нась хотите повѣстить? — спросилъ Морицъ.

— А это для меня безразлично, панъ трактирщикъ, — отвѣчалъ шаловливо Гоноратъ и, вскинувъ на локоть свой карабинъ, онъ никому не кивнуль головою и пошелъ встрѣчать подходившій срочный поѣздъ.

Съ этимъ поѣздомъ прибыль и тотъ дѣловой человѣкъ, котораго я ожидалъ. Мы скоро переговорили все, что надо было по дѣлу, а потомъ я ему рассказалъ и о томъ, что слышалъ въ корчмѣ, и спрашивалъ его: «неужто всему этому можно вѣрить?» Онъ же мнѣ отвѣчаетъ:

— А чортъ ихъ разберетъ! Да и зачѣмъ это нужно имъ вѣрить или не вѣрить?

— Чтобы уяснить себѣ: коего духа эти люди?

— Ну, вотъ пустяки!

— Какы! Духъ — пустяки?

— Да, разумѣется, пустяки. Гдѣ теперь духа искать! Смотрите, пожалуйста, гдѣ хотите — на всѣхъ людскихъ лицахъ ничего яснаго не стало видно. Все какіе-то тусклые шершаки, точно волки травленые: шерсть клоками, морды скаленыя, глаза спаленые, уши дерганыя, хвосты терханные, гачи рваные, а бока драные — только всего и цѣлаго остается, что зубы смоленые, да первая родимая шкура не выворочена. А вы въ этакихъ-то отрепкахъ хотите разыскивать признаки цѣлостнаго духа! Травленый волкъ обѣ какую землю ударится, тамъ чѣмъ надо, тѣмъ онъ и скинется.

— Однако, что же хорошаго, если это у васъ такъ и въ Цислейтаніи и въ Транслейтаніи.

— Да вездѣ это теперь такъ, гдѣ вамъ угодно, — не только у насъ въ Цислейтаніи и въ Транслейтаніи, а и во Франціи, и въ Италіи, и такъ далѣе: травленыї волкъ вездѣ одной породы; онъ обѣ какую землю ударится — тамъ тѣмъ ему надо, тѣмъ онъ и скинется.

— А къ чему же это, по-вашему, сведется!

— Да сведется къ такому прелюбопытному положенію, что никто, наконецъ, не будетъ знать, съ кѣмъ онъ дѣло имѣть.

Оглавлениe

XIII ТОМА.

Воительница. Очеркъ	3
Леди Макбетъ Мценского уѣзда. Очеркъ	83
Грабежъ	131
Антука. Разсказъ	173



INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Tel. 26-68-63

Гоголь, Н. В. Полное собрание сочинений. Подъ редакціей Н. С. Тихонравова и В. И. Шенрока. 17-е издание въ одномъ большомъ, компактно напечатанномъ въ 2 столбца (1686 столбцовъ въ больш. 8-ю д. л.), томъ. Съ портретомъ Н. В. Гоголя, биографич. очеркомъ В. И. Шенрока и съ примѣчаніями редактора. Изящное издание: превосходная бумага и четкий шрифтъ. Цѣна 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 75 к.; въ красивомъ коленкорѣ, переплетѣ 1 р. 80 к., съ перес. 2 р. 30 к.

Гоголь, Н. В. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. Редакція Н. С. Тихонравова, 16-е издание, въ 12-ти томахъ (6-ти книгахъ), 2660 страницъ. in 8°, съ биографіей автора, съ приложеніемъ двухъ портретовъ Н. В. Гоголя, гравиров. на стали Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ, факсимиле, автографа и нѣсколькихъ собственноручныхъ рисунковъ Гоголя. СПБ., 1900 г. Цѣна 2 р. 50 к., съ перес. 3 руб.; въ 6-ти коленкоровыхъ переплетахъ—4 р. 25 к., съ перес. 4 р. 75 к.

Потапенко, И. Н. «СОБРАНИЕ РОМАНОВЪ, ПОВѢСТЕЙ и РАЗСКАЗОВЪ», въ 12-ти изящно изданныхъ томахъ, отпечатанныхъ на хорошей бумагѣ, четкимъ шрифтомъ и содержащихъ 3948 страницъ въ 8-ю долю листа. Цѣна 12-ти томамъ—12 р., съ перес. 14 р.; въ 6-ти коленкорахъ, переплетахъ—15 р., съ перес. 17 р. Цѣна каждому тому (только безъ перепл.)—1 р., съ перес.—1 р. 25 к.

Боборыкинъ, П. Д. «СОБРАНИЕ РОМАНОВЪ, ПОВѢСТЕЙ и РАЗСКАЗОВЪ», въ 12-ти томахъ, съ приложеніемъ гравированного на стали у Ф. А. Брокгауза въ Лейпцигѣ портрета съ автографомъ автора. Издание заключаетъ въ себѣ 4153 страницы in 8° и отпечатано четкимъ шрифтомъ. Цѣна 12-ти томамъ 4 р., съ перес. 5 р.; въ шести красивыхъ коленкорѣ, переплетахъ—6 р. 50 к., съ перес. 7 р. 50 к.

Майковъ, А. Н. «ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ», новое 7-е издание въ 4-хъ томахъ, съ автографами и 2 портретами А. Н. Майкова, гравирован. на стали Ф. А. Брокгаузомъ. Изящное издание, отпечатанное на лучшей бумагѣ, красивымъ четкимъ шрифтомъ, XXVI + 2284 стр. въ 8-ю д. л. СПБ., 1901 г. Цѣна за всѣ 4 тома 4 руб., съ перес. 4 р. 75 к.; въ четырехъ роскошн. коленк. переплетахъ—6 р., съ перес. 6 р. 75 к. Для лицъ, имѣющихъ предыдущія трехтомныя изданія, новый дополнит. IV томъ продаётся отдельно (только безъ переплата) по цѣнѣ 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к.

Полевой, П. Н. „НЕПОКУПНОЕ“. Повѣсть. Съ 55-ю орнам. рисунками Е. П. Самокиша-Судковской. Роскошное издание in 4°.—Содержаніе этой повѣсти заимствовано изъ современной жизни. Разсказанные мастерски, съ постояннымъ наростианіемъ интереса, и отличающаяся глубокой правдивостью изложения и художественностью обрисовки действующихъ лицъ, повѣсть оставляетъ въ читатель бодрюще чувство глубокаго удовлетворенія, пробуждаетъ въ немъ лучшія чувства души. Цѣна 2 р. 50 к., съ перес. 2 р. 80 к., въ художествен., тиснен. красками, серебромъ и золотомъ, переплетѣ 3 р., съ перес. 3 р. 50 к.

Михеевъ, В. М. „ОТРОКЪ-МУЧЕНИКЪ“. Углицкое преданіе. Повѣсть. Съ 30-ю рисунками Нестерова, Сурикова и Бемъ. Роскошно изданная книга въ 4 д. л.—Знатокъ русской старины В. М. Михеевъ разсказываетъ въ своемъ новомъ произведениѣ трогательное углицкое преданіе изъ временъ царя Алексея Михайловича. Языкъ всей повѣсти строго выдержанъ и очень красивъ. Отъ него такъ и вѣтъ былой стариною. Такъ же художественно-строго выдержаны и дивныя иллюстраціи. Цѣна 2 р. 50 к., съ перес. 2 р. 80 к., а въ художествен., тиснен. золотомъ и красками, переплетѣ 3 р., съ перес. 3 р. 50 к.

При каждомъ № „Нивы“, независимо отъ другихъ приложе-
чать по одной книжѣ, а новые подписчики, выписзывающіе также (за
сылкой 2 р.) первые 12 томовъ сочиненій Лѣскова за 1902 г., получат
„Нивы“ 1903 г.

24.124/13

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА 1903 ГОДЪ

(34-й годъ изданія)

на еженедѣльный иллюстрированный

ЖУРНАЛЪ

съ иллюстраціями

Гр. подписчики „НИВЫ“ получать въ теченіе 1903 года:

52 №№ художественно - литературного журнала „НИВА“, заключающаго въ себѣ въ теченіе года до 2000 столбцовъ текста и 1100 гравюръ, рисунковъ и художественныхъ снимковъ.

40 ТОМОВЪ „Сборника Нивы“ (каждый отъ 10-15 листовъ, въ общемъ около 9.000 страницъ), содержащихъ:

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНІЙ

въ 16 ТОМАХЪ АНТ. П. ЧЕХОВА

(цѣна въ отдельной продажѣ 17 р. 50 к.), которое будетъ отпечатано четкимъ шрифтомъ на хорошо глазированной бумагѣ и будетъ выдано въ теченіе одного 1903 года, и

ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНІЙ

24 ОСТАЛЬ- Н. С. ЛѢСКОВА ные ТОМА

(цѣна въ отдельной продажѣ 17 р.), значительно дополненнаго многими произведеніями, не вошедшими въ прежнія изданія, въ томъ числѣ: „ПОВОДЪ“, „КРЕЙЦЕРОВЫЙ СОНАТА“, „МЕЛОЧИ АРХІЕРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ“, „РАСТОЧИТЕЛЬ“ и друг.

12 КНИГЪ „ЕЖЕМѢСЯЧН. ЛИТЕРАТУРНЫХЪ И ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ“, содержащихъ романы, повѣсти, разсказы, популярно-научныя и критическія статьи современныхъ авторовъ и отдельныя биографіи, музыка, смѣси, шахматовъ и шашекъ, спорта, забавъ и разныхъ игръ. До 2000 столбцовъ текста съ иллюстрациями.

12 №№ „ПАРИЖОНХЪ МОДЪ“, выходящихъ ежемѣсячно. До 200 столбцовъ текста и 300 модныхъ гравюръ. Съ почтовымъ ящикомъ для отвѣтовъ на разнообразные вопросы подписчиковъ.

12 ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 300) для рукодѣльныхъ и выпилъвыхъ работъ и для вышиванія и до 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину, выходящихъ ежемѣсячно.

1 „ОСТЬННОЙ КАЛЕНДАРЬ“ на 1903 годъ, отпечатанный въ 9 красокъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годовое изданіе со всѣми приложеніями: **безъ доставки**: 1) въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ — 6 руб. 50 коп.; 2) въ Москвѣ въ конт. Н. Н. ПЕЧКОВСКОЙ (Петровская линія) — 7 руб. 25 коп.; 3) въ Одесѣ въ книжн. магаз. «ОБРАЗОВАНІЕ» (Ришельевск., № 12) — 7 руб. 50 коп. **Съ доставкою въ С.-Петербургъ** — 7 р. 50 к. **Съ ПЕРЕСЫЛКОЮ ВО ВСЪ ГОРОДА И МѢСТНОСТИ РОССІИ** — 8 р. За границу — 12 р.

Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока.

Новые подписчики, желающие получить, кроме „Нивы“ 1903 г. со всѣми приложеніями, — еще приложенные при „Нивѣ“ въ 1902 г. **ПЕРВЫЕ**

12 ТОМОВЪ полнаго собрания сочин. ЛѢСКОВА, доплачиваются единовременно при подпискѣ: безъ доставки въ С.-Петербургѣ 1 р. 50 к., съ доставкою въ СПБ. и съ пересылкою иногороднѣмъ и за границу — 2 руб., такъ что

для новыхъ подписчиковъ **ПОДПИСНАЯ ЦѢНА** составитъ: въ СПБ. безъ доставки — 8 руб., съ дост. 9 р. 50 к. **Съ перес. во всѣ мѣста Россіи — 10 руб.** и за границу — 14 руб.

Требованія просить адресовать: въ С.-Петербургъ, въ Главную Контору журнала „НИВА“ (А. Ф. МАРКСУ), улица Гоголя (бывш. М. Морская), № 22.



<http://rcn.org.pl>

Артистич. заведение А. Ф. МАРКСА, Измайлов. пр., № 29.



<http://rcin.org.pl>

<http://rcin.org.pl>



<http://rcin.org.pl>

F.
24.124
1/13